АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ОТЕЦ

Том II



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ

ОТЕЦ

Жизнь Льва Толстого

Том II



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1953

FATHER

by

ALEXANDRA TOLSTOY

VOLUME II

Printed in the United States of America

ГЛАВА XXXVIII

«В КАКУЮ СТОРОНУ ИДТИ»

Осенью 1883 года Толстой познакомился с Владимиром Григорьевичем Чертковым.

Чертков происходил из очень богатой, аристократической, либеральной семьи. Достаточно было взглянуть на этого красивого, стройного человека, на гордую постановку его головы, громадные, выпуклые, холодные глаза, нос с небольшой горбинкой, чтобы понять, как он был избалован судьбой, как он привык играть роль и властвовать над людьми. Когда Чертков, в блестящем мундире конногвардейского полка, появлялся на придворных балах — дамы сходили по нем с ума, и чем холоднее и равнодушнее относился к ним Чертков, тем больше он имел успеха. Рассказывали, что одна из особ царской семьи на придворном балу подошла к нему во время вальса и положила руку к нему на плечо, желая с ним танцовать. Чертков вежливо поклонился и сказал, что он не танцует. Это было неслыханной дерзостью, придворные пришли в ужас, а светские кумушки с восторгом передавали друг другу о смелой выходке молодого офицера.

Чертков был остроумен. Он с самым серьезным и невозмутимым видом рассказывал анекдоты и шутил, в то время как все кругом покатывались от смеха. Он прекрасно говорил по-французски, по-немецки, а по-английски как настоящий англичанин, с несколько преувеличенным британским акцентом, но по-русски, как многие аристократы, воспитанные на европейских языках, говорил плохо, с ярко выраженным иностранным акцентом.

В 1879 году Чертков хотел выйти в отставку, но отец его, Григорий Иванович, всю жизнь служивший при дворе, сначала как флигель-адьютант при императоре Николае I, а затем как генерал-адьютант при императорах Александре II и Александре III, и мечтавший о том, что сын его

сделает блестящую карьеру при дворе, уговорил его взять отпуск и уехать в Англию на год. Чертков с детства знал императора Александра II, который запросто бывал у его матери, и убийство его сильно на него подействовало. Несмотря, однако, на противодействие отца, Чертков в 1881 году ушел в отставку и решил коренным образом изменить свою жизнь.

Мать Черткова, исключительно умная, тактичная и красивая женщина, имела большое влияние на сына. Семья ее была тесно связана с декабристами. Ее дядя, граф Захар Григорьевич Чернышев, участвовал в восстании декабристов, за что был сослан в Сибирь.

Тетка Елизаветы Ивановны была замужем за Никитой Муравьевым, видным декабристом, приговоренным к смертной казни, но помилованным и сосланным в Сибирь.

Сестра Елизаветы Ивановны была замужем за богатым помещиком, отставным полковником кавалергардского полка, А. В. Пашковым. В 1874 году Пашков познакомился с лордом Редстоком — английским проповедником — и настолько увлекся его учением — спасение от грехов верою в искупление, в пролитую за людей кровь Христа, — что, отказавшись от своей светской жизни, отдался проповеди учения Редстока и секта, образовавшаяся вокруг Пашкова, приобрела название «пашковцев». Одной из убежденных последовательниц пашковцев была мать Черткова, Елизавета Ивановна. Для молодого Черткова вольные, выходящие из рамок самодержавия и православия взгляды, были не новы.

Карты, кутежи, женщины, все то, что составляло интерес жизни петербургской золотой молодежи, опротивело Черткову. Он, так же как и Толстой, стал искать смысла жизни. Уехал в свое имение в Воронежскую губернию, помогал как мог крестьянам. Встретившись у друга своего Р. А. Писарева с прокурором Тульского окружного суда, Н. В. Давыдовым, бывавшим в Ясной Поляне, Чертков узнал, что взгляды его близки к взглядам Толстого. Он очень обрадовался и вскоре же выехал в Москву, к Толстому.

Для Толстого встреча с Чертковым была большой радостью. При первом же свидании выяснилось, что серьезных разногласий в их взглядах нет. В своих воспоминаниях Чертков рассказывает о своем первом знакомстве с Толстым.

«Во Льве Николаевиче, — писал он, — я встретил первого человека, который всецело и убежденно разделял такое же точно отношение к военной службе. Когда я ему поставил свой обычный вопрос и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи «В чем моя вера» категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость...».[1])

«Насколько мне известно, он также нашел во мне первого своего единомышленника». Чертков ошибался говоря, что он был первым единомышленником, в крестьянине Сютаеве, в Н. Н. Ге Толстой нашел первых своих единомышленников. Чертков же был первым последователем, посвятившим свою жизнь распространению писаний Толстого.

В то время Николай Николаевич Ге, после года знакомства с Толстым, был своим человеком в его доме, настолько близким, что Толстой для него делал исключение, которым не пользовался никто из самых близких. Кабинет Толстого в Москве был совсем особенный: в самом дальнем углу дома, потолки низкие, можно достать рукой. Мягкая, обитая черной клеенкой мебель — диван, широкие кресла, у окна большой письменный стол с резной решеткой с трех сторон. Здесь, в кабинете, тихо, сюда не доходит городской шум, окна выходят в сад, и не доходят крики детей и домашняя суета.

Шевеля, отдувая по всегдашней своей привычке губы, Толстой писал статью «В чем моя вера». Тихонько, боясь потревожить друга, «дедушка» Ге прокрадывался в комнату с палитрой и красками. Оба молчали, погруженные каждый в свою работу.

Портрет Ге чуть ли не лучший, когда-либо написанный с Толстого. В позе, наклоне головы, даже в его пре-

красно выписанной правой руке, держащей перо — глубокое сосредоточение мысли.

Несмотря на то, что религиозно-философские статьи Толстого запрещались цензурой, они все же имели широкое распространение в России и число последователей Толстого росло. Копия одной из его статей проникла за стены Московского Николаевского Института для благородных девиц, архимонархически-православного учреждения, и попала в руки двух классных дам — Ольги Алексеевны Баршевой и Марии Александровны Шмидт. Статья произвела громадное впечатление на обеих дам, они решили прочитать все, что писал Толстой о религии и, не откладывая, поехали к нему, надеясь получить от него Перевод и Исследование 4-х Евангелий.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая писала в своих воспоминаниях, что Толстой «ласково принял классных дам, хорошо поговорил с ними и они сразу почувствовали в нем близкого и дорогого человека».

«С этого времени, — пишет она дальше, — Мария Александровна и Ольга Алексеевна стали часто бывать в нашем доме. Они у нас назывались «папашины классные дамы». Все относились к ним ласково и дружелюбно».[2])

Классные дамы, прожившие всю свою жизнь в институтских, городских условиях, не знали деревни, не умели работать. Но сердца их горели восторженным энтузиазмом. Ликвидировав все свое городское имущество, с небольшой суммой сбережений, классные дамы уехали на Кавказ. По дороге у них украли все их деньги. Но они быстро утешились. Они стремились к опрощению, к жизни и работе на земле, деньги им были не нужны. «Господь на нас оглянулся, — говорила впоследствии М. А. Шмидт, — лишив нас денег, источника соблазнов». Ольга Алексеевна, не выдержав суровой жизни — умерла, а Марья Александровна, после смерти подруги, продолжала свою трудовую жизнь по соседству с Ясной Поляной.

Нелегко было детям Толстым разобраться в сложных переживаниях родителей. Новые друзья отца вызывали в них иногда добродушные насмешки. Молодежи хоте-

лось жить не мудрствуя лукаво, как все... Но когда они выезжали, веселились, они не могли не чувствовать недовольства отца и это мучило их, каждого по-своему.

Зимой 1883-84 года Таня выезжала. Ей было 20 лет. В доме все считались с ней и любили ее. Когда ссорились между собой родители, Таня, как умела, успокаивала, утешала их, когда братья грубили матери, она стыдила их и они слушались ее. Малыши льнули к ней, Илья гордился и любовался сестрой, ее мнение о нем было ему далеко не безразлично. Даже старший, Сергей, которому был уже 21 год, признавал Танин авторитет. Сергей был честен и прямолинеен. Он предпочитал говорить голую правду, даже если она граничила с грубостью, Таня же боялась обидеть и сглаживала шероховатости. Сергей был хорошим студентом, посещал университет, хорошо играл на фортепиано и увлекался музыкой. Таня увлекалась живописью и успешно продвигалась в Школе Живописи и Ваяния, у нее был необыкновенный дар улавливать сходство и дедушка Ге охотно помогал ей, давая технические советы. Таня любила людей, обвораживала их, не стыдилась показывать свои чувства и одинаково горячо любила обоих родителей. Сергей был менее общителен, не показывал своих чувств, стыдился их, но близкие, любящие его знали, что под внешней суровостью этого широкоплечего, некрасивого, иногда даже грубого человека, скрывались добрые, порой нежные чувства. Если случалось, что Сергей не мог скрыть своего волнения и что кто-то увидел, что серые, близорукие глаза его под пенснэ подернулись влагою сдерживаемых слез, Сергей злился на себя за «сентиментальность» и срывал злобу на других.

Появление в свете Софьи Андреевны Толстой, жены известного писателя, красивой, молодой еще женщины с хорошенькой дочерью — обратило внимание московского общества. Их приглашали всюду. И в свете, и в школе у Тани были поклонники. Отец не одобрял ее праздной жизни, с беспокойством и недоброжелательством косился на ее поклонников. Мать радовалась ее успеху и присматривалась к хорошим женихам для своей лю-

бимой дочери. Таня не была красива, но она была привлекательна. Чудесный цвет лица, блестящие карие глаза, короткий, точно обрезанный, задорный нос, вьющиеся каштановые волосы, тоненькая, грациозная фигура — все это гармонировало с внутренней ее сущностью: талантливостью, остроумием, жизнерадостностью. Таня была одним из тех существ, которых Господь наградил и талантливостью, и умом, и привлекательной, не банальной внешностью. Она нравилась и старым и молодым. В светском обществе она пленяла всех своим тактом, уменьем себя держать, остроумием и веселостью; простых людей она привлекала добротой и простотой обращения.

«Ты теперь верно собираешься на бал. Очень жалею и тебя и Таню»[3]), — писал Толстой жене 30 января 1884 года из Ясной Поляны, куда он уезжал все чаще и чаще.

И 30-го же января Софья Андреевна писала мужу:

«Нынче поднялись мы с Таней, которая спала у меня, в час дня. Бал вчерашний был хорош, мы были благоразумны и собрались домой в пятом часу. Но кареты не было, и пришлось ждать до шестого часа. Такая досада! А то мы совсем не устали бы. Был там и Долгоруков, очень просил опять, чтобы мы и сегодня к нему поехали на бал. Очень это скучно, но опять поеду, попозднее только».[4])

Князь В. А. Долгоруков был в то время генерал-губернатором г. Москвы и было большой честью быть приглашенными к нему на бал.

«Долгоруков вчера, — писала Софья Андреевна 31 января, — на бале был любезнее, чем когда-либо. Велел себе дать стул и сел возле меня, и целый час разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особое внимание, что меня приводило даже в некоторое недоумение. Тане он тоже наговорил пропасть любезностей».

И точно желая его утешить, она добавляет: «Но нам что-то совсем не весело было вчера, верно устали слишком».[5])

Сестре своей Тане Софья Андреевна писала про бал у Самариных: «Чудный был бал, ужин, парад такой, что лучше бала и не было. На Тане было розовое газовое

платье, плюшевые розы, на мне лиловое бархатное и желтые, всех теней, анютины глазки. Потом был бал у генерал-губернатора, вечер и спектакль у Тепловых и еще елка для малышей, и сегодня опять бал у гр. Орлова-Давыдова, и мы с Таней поедем. У нее чудное платье tulle illusion, зеленовато-голубое и везде ландыши с розовым оттенком. Завтра большой бал у Оболенских, опять танцуют. Просто с ног сбили и меня и Таню».[6])

Тане было 20 лет! Молодость брала свое. Было вполне понятно, что ее в то время мало увлекало опрощение «папашиных классных дам», жизнь в Ясной Поляне, трудовая, рабочая жизнь.

А Толстой жил в Ясной Поляне просто — без лакеев и поваров, колол дрова, учился шить сапоги у яснополянского сапожника.

3-го февраля 1884 года он писал жене: «Здоров и сонен. Читаю Montaigne, хожу на лыжах понапрасну, но очень устаю, шью башмаки и думаю, и стараюсь никого не обидеть. Полезное сделать другим даже не стараюсь, так это невозможно трудно. Нынче много работал (башмаки), был в бане и очень устал».[7])

Утром он писал, вечера проводил за чтением. За этот период времени особенно напряженной мысли 80-х годов Толстой перечитал множество книг: от Марка Аврелия, Эпиктета, Конфуция и Лао-Тзе, до Паскаля, Монтеня, Паркера, Эммерсона. «Очень бы мне хотелось составить Круг Чтения», — писал он Черткову 4-го июня 1885 года».[8])

Толстой продолжал уговаривать жену переменить ненавистную ему роскошную, праздную жизнь семьи на простую, трудовую. Его мучило, что дети росли в безделье, не умея даже самих себя обслуживать, что у них не было серьезных запросов в жизни, глубоких интересов. «Музыка, пение, разговоры... точно после оргии!» — писал он в дневнике от 18 марта. «Очень тяжело, душевно больно», — писал он марта 31-го.

Отношения с женой становились все более и более натянутыми.

«Дерганье души ужасно, не только тяжело, больно, но трудно», — писал он в дневнике от 3-го мая. «Точно я один не сумасшедший, живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими», — писал он 28 мая.

А между тем Софья Андреевна ждала 9-го ребенка. Она не хотела больше иметь детей и в самом начале беременности всеми силами старалась избавиться от ребенка. Бесконечное деторождение, кормление, болезни, утомили ее, расшатали ее нервы.

Нередко этой весной Толстому приходила мысль об уходе из дома. Но любовь к жене, несмотря на внутренний разлад, любовь к детям, удерживали его. В ночь с 17-го на 18-ое июня между Толстыми произошла бурная ссора. Толстой не выдержал и ушел, но вспомнив, что жена должна вот-вот родить, одумался и вернулся.

«Вечером покосил у дома, — писал он в дневнике, — пришел мужик об усадьбе. Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют в винт бородатые мужики — молодые мои два сына. «Она на крокете, ты не видал?» — говорит Таня, сестра. «И не хочу видеть». И пошел к себе, спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Пошла наверх. Начались роды — то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям — душевным — ужасным. Заснул в 8. Проснулся в 12. Сколько помнится, сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения»...[9])

На утро 18 июня у Толстых родилась третья дочь и в честь Александры Андреевны Толстой, которая согласилась быть крестной матерью, ее назвали Александрой.

В этот день Толстой записал в дневнике: «Ах, как тяжело! Всё-таки мне жалко ее... И всё-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная... Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и страданиям — душевным — ужасным»... «Дома праздность, обжорство, злость», — писал он 28 июня.[10])

Трудно себе представить ту сложную внутреннюю борьбу, которая происходила в Толстом в этот период его жизни. Он искал выхода и не находил его. Продолжать ту жизнь, которую он считал дурной — он не мог. Он чувствовал, что не имел права бросить жену, детей, и не было никого, кто бы мог ему дать разумный совет.

«Не понимаю, как избавить себя от страданий и ее от погибели, в которую она стремительно летит», — спрашивает он себя.

«Напрасно я не уехал. Кажется этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я всё больше и больше люблю и жалею их», — писал он 14 июля 1884 года.

Одним из поводов к ссоре Толстых было то, что Софья Андреевна категорически отказалась кормить свою новорожденную девочку и наняла из соседней деревни здоровую, толстую бабу Аннушку, которая одновременно кормила Сашу Толстую и своего ребенка.

«У нас в семье всё плотское благополучно, — писал Толстой Черткову 24 июня. — Жена родила девочку. Но радость эта отравлена для меня тем, что жена, противно выраженному мною ясно мнению, что нанимать кормилицу от своего ребенка к чужому есть самый нечеловеческий, неразумный и нехристианский поступок, всё-таки без всякой причины взяла кормилицу от живого ребенка. Всё это делается как-то не понимая, как во сне. Я борюсь с собой, но тяжело, жалко жену».[11])

И дальше, в том же письме, он пишет:

«Бедные мы, до чего мы заблудились. У нас теперь много народа — мои дети и Кузминских, и часто я без

ужаса не могу видеть эту безнравственную праздность и обжирание. Их так много, они все такие большие, сильные. И я вижу и знаю весь труд сельский, который идет вокруг нас. А они едят, пачкают платье, белье и комнаты. Другие для них всё делают, а они ни для кого, даже для себя — ничего. И это всем кажется самым натуральным, и мне так казалось; и я принимал участие в заведении этого порядка вещей. Я ясно вижу это и ни на минуту не могу забыть. Я чувствую, что я для них trouble fête, но они, мне так кажется, начинают чувствовать, что что-то не так. Бывают разговоры — хорошие. Недавно случилось: меньшая дочь заболела*), я пришел к ней, и мы начали говорить с девочками, кто что делал целый день. Всем стало совестно рассказывать, но рассказали и рассказали, что сделали дурное. Потом мы повторили это на другой день вечером, и еще раз. И мне бы ужасно хотелось втянуть их в это — каждый вечер собираться и рассказывать свой день и свои грехи! Мне кажется, что это было бы прекрасно, разумеется, если бы это делалось совершенно свободно»...

Обе дочери — и привлекательная Таня, и худенькая 13-тилетняя Маша — уже чутко прислушивались к отцу. Маша была похожа на отца. Те же глубокосидящие умные, в душу проникающие серые глаза, широкий, умный лоб, некрасивый, большой рот. Первое впечатление от этой очень тоненькой, болезненной девочки с косичкой, особенно по сравнению с Таней, было: «бедная девочка, какая она некрасивая, серенькая...» И Маша, точно чувствуя это, держалась в тени. Она не была избалована материнской лаской. Ее погодок Лев, болезненный Андрюша и Таня были любимцами матери. Проницательные глаза девочки часто останавливались на отце, слова его, иногда не совсем ей понятные, западали ей в душу. Маша многое понимала, хотя взрослые не замечали этого, и всем своим существом, жаждавшим любви, робко тянулась к отцу.

Временами семейные раздоры утихали. Толстой, погруженный в писание — Исследование и перевод 4-х

---

*) Маша

Евангелий и Критика Догматического Богословия — смирялся и, как умел, применялся к жизни семьи.

«Живем мы в деревне, — писал он Черткову 3-го октября 1884 года, — я, жена, две дочери, 3 маленьких мальчика и новорожденная девочка. И я не ошибусь, говоря, что нам очень хорошо, — чисто, дружно и небезбожно. За это лето у меня много было тихих, но больших радостей. В семье моей большое приближение ко мне. А радость это чувствовать — не могу вам передать. Только таких радостей, как увидать смягчение сердца, отречение от прежнего и признание истины, и чувствовать, что ты в этом был участником, — таких радостей я никогда не испытывал. Старшие мальчики в Москве и потому по инерции мы, должно быть, поедем. Жена говорит — около 20-го. Но жизнь в Москве будет другая. О свете и речи нет. Я всё-таки не могу подумать, как я поеду. Чувствую, что мне никуда не надо ехать»...[12])

23 октября Софья Андреевна писала мужу из Москвы в Ясную Поляну, где он остался один после отъезда семьи в Москву:

«Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Андриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого тоже это было удовольствие — не даром получать свою пенсию, и с утра до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям, и что тебе так хорошо; тогда это дело другое, и я могу только сказать: «наслаждайся», и всё-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колке дров, ставлении самоваров и шитье сапог, — что всё прекрасно, как отдых и перемена труда, но не как специальные занятия».[13])

На следующий день, 24 октября, Толстой изложил жене свой план как вести хозяйство Ясной Поляны самому, без управляющего.

... «Мне стало ясно, — писал он, — что если, что я считаю истиною и законом людей, должно сделаться этим законом на деле в жизни, то это сделается только тем, что мы, богатые, насилующие, будем произвольно отказываться от богатства и насилия; и это произойдет не вдруг, — а медленным процессом, который будет вести к этому. Процесс этот может совершиться только тогда, когда мы сами будем заведывать своими делами, и главное, сами входить в сношения с народом, работающим на нас».[14])

Октября 25 Софья Андреевна ответила ему: «Я сама точь-в-точь то же думала; т. е. в именьи, где живешь хотя бы половину года, недобросовестно не заниматься самому, именно по отношению к народу; выгоду можно извлекать ту же, а по-моему бóльшую, и всё то, что пропадает, что крадут, что бесхозяйственно тратится, всё это с умом можно раздавать, помогать, делить с народом. Отношения будут самые приятные — выгода в Ясной была такая ничтожная, что про нее и говорить нечего; а с твоим уменьем и умом (когда ты только захочешь), ты всякое дело можешь отлично вести. Ну что ж, если б это бы и был предлог в деревню ездить, то тем лучше, тебе будет не совестно и не скучно оставлять нас для дела, нас же кормящего, воспитывающего и содержащего. — Поняла я тебя или нет, я не знаю, но к а к поняла, так и отвечаю».[15])

Так шла семейная жизнь Толстых, порою казалось, что всё успокаивалось и они могли, живя вместе, каждый идти своим путем. Может это и было бы возможно, если бы не было детей, но для Толстого были совершенно невыносимы те условия, в которых они воспитывались. Как он писал Черткову:

«Письменная работа нейдет, физическая работа почти бесцельная, т. е. не вынужденная необходимостью, отношений с окружающими меня людьми почти нет, приходят нищие, я им даю гроши, и они уходят, и на моих глазах в семье идет вокруг меня систематическое развращение детей, привешивание жерновов к их шее. Разумеется, я виноват, но не хочу притворяться перед ва-

ми, выставлять спокойствие, которого нет. Смерти я не боюсь, даже желаю ее. Но это-то и дурно; это значит, что я потерял ту нить, которая дана мне Богом для руководства в этой жизни и для полного удовлетворения. Я путаюсь, желаю умереть, приходят планы убежать или даже воспользоваться своим положением и перевернуть всю жизнь!»[16])

Временами, когда ему становилось особенно тяжело, он уезжал, чаще всего в Ясную Поляну. В марте 1885 года он уехал в Крым со своим другом князем Л. Д. Урусовым. Урусов заболел и доктора предписали ему теплый климат. Впервые после Севастопольской кампании Толстой попал в Крым.

«Проехали по тем местам, казавшимся неприступными, где были неприятельские батареи и странно: воспоминание войны даже соединяется с чувством бодрости и молодости», — писал он Софье Андреевне.[17])

Почти каждый день во время пребывания в Крыму он писал жене. Как всегда, он наслаждался природой, совершая длинные прогулки, то верхом, то пешком, но мысли Толстого, его внимание сосредоточены не на красотах Крыма, хотя он и упоминает о душистых фиалках, скалах, кипарисах, журчащих фонтанах. Толстой везде видит людей, бедных, стариков и старух, обиженных богатыми, татар, заброшенных в татарской деревушке мальчика с вдовой матерью.

В августе Софья Андреевна должна была жить в Москве из-за переэкзаменовок Ильи и Льва. Заботы ее и ответственность увеличивались. Она уже сама ведала изданием сочинений своего мужа, дававшим постоянный довольно большой доход, правила корректуры, следила за приходами и расходами. Но к великому огорчению матери, Илья провалился. Он мечтал заняться хозяйством, охотой, поселиться в деревне. Наука не интересовала его, и он решил бросить гимназию. Илья уехал в Ясную Поляну, а мать осталась в Москве с другим сыном, Львом, более успешно сдававшим переэкзаменовки.

«Не знаю, что буду делать зимой, — писала Софья Андреевна мужу 20 августа 1885 года, — перееду или нет.

Книги требуют большого труда и присутствия, а жить только для книг, если провалится и Леля — не стоит. Теперь я уже так измучилась здесь, что в этот приезд ничего не соображу и не решу, тем более одна».[18])

В следующем письме, от 21 августе, она пишет мужу про Илью:

«Я уговаривала его остаться в 7-м классе, но у него в голове, кроме собак — ничего, это ясно, и мне иногда ужасно хочется перевести всю эту дурацкую, барскую и жестокую вещь — охоту»...[19])

Толстой жил с Таней и младшими детьми в Ясной Поляне. Постоянно к нему приезжали его единомышленники, Чертков, Бирюков, англичанин Фрей. Этой же осенью появился в Ясной Поляне еврей Фейнерман, поселился в деревне и стал учить грамоте яснополянских детей. Но уроки эти были запрещены властями. Чтобы получить права учителя, Фейнерман должен был принять православие. Фейнермана крестили в местной церкви, и Таня была его крестной матерью. Гувернантка детей, Madame Seuron, которую, за ее осанку grande dame, Толстые прозвали Великой Княгиней, пришла в ужас, что Тане позволили быть крестной матерью, а возмущение Софьи Андреевны, узнавшей об этом post factum, вызвало новую ссору между нею и мужем.

Толстой писал по этому поводу Черткову 29 августа 1885 года: «Фейнермана переход в православие я не сужу. Мне кажется, что я бы не мог сделать этого, потому что не могу себе представить такого положения, в котором бы было лучше не говорить и не делать правду»...[20])

Впрочем, крещение в православие не помогло Фейнерману. Власти не утвердили его учителем яснополянской школы.

Как всегда, Толстой пробыл в Ясной Поляне до глубокой осени. Он не делал никаких планов, «жил, — как он писал жене, — пока живется». Но живя один, он всё же скучал без семьи, особенно без дочерей, которые подходили к нему всё ближе и ближе. Незаметно влияние его на них сказывалось — они старались жить лучше, менее праздно, решили убирать за собой свои комнаты,

бросить есть мясо. Сам Толстой в то время уже сделался вегетерианцем, и старался бросить курение.

Но не долго длился мир с женой и спокойствие. Приехав в Москву и окунувшись снова в праздную, барскую жизнь города, которую он так презирал, он опять затосковал. К концу декабря он дошел до предела отчаяния и раздражения.

«Случилось то, — писала Софья Андреевна сестре Тане, — что уже столько раз случалось: Лёвочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».

Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?» «Ничего, но если на воз накладывают всё больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывалось, неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, всё хуже, хуже и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу человек сумасшедший и когда он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это»? Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Лёвочка — и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети 4: Таня, Илья, Леля, Маша ревут на крик: нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, всё хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей, говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — всё это во мне осталось. — Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь, за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда — и за что?»[21])

«Что же лучше делать? — писал Толстой Черткову декабря 9-15-го. — Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью — сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскивания с крестьян и преследования за покражи моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать всё — отдаться раздраженью. Разорвать же всё, освободить себя от лжи без раздраженья не умею, не могу еще. Молю Бога — т. е. ищу у Бога пути разрешения и не нахожу».*)

И он кончает письмо словами:

«Писал это два дня тому назад. Вчера не выдержал, стал говорить, сделалось раздражение, приведшее только к тому, чтобы ничего не слыхать, не видать и всё относить к раздражению. Я целый день плачу один сам с собой и не могу удержаться».[22])

После этой тяжелой сцены Толстой, вместе с дочерью Таней, уехал в подмосковное имение к своим друзьям Олсуфьевым.

20 декабря, успокоившись, Толстой писал жене: «Я говорил и говорю одно: что нужно разобраться и решить, что хорошо и что дурно, и в какую сторону идти; а если не разобраться, то не удивляться, что будешь страдать сама, и другие будут страдать. О необходимости же сейчас делать — говорить нельзя, потому что необходимого для людей, у которых есть деньги на квартиру и пищу — ничего нет, кроме того, чтобы обдуматься и жить так, как лучше. Но, впрочем, ради Бога, никогда больше не будем говорить про это. Я не буду».[23])

---

*) Письмо это не было послано.

[1]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 496.
[2]) Т. Л. Сухотина-Толстая. «Друзья и гости Ясной Поляны», стр. 146.
[3]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862-1910, ред. Грузинского, 1913. № 199, 30 янв. 1884, стр. 213.
[4]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому, Academia, 1936, 30 января 1884, № 105, стр. 246.
[5]) Там же, № 106, 31 янв. 1884, стр. 205.
[6]) Муратов, М. В. — Толстой и Чертков, стр. 76.

[7]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. № 203, 3 февр. 1884, стр. 216.
[8]) Поли. собр. соч. Госизд. т. 85, № 68, прим. 6, стр. 222.
[9]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 512.
[10]) Там же, стр. 513.
[11]) Полное собр. соч. Госизд., т. 85, № 20, стр. 69.
[12]) Там же, т. 85, № 28, стр. 105.
[13]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому. № 111, 23 окт. 1884, стр. 256.
[14]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. № 210, 24 окт. 1884, стр. 223.
[15]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому. № 112, 25 окт. 1884, стр. 261.
[16]) Полное собр. соч. Госизд. т. 85, № 69, 6-7 июня 1885, стр. 223.
[17]) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. № 248, 14 марта 1885, стр. 260.
[18]) Толстая, С. А. — Письма к Л. Н. Толстому. № 141, 20 авг. 1885, стр. 322.
[19]) Там же, № 142, 21 авг. 1885, стр. 323.
[20]) Полное собр. соч. Госизд., т. 85, № 77, стр. 25.
[21]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 551.
[22]) Полное собр. соч. Госизд., т. 85, № 91, стр. 295.
[23]) Письма гр Л. Н. Толстого к жене, № 276, около 20 дек. 1885, стр. 286.

ГЛАВА XXXIX

«УМСТВЕННАЯ ПИЩА» ДЛЯ НАРОДА

Мысль о необходимости умственного развития народа всегда занимала Толстого.

Еще 24-хлетним юношей, участвуя в Дунайской кампании, Толстой задумал издавать журнал для солдат, «полезных (моральных) сочинений», как он писал в дневнике 20 декабря 1853 года.

Мы знаем также, как много сил Толстой потратил на школьное дело в начале 60-х годов, и на составление «Азбуки» и «Книг для чтения» в 71 и в 72 году.

17 февраля 1884 года Толстой писал Черткову:

«Я увлекаюсь всё больше и больше мыслью издания книг для образования русских людей. Я избегаю слова для народа, потому что сущность мысли в том, чтобы не было деления народа и не народа... Не верится, чтобы вышло, боюсь верить, потому, что слишком было бы хорошо».[1])

В то время в России существовала так называемая «лубочная литература». По домам, из деревни в деревню, ходили книгоноши, продавая картинки в ярких красках, примитивные стихи, сонники, песенники. Эта безвкусная, нехудожественная, грубая литература не могла способствовать ни нравственному, ни умственному развитию читателей из народа.

А между тем, потребность в духовной пище росла. Несмотря на малограмотность, рабочие и крестьяне прекрасно разбирались в настоящем художественном творчестве, в искреннем, правдивом слове и чувствовали фальшь и бездарность подносимой им псевдо-народной литературы.

5 февраля 1884 года Толстой писал жене из Ясной Поляны:

«Петр Осипов*) очень интересен по вопросу о чтении народном. Он принес мне свою библиотеку — короб книг; тут и Жития, и Катехизисы, и Родное Слово, и История, и География, и Русский Вестник, и Галахова Хрестоматия, и романы. Он высказывал свое мнение о каждом роде книг. И всё это очень заинтересовало меня, и заставило многое и вновь передумать о народном чтении».[2])

Писатель Г. П. Данилевский, посетивший Толстого в сентябре 1885 года, приводит в своих воспоминаниях разговор с Толстым по этому поводу:

... «Эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как галчата с раскрытыми ртами, — сказал Толстой, — и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас *умственной пищи* (курсив мой. А. Т.): пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова, избавьте нас от всех тех лубочных Еруслановъ Лазаревичей, Милордов, Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стóит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души».[3])

«Я об этом много думал, — добавляет Данилевский, — и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще». Но одного доброго желания было недостаточно. «Кавказский Пленник», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Где любовь, там и Бог» и другие рассказы естественно выливались из-под пера Толстого. Он не «пытался» писать. Он не мог не писать.

Когда осенью 1884 года было основано книгоиздательство «Посредник», одной из главных трудностей, с которой столкнулись его сотрудники, было нахождение этой общедоступной художественной литературы, несмотря на то, что Чертков с большим рвением взялся за это дело. Он заручился согласием наиболее известных писателей и художников сотрудничать в «Посреднике» и

---

*) Петр Осипов Зябрев — крестьянин Ясной Поляны. Всю жизнь занимался самообразованием, много читал, собирал книги.

предложил издателю, Ивану Дмитриевичу Сытину, взять на себя печатание и распространение картин и книжечек для народа, вместо лубочной литературы, которую Сытин выпускал в большом количестве.

Сытин сам вышел из крестьян, окончил 4-х классное сельское училище, был человеком малограмотным, но умным и сметливым. Он был одним из тех дельцов, про которых говорят, что они «чужого не возьмут, но и своего не упустят». Только благодаря своей сметливости и упорству Сытин пробился в люди. Поработав некоторое время мальчиком в книжной лавке, куда его отдали родители, он присмотрелся к делу и впоследствии сам открыл свою книготорговлю, которая постепенно разрослась и превратилась в одно из самых крупных книгоиздательств России. Газета «Русское Слово», издававшаяся Сытиным, была одной из самых распространенных в России.

В ноябре 1884 года в лавку к Сытину вошел аристократического вида красивый, рослый молодой человек в дорогой дохе, и стал с жаром доказывать Сытину необходимость просвещения народа. Сытину, привыкшему смотреть на всякое дело исключительно с точки зрения расчета, идеи о народном благе, христианском долге, о необходимости духовной пищи для рабочих и крестьян, были совершенно новы и чужды. Но Чертков импонировал Сытину своим барством, своей упрямой настойчивостью, властностью. Имена писателей — Толстого, Лескова, Гаршина, Короленко — и художников — Ге, Репина, Крамского и других, — о которых упомянул Чертков, как об участниках будущего народного издательства, были известны Сытину и он, после некоторого колебания, согласился издавать дешевые книжечки по 80 коп. за сотню, для широкого распространения среди народных масс.

В конце 1884 года Чертков познакомил Толстого со своим другом П. И. Бирюковым. Бирюков происходил из костромских дворян. Он окончил Морскую Академию и перед ним открывалась блестящая карьера в морском ведомстве. Но это его не интересовало. Познакомившись

с идеями Толстого, он вместе с Чертковым горячо принялся за работу в книгоиздательстве «Посредник».

Дело было не легкое. Мало того, что литература должна была быть первоклассной в смысле художественности, но печатаемый материал не должен был противоречить основным идеям главных сотрудников «Посредника».

Между Толстым и Чертковым шла оживленная переписка по общим вопросам религии и философии, также как и о материале для печатания и о произведених самого Толстого.

Само собой случилось так, что Чертков занялся распространением и переводами на иностранные языки писаний Толстого и постепенно сделался главным редактором его сочинений. Он делал эту работу добросовестно, следил за тем, чтобы Толстой в своем творчестве не позволял себе ни малейшего противоречия и отступления от своих принципов. Он по-своему ценил художественное творчество Толстого, но для Черткова, воспитанного в сектантской среде, главную роль играли непротивленческие религиозные принципы в писаниях Толстого. Толстой не мог не любить крестьян: для него они были главной основой, существом русской жизни. Чертков же совсем не знал, не понимал и не любил крестьянства, но уважал его, как «трудовой» и обездоленный класс в России.

Элемент морализирования совершенно отсутствует в художественном творчестве Толстого и, в частности, в его народных рассказах. Можно вывести то или иное заключение, вытекающее из их содержания, но искусственности в них нет. Произведение, как выразился Гоголь, «выпевается» как нечто цельное, с положительными и отрицательными чертами описываемых типов. В художественном творчестве так же, как в музыкальном произведении, всякая фальшивая нота нарушает гармонию, художественную ценность произведения. Понимал ли это Чертков?

В письме от 31 января 1885 года он писал Толстому:

«Вашего «Кавказского Пленника» я в первый раз прочел теперь. Мне понравился рассказ в высшей степе-

ни. Но скажу вам откровенно про одну вещь... На стр. 20 сказано: «Заболел раз татарин, пришли к Жилину: «поди полечи». Жилин ничего не знает, как лечить. Пошел, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушел в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел на его счастье татарин». Затем еще на стр. 23: «Жилин, желая пойти в гору высмотреть окрестную местность, говорит малому, сторожившему его: «Я далеко не уйду, только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти, ваш народ лечить»...

Если смотреть на Жилина, как на изображение живого человека с его достоинствами и недостатками, то с этой литературной точки зрения приведенные отрицательные черты, пожалуй, придают только больше реальности описываемому типу. Но я смотрю на книгу с точки зрения ее практического влияния на впечатлительного читателя, и я наверное знаю, что эти два места должны вызвать в таких читателях одобрительный смех и, следовательно, давать им еще один толчок в том уже слишком господствующем направлении, которое признает, что несравненно практичнее при достижении своих целей не слишком строго разбирать средства. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы мне позволили в лубочном издании пропустить эти несколько строк...

Раз коснувшись этого вопроса, я уже скажу вам... о том, что меня давно мучает в вашем рассказе «Бог правду видит». Когда начальник спрашивает о подкопе и говорит Аксенову: «Старик, ты правдив, скажи мне перед Богом, кто это сделал», Аксенов отвечает: «Я не видал и не знаю». А между тем он и «видел и знает»...[4])

На это письмо Черткова Толстой отвечает:

«На исключение тех мест, о которых вы писали, я очень радостно согласен и благодарен. *Только сделайте сами*».[5]) (Курсив мой. А. Т.). Как художник, Толстой сам не мог бы внести эти поправки.

Но какое могли иметь значение для Толстого эти мелочи, по сравнению с той преданностью и жертвенностью, с которыми Чертков относился к его религиозным

взглядам. Толстой был одинок. Сочувствие и помощь Черткова наполняли сердце его глубокой благодарностью. Он внимательно и чутко прислушивался к нему:

«Что вы выпускаете из моей последней книги?»*) — спрашивал он Черткова в письме от 28 августа 1884 года. И сейчас же, со свойственной ему деликатностью, оговаривается: «Это не праздный и не эгоистический вопрос. Напротив — мне хочется знать, что вам кажется соблазнительным — вовсе не чтобы спорить, а чтобы исключить и смягчить, а главное в будущем знать, что для других соблазнительно».[6])

Насколько Толстому нужна была поддержка близких, видно из его письма к Черткову от 6-7 июня: «Мне очень тяжело вот уже дней 6, но утешение одно — я чувствую, что это временное состояние, мне тяжело, но я не в отчаянии, я знаю, что я найду потерянную нить, что Бог не оставил меня, что я не один, — писал он. — Но вот в такие минуты чувствуешь недостаток близких живых людей — той общины, той церкви, которая есть у Пашковцев, у православных. Как бы мне теперь хорошо было передать мои затруднения на суд людей, верующих в ту же веру, и сделать то, что сказали бы мне они. Есть времена, когда тянешь сам и чувствуешь в себе силы, но есть времена, когда хочется не отдохнуть, а отдаться другим, которым веришь, чтобы они направляли».[7])

Усиленная работа над статьей «Так что же нам делать», которую Толстой никак не мог закончить, утомила его. Ему захотелось вернуться к художественному творчеству.

«Хочу начать и кончить новое. Либо смерть судьи, либо «Записки сумасшедшего», — писал он в дневнике от 27 апреля 1884 г.[8])

Повесть «Смерть Ивана Ильича» или «Смерть судьи» Толстой начал писать еще в 1882 году. На эту тему его навела смерть бывшего члена тульского окружного суда. Писал он отрывками, бросал, снова возвращался к ней

*) «В чем моя вера».

через некоторый промежуток времени и закончил только в марте 1886 года.

Таких чиновничьих семей, как семья судьи Ивана Ильича, многое множество. Живут они как все люди этого класса, делают карьеру, 20-го числа каждого месяца получают жалованье, ходят в свободные вечера в театр и в гости, болеют, умирают. Судья Иван Ильич умирал. Страдания его были невыносимы, но ужас, который он переживал, происходил не столько от физической боли, сколько от сознания неизбежности смерти. В безвыходном отчаянии кричал и бился Иван Ильич. Жена и сын его страдали вместе с ним от жалости к нему и полного бессилия ему помочь. И так продолжалось три дня.

Но совершенно неожиданно у читателя проявляется новый интерес к этому человеку. В серой, скучной оболочке чиновника вдруг просыпается бессмертная душа человеческая.

«Это было в конце третьего дня, за два часа до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умирающий всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал...

...И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтоб им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто», — подумал он. «А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?» — Он стал прислушиваться.

Да, вот она. Ну что ж, пускай боль.

А смерть? Где она?

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

«Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!..»[9])

За этот период времени, в 1884-86 г. г., Толстой написал целый ряд народных рассказов для «Посредника». Темы для рассказов: «Чем люди живы», иллюстрированных Н. Н. Ге, «Два старика», «Три старца», Толстой получил от Олонецкого крестьянина В. П. Щеголенка, с которым познакомился в 1879 году. Некоторые темы были взяты из народных легенд, другие из действительной жизни или просто были придуманы Толстым, как например, «Сказка об Иване-дураке».

Много лет спустя, когда Толстого спрашивали, какие произведения свои он считает лучшими, он отвечал: народные рассказы «Чем люди живы» и «Где любовь, там и Бог».

Во время своей поездки в Крым, куда он сопровождал своего больного друга, князя Л. Д. Урусова, Толстой получил от Черткова рассказ «Дядя Мартын», напечатанный в журнале «Русский рабочий». Толстому он очень понравился и он сейчас же его переработал, изменив со временем название на «Где любовь, там и Бог». Толстой не знал, что рассказ «Дядя Мартын» был написан в 80-х годах французским писателем R. Saillens и был очень огорчен, и тотчас же извинился, когда Saillens в 1888 году обвинил его в плагиате.

В народной литературе Толстого охвачены разнообразные темы: о тщете накопления собственности — «Много ли человеку земли нужно», о вреде пьянства — «Первый винокур», о любви, о Боге, о прощении, но нигде так ярко не выражена философия Толстого, как в сказке об Иване-дураке. Устами дурака Ивана глаголет истина. Иван, не мудрствуя лукаво, живет попросту, по-Божьи, стараясь никого не обидеть и жить в мире со всеми, в то время как брат его Семен-воин старался завоевать мир, но царь индийский оказался сильнее его: «не допустил индийский царь Семенова войска до выстрела, и послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов, посыпать; раз-

бежалось Семеново войско и остался Семен-царь один.*) Печальная участь постигла и другого брата, Тараса-брюхана, нажившего себе большое богатство. Разорил его купец. И соблазненные дьяволом, братья запутываются все больше и больше, а Иван-дурак мирно живет в своем царстве дураков таких же, как и он сам. Воевать дураки отказываются, деньги им не нужны. Они работают, кормятся и дают приют всем, кто хочет спокойно жить и работать. Вся сложность человеческой жизни с цивилизацией, войнами, разделением государств, накоплением капиталов — им непонятна. Они дураки и, как дураки, даже не способны осознать всей мудрости и праведности своей философии.

Интересно отношение писателя И. С. Аксакова к народным рассказам Толстого. В письме от 5 июля 1885 года Страхов писал Н. Я. Данилевскому о рассказах Толстого «Свечка» и «Два старика»:

«В рассказах, — говорит Иван Сергеевич, — обнаруживается, что Л. Н. стоит к Святой истине в таких чистосердечных, любовных отношениях, тайна которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне суда нашего. Очевидно, у него свой конто-курант с Богом.»[10])

Сотрудники «Посредника» работали с воодушевлением. Гаршин вместе с Толстым написал текст к картине Репина «Страдания Господа нашего Иисуса Христа». От этой картины Толстой пришел в восторг.

2 мая 1885 года он писал Черткову:

«Репину, если увидите, скажите, что я всегда любил его, но это лицо Христа связало меня с ним теснее, чем прежде. Я вспомню только это лицо и руку, и слезы навертываются».[11])

Н. Н. Ге написал иллюстрации к «Чем люди живы» и к сказке об Иване-дураке.

---

*) «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе, и трех чертенятах» была написана в 1885 году, когда аэропланов не было еще и в помине.

Кроме книг Толстого, «Посредник» напечатал книжечку «Греческий учитель Сократ» А. М. Калмыковой, над переделкой которой не мало потрудился Толстой; были напечатаны некоторые жития святых и многое другое. Книжечки эти издавались в сотнях тысяч экземпляров и распространялись по всей России.

Положение крестьянства, его бедность, недостаток земли, всегда удручали Толстого. Недостаточно было поднять культурность народа, давши ему образование — надо было улучшить его материальное положение. Но как это сделать?

И вот Толстой прочитал книгу «Прогресс и бедность» американского экономиста Генри Джорджа, разрешающего этот вопрос путем национализации всей земельной собственности и установления единого государственного налога на землю, взимающегося соразмерно ее стоимости. Теория Джорджа заинтересовала его. Она давала прямой, логический ответ и разрешение вопроса несправедливости владения крупной земельной собственностью богатыми в ущерб трудовому крестьянству.

«Был поглощен Джорджем и последней и первой его книгой «Progress and Poverty», — писал он Черткову 24 февраля 1885 года, — которая произвела на меня очень сильное и радостное впечатление».[12])

В том же 1885 году Толстой получил рукописную статью крестьянина Т. М. Бондарева: «Трудолюбие и тунеядство или торжество земледельца». Взгляды Бондарева совпадали с отношением Толстого к крестьянскому труду. В предисловии, написанном в мае 1886 года, Толстой излагает взгляды Бондарева на труд, те же взгляды, которые он так просто и ярко выразил в сказке об Иване-дураке: «В поте лица снеси хлеб твой».

«Хлебный труд, — говорит Бондарев, — есть лекарство, спасающее человечество. Признай люди этот первородный закон Божеским и неизменным, признай каждый своей обязанностью хлебный труд, чтобы самому кормиться своими трудами, и люди все соединятся в вере в одного Бога, в любви друг к другу, и уничтожатся бедствия, удручающие людей. Все будут работать и

есть хлеб своих трудов, и хлеб и предметы первой необходимости не будут предметами купли и продажи».[13])

Бондарев поражал Толстого своим незаурядным умом и твердостью и ясностью мышления. «Знаете, что я вам скажу — говорил Л. Н. Толстой А. С. Пругавину. — Двум русским мужикам, простым, чуть грамотным мужикам, я обязан более, чем всем ученым писателям всего мира.»[14])

Толстой имел в виду Сютаева и Бондарева.

Толстому хотелось напечатать статью Бондарева, но по цензурным соображениям сделать это было очень трудно. Правительство принимало всё более и более строгие меры по отношению к распространению вольных сочинений Толстого и его последователей. Правительство беспокоилось, что круг единомышленников Толстого увеличивается. Люди отходили от православной церкви, не подчинялись требованиям правительства.

В 1884 году Толстому писал молодой человек Залюбовский, задумавший отказаться от военной службы по религиозным мотивам. Толстой решил не отвечать Залюбовскому, не считая возможным влиять на молодого человека в таком серьезном вопросе. Тем не менее Залюбовский отказался взять в руки оружие. Его арестовали, заключили в тюрьму и приговорили к отбыванию наказания на два года в дисциплинарном батальоне.

«Обвиняемый, считая себя христианином, — писал Толстой брату Залюбовского, — старается жить по Евангелию Христа, которое основано на следующих пяти заповедях: 1) не гневаться на брата, 2) не разводиться с женою, 3) не противиться злу, 4) не клясться вовсе, 5) любить врагов. На основании этих пяти заповедей он отказывается от принятия присяги, употребления оружия и участия в военных действиях... То, что ваш брат сделал и делает, это великое дело, которое может совершить человек в жизни. Не знаю, как бы я выдержал, но я ничего так не желал бы для себя и для своих детей.»[15])

Обращаясь к петербургскому художественному критику В. В. Стасову с просьбой сделать для Залюбовского все возможное, Толстой писал ему: «Дело, о котором

пишу, огромной важности, никогда ничего не было мне так близко к сердцу и важно».[16])

Толстой искал подтверждения своего вероучения не только в России. Его интересовали взгляды людей других стран и он обрадовался, получив письмо от сына William-a Loyd Garrison-a, защитника негров в Америке, исповедующего так же, как и он, теорию непротивления злу насилием.

18 января 1886 года семью Толстых постигло новое горе. Умер младший сын Алеша, от горловой болезни, доктор определил, что это ангина. Алеша задыхался, горел от страшного жара и через 36 часов умер.

Точно мрачная туча нависла над семьей Толстых. Маленького 4-хлетнего Алешу любили все, только двухлетняя Саша ничего не понимала, смеялась и, как всегда, радовалась жизни.

Софья Андреевна, не отходившая от Алешиной постели, рассказывала, что перед самым концом Алеша вдруг широко открыл свои большие, серые, с большими ресницами глаза: «Вижу, вижу...», сказал он, и так и умер с выражением удивления и восторга на личике. Для обоих родителей эта смерть была тяжелым ударом. 18 января 1886 года Толстой писал Черткову: ... «Об этом говорить нельзя. Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной и благой. Мы все соединились этой смертью еще любовнее и теснее, чем прежде.»[17])

Но для матери смерть ребенка была бессмысленной жестокостью. Она долго не могла справиться с своим горем и в постоянной напряженной работе по хозяйству, в занятиях по продаже книг, старалась отвлечься от мучивших ее мыслей. Только он один, Лёвочка, мог понять, пожалеть, но она чувствовала, что он отходит от нее все дальше и дальше.

«Все в доме, особенно Лев Николаевич, а за ним, как стадо баранов, все дети, навязывают мне роль бича, — писала она в дневнике от 25 октября 1886 года. — Свалив всю тяжесть и ответственность детей, хозяйства, всех денежных дел, воспитанья, всего хозяйства и всего ма-

терьяльного, пользуясь всем этим больше, чем я сама, одетые в добродетель, приходят ко мне с казенным, холодным, уже вперед взятым на себя видом, просить лошадь для мужика, денег, муки и т. п. Я не занимаюсь хозяйством сельским — у меня не хватает ни времени, ни уменья — я не могу распоряжаться, не зная, нужны ли лошади в хозяйстве в данный момент, и эти казенные спросы с незнанием положения дел, меня смущают и сердят».[18])

В июле Толстой, навивая на воз сено, зашиб ногу. Думали, что болезнь не серьезная, но нога сильно разболелась, поднялась температура, у Толстого оказалось рожистое воспаление и он больше двух месяцев пролежал в постели.

«Последние два месяца — болезнь Льва Николаевича — было, — писала Софья Андреевна в дневнике от того же числа, — последнее мое (странно сказать) с одной стороны, мучительное, а с другой — счастливое время. Я день и ночь ходила за ним; у меня было такое счастливое, несомненное дело — единственное, которое я могу делать хорошо — это личное самоотвержение для человека, которого любишь. Чем мне труднее, тем я была счастливее. Теперь он ходит, он почти здоров. Он дал мне почувствовать, что я не нужна ему больше, и вот я опять отброшена, как ненужная вещь, от которой одной ждут и требуют, как и всегда это было в жизни и в семье, того неопределенного, непосильного отречения от собственности, от убеждений, от образования и благосостояния детей, которого не в состоянии исполнить не только я, хотя и не лишенная энергии женщина, но и тысячи людей, даже убежденных в истинности этих убеждений.»[19])

В конце того же года скончалась мать Софьи Андреевны — Любовь Александровна Берс. Но смерть старушки-матери, с которой Софья Андреевна редко виделась, прошла для нее менее болезненно, чем всё то, что происходило в ее собственной семье.

---

1) Полн. собр. соч. Госизд., т. 85, № 4, 17 февр. 1884, стр. 27.
2) Там же, т. 83, № 266, 5 февр. 1884, стр. 424.

[3]) Бирюков, Биография, т. 2, стр. 519. — Также: Даннлевский, Г. П. Поездка в Ясную Поляну. Истор. Вестник, 1886, т. 3, стр. 529.
[4]) Полн. собр. соч., Госизд., т. 85, № 43, примеч., стр. 140.
[5]) Там же, т. 85, № 43, 5 февр. 1885, стр. 139.
[6]) Там же, т. 85, № 24, 28 авг. 1884, стр. 90.
[7]) Там же, т. 85, № 69, 6 июня 1885, стр. 223.
[8]) Там же, т. 26, стр. 681, Л. П. Гроссман, «Смерть Ивана Ильича. История писания и печатания».
[9]) «Смерть Ивана Ильича». Полн. собр. соч. Госизд., т. 26, стр. 112.
[10]) Русский Вестник, 1901, март, стр. 140.
[11]) Полн. собр. соч., Госизд., т. 85, № 55, 2 мая 1885, стр. 174.
[12]) Там же, т. 85, № 46, 24 февр. 1885, стр. 144.
[13]) Бирюков. Биография, т. 2, стр. 603.
[14]) Владимиров, Е. И. — «Т. М. Бондарев и Л. Н. Толстой», стр. 56. Красноярск, 1938.
[15]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 63, стр. 302, 304-305.
[16]) Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878-1906. Прибой. 1929. № 29, стр. 70.
[17]) Полн. Собр. соч. Госизд., т. 85, № 96, 18 янв. 1886, стр. 314.
[18]) Дневники С. А. Толстой. 1860-1891. Изд. Собашниковых, М. 1928. 25 окт. 1886, стр. 132.
[19]) Там же, стр. 133.

ГЛАВА XL

«КАЙСЯ БОГУ, НЕ БОЙСЯ ЛЮДЕЙ»

Жизнь семьи Толстых раздвоилась. Обе его дочери тянулись к отцу. Софья Андреевна, сыновья — жили своими интересами. Взгляды Толстого, новые друзья тяготили их. Но дочери были еще молоды и не могли всецело отдаться взглядам отца и проводить их в жизнь. Тане было трудно. Она любила обоих родителей и часто мирила их. Светская жизнь нравилась Тане. Ей было легко и весело с воспитанными, образованными людьми ее круга. Она любила и понимала искусство, любила красоту, хорошую мебель в комнатах, хорошо сшитые платья, дорогие вещи. Она любила веселье и вносила его с собой всюду, где бы она ни появлялась. Вокруг нее всегда крутилась молодежь, молодые люди ухаживали за ней и она тонко, почти бессознательно, кокетничала с ними.

Отец восхищался ею, сурово косился на ее поклонников, боясь как бы кто-нибудь из них не позволил себе вольным словом, взглядом загрязнить ее кристальную чистоту.

Маша вырастала в некрасивую, тонкую девушку с серьезными, вдумчивыми глазами. Одевалась она очень просто, старалась гладко зачесывать вьющиеся непокорные волосы, туго закручивая их в крутой пучок на затылке. С матерью у нее не было близких отношений. Она обожала отца и жадно впитывала в себя его слова. Она росла, взрослела, развивалась под влиянием его взглядов. Со свойственной ей чуткостью она угадывала его желания, его мысли. Незаметная, скромная, она постепенно сделалась необходимой отцу, сначала выполняя самые простые его поручения: легкими, неслышными шагами носилась то за стаканом воды, то за книгой, позднее она, вместе с Таней, переписывала его рукописи. И чем труднее было поручение, тем охотнее оно выполнялось Машей.

Отцовские гости, стеснявшиеся своих засаленных, пахнущих кожей полушубков, грязных валенок или сапог, чувствовали себя лучше, когда встречали скромно одетую, с приветливыми, ласковыми глазами молодую девушку, провожавшую их в отцовский кабинет.

Бóльшей частью это были крестьяне и рабочие, интересовавшиеся взглядами Толстого на религию, земельную собственность, на организацию христианских земледельческих общин. Иногда Толстой читал им свои новые статьи, рассказы или произведения других авторов, обсуждался вопрос о пригодности тех или иных произведений для народного чтения.

Софья Андреевна не любила толстовцев. Кто-то из семейных, не то тетя Таня, не то тетя Соня, прозвали их «темными». Название это привилось.

«Кто у графа сидит?» — спрашивала иногда Софья Андреевна у лакея.

«Не могу знать, ваше сиятельство, — отвечал лакей, — темный какой-то».

Служащие тоже не любили «темных». На чай никогда не давали, грязи от них много, паркетные полы сапожищами пачкали, воняли дегтем и непременно все лезли к самому графу в кабинет.

Графинины гости — совсем другое дело: чистые, холеные, приезжали на своих лошадях, иногда с лакеями, а некоторые хорошо на чай давали. И постепенно круг знакомых раздвоился на светлых и темных, и только некоторые из «темных» — Бирюков, Чертков, М. А. Шмидт, дедушка Ге — вошли в семью Толстых на положении друзей дома.

Большинство великосветских знакомых не соприкасались с «темными», но было несколько семей, преклонявшихся перед его «литературным гением», которые «прощали» Толстому его заблуждения, снисходительно-ласково относились к «темным» и любили бывать у Толстых. К таким принадлежали семья графов Олсуфьевых и семья Стаховичей.

Олсуфьевы были исключительно образованные и культурные люди. Таня дружила с Лизой Олсуфьевой и

двумя ее братьями, Мишей и Митей. Среди молодежи считалось, что Таня Толстая влюблена в старшего брата Мишу, в то время как другой брат, Митя, был влюблен в Таню. Все любили добродушного, милого старого графа, но Толстой особенно дружил с графиней Анной Михайловной, необыкновенно чуткой, умной женщиной, тонко понимавшей Толстого, хотя и не разделявшей его религиозных взглядов. В семье Олсуфьевых Толстой отдыхал и иногда, желая уйти от многочисленных посетителей и семейной обстановки, забравши с собой Таню, он уезжал к ним в деревню и подолгу гостил у них.

Вторая семья, дружившая с Толстыми, была семья Стаховичей. Это были богатые, образованные и блестящие люди. Двое из них особенно привязались к Толстым: Зося Стахович боготворила Толстого как художника, знала наизусть целые главы из «Войны и мира». Независимая, гордая красавица с строгими, классическими чертами лица, на год старше Тани, Зося имела еще больше поклонников, чем Таня, но на всех молодых людей смотрела сверху вниз и считалась холодной и неприступной.

Михаил Александрович Стахович — Миша — неделями живал в Ясной Поляне. Это был настоящий барин. Он прекрасно одевался, следил за своей красивой внешностью, сорил деньгами направо и налево и давал на чай лакеям не серебром, а золотом. Одно время Миша подпал под влияние Толстого, ходил вместе с ним на работу к крестьянам, косил, убирал сено, пахал, но влияние это было неглубокое. Миша Стахович был влюблен в Таню и старался заслужить ее любовь своим «опрощением». Софья Андреевна любила Мишу и втайне надеялась, что Таня выйдет за него замуж — это была «хорошая партия».

Повидимому отец — Александр Александрович Стахович — с детства привил своим детям любовь к литературе. Он был не только большим ее знатоком, но был и превосходным чтецом. Толстой заслушивался, когда Александр Александрович читал вслух Островского, Гоголя. Иногда, вечерами, в яснополянской зале семья и гости собирались вокруг круглого стола красного дере-

ва, Софья Андреевна штопала детские чулки или вязала своим многочисленным детям шерстяные одеяла, младшие мотали для матери клубки мягкой, пушистой шерсти, Таня углем зарисовывала чей-нибудь портрет, а Стахович читал.

Толстой наслаждался больше всех. Он особенно любил: «Бедность не порок» и «Не так живи как хочется». Толстой мечтал издать пьесы Островского в «Посреднике» и незадолго до его смерти обратился к нему, прося разрешения напечатать его драматические произведения в народном издании, но не успел получить ответа. Островский умер.

Осенью 1886 года Стахович читал в Ясной Поляне «Не так живи как хочется». Когда через три недели после этого чтения он снова приехал в Ясную Поляну, Толстой сказал ему: «Как я рад, что вы приехали. Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму... Или я давно ничего не писал для театра или действительно вышло чудо!»[1])

В конце августа Толстой получил письмо от директора народного театра «Скоморох» с просьбой поддержать театр. Может быть это было одной из причин, побудивших Толстого начать писание «Власти тьмы», а чтение Островского послужило новым толчком, побудившим его взяться за перо. Возможно, что лежа в постели во время длительной болезни ноги, он усиленно думал и, перебирая многочисленные темы, всегда громоздившиеся в его голове, он случайно набрел на тему, содержание которой еще в 1880 году сообщил ему прокурор Тульского Окружного Суда, Николай Васильевич Давыдов.

Почему именно этот рассказ произвел такое впечатление на Толстого? Мало ли злодеяний, преступлений, убийств совершаются в мире. Толстого задело за живое и потрясло то, что, совершив ряд преступлений, задушив ребенка, которого прижила от него его падчерица, молодой, красивый парень, крестьянин Колосков, не побоялся всенародно покаяться в своих злодеяниях.

«Сырая, скучная осень, — писала Софья Андреевна Толстая в октябре 1886 года. — Андрюша и Миша катались на коньках на нижнем пруду. У Тани и Маши зубы болят. Лев Николаевич затевает писать драму из крестьянского быта».[2])

26 октября С. А. снова записывает в дневнике: «Лёвочка написал первое действие драмы. Я буду переписывать. Отчего я перестала слепо верить в его даже авторскую силу?»[3])

30 октября Софья Андреевна переписала второе действие драмы, а меньше чем через месяц «Власть тьмы» уже была вчерне написана. Оставалась только работа по отделке, уточнению некоторых народных выражений, переделка некоторых сцен и действий.

В конце ноября «Власть тьмы» была отдана на просмотр в цензуру.

Не успело новое произведение выйти из-под пера Толстого, как слух о нем распространился в Москве и Петербурге. Знаменитая артистка Александринского Театра, Савина, написала Толстому, прося его предоставить театру право первой постановки «Власти тьмы» для ее бенефиса.

Но «Власть тьмы» запретили не только к постановке, но и для печати.

Софья Андреевна взволновалась и написала начальнику главного управления по делам печати Е. М. Феоктистову письмо с просьбой разрешить драму, на что Феоктистов ответил, что пьеса «должна произвести самое удручающее впечатление на публику, что в ней изображается целый ряд прелюбодеяний и убийств», что пьеса ужасна по своему цинизму и т. д. По мнению главного управляющего по делам печати и цензуры, драма не может быть допущена к печати «в виду ее скабрезности и отсутствия всякой литературности».[4])

Между тем, А. А. Стахович, который был в полном восторге от «Власти тьмы», читал ее в высших придворных кругах Петербурга и 27 января 1887 года прочел «Власть тьмы» в доме графа Воронцова-Дашкова, министра двора императора Александра III. Государь, вели-

кие княгини и ряд придворных присутствовали при этом чтении. Вот как описывает это событие А. А. Стахович:

«Сильное впечатление произвел 4-ый акт; видно было, что он захватил всех, что выразилось в антрактах в разнообразных, но общих похвалах. После конца 5-го действия все долго молчали, пока не раздался голос Государя:

«Чудесная вещь».

И эти два слова разверзли уста всем. Пошли толки: о задушевном признании Никиты, святой радости Акима, любви глухой Акулины к Никите, желавшей, чтобы спасти его, взять на себя его преступление... Восторженные возгласы: чудо, чудо, раздавались со всех сторон».[5])

Вскоре после этого Александринский театр приступил к постановке драмы. Было проведено 17 репетиций, из театра ездили в Ясную Поляну для изучения крестьянской обстановки — изб, одежды, быта.

Одновременно с этим, в начале февраля, «Власть тьмы» вышла в полном собрании сочинений в издании С. А. Толстой и в книгоиздательстве «Посредник», сначала в двенадцати тысячах экземпляров, затем в двадцати, и, наконец, в сорока тысячах экземпляров по цене три копейки за книжку.

Но Александринскому театру не суждено было поставить «Власть тьмы». Узнав о лестном отзыве Государя о драме и о его желании, чтобы пьеса ставилась в Александринке, Феоктистов написал возмущенное письмо Победоносцеву, послав ему пьесу Толстого для прочтения.

Всесильный прокурор Синода рассвирипел и написал Государю письмо с просьбой снять «Власть тьмы» со сцены Александринского театра.

«День, в который драма будет поставлена в императорских театрах, будет днем р е ш и т е л ь н о г о п а д е н и я нашей сцены», — писал Победоносцев.[6])

Государь не решился идти против Прокурора Синода и согласился, «что эту драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна и ужасна по сюжету».

И пьесу запретили.

Начиная с 1888 года, «Власть тьмы» шла в разных театрах Европы: во Франции, Швейцарии, Италии... Россия же была лишена возможности видеть на сцене произведение одного из величайших своих писателей, несмотря на то, что сам Государь назвал его «чудесной вещью»!

«Власть тьмы» была разрешена к постановке только в 1895 году, уже в царствование Николая II.

Нет ничего удивительного, что цензура с трудом пропустила драму Толстого. Во «Власти тьмы» с невероятной силой выступает нелепость всякого человеческого наказания. Какое значение имеют урядники, тюрьмы, каторга по сравнению с карой Божьей, с мучениями совести. Стоит с обнаженной душой раскаявшийся грешник перед Господом. Всё, что мучило его годами, все тяжкие грехи свои раскрыл он перед Богом и людьми. Больше скрывать нечего и бояться больше нечего. Самое страшное позади.

Босой, растрепанный стоит человек на коленях перед народом и у всех по очереди просит прощения за свои окаянства.

«Берите его!» кричит урядник. «А старосту пошлите, да понятых, надо акт составить»...

Но отец Никиты, старик Аким, отстраняет урядника как ненужное, постороннее тело, мешающее главному, основному...

«А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит погоди... Божье дело идет... кается человек, значит»...

Но Божье дело мало интересует урядника. Ему надо показать свою власть, наказать преступника.

«Старосту!» — повелевает он громовым голосом.

«Дай Божье дело отойдет, — молит его Аким. — Говори, дитятко, всё говори... Легче будет!»

Старик счастлив. Он знает, что сын его теперь уже на праведном пути: «Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то, он во»...[7])

---

[1]) Толстовский Ежегодник 1912 г. стр. 27.

[2]) Дневники С. А. Толстой, т. 1, стр. 133.

[3]) Там же, т. 1, стр. 134.
[4]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 26, стр. 715.
[5]) Толстовский Ежегодник 1912 г. стр. 42.
[6]) Письма Победоносцева к Александру III. Центрархив, т. 2, стр. 132.
[7]) «Власть тьмы». Полн. собр. соч. Госизд., т. 26, стр. 241.

ГЛАВА XLI

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

20 июня 1887 года Толстой писал Черткову: «Самое лучшее положение для души — это не то, чтобы не быть виноватым, а чувствовать себя виноватым».[1])

И это были не слова. Он, действительно, чувствовал себя виноватым и перед женой, и перед мужиком, которого он встречал на прогулке и который жаловался ему на свою бедность, и перед детьми, и перед толстовцами.

Особенно тяжело ему было с женой, он ничего не мог изменить и невольно заставлял ее страдать. В 1887 году Софье Андреевне шел 43-ий год. Она была очень моложава. Цвету лица ее, не знавшему ни румян, ни белил, ни даже пудры, позавидовала бы любая красавица. На гладком, бело-розовом лице ее не было ни единой морщинки. От частого рождения детей она вся расширела, пополнела. Во всей фигуре ее, в разговоре, в том, как она подносила лорнет к близоруким глазам, была спокойная уверенность. Быстрые движения, легкая походка не гармонировали с ее широкой фигурой. Она не носила ни пенснэ, ни очков, чтобы не портить своей наружности, но из-за близорукости часто не улавливала выражения лица своего собеседника, перемигивания детей, замышлявших какую-нибудь шалость, нахмуренного лица Лёвочки, и по той же близорукости не узнавала иногда людей, смешивала одних с другими и казалась бестактной.

Самого Толстого никак нельзя было назвать старым. Хотя ему шел уже 60-ый год, он был здоров и силен.

Софья Андреевна любила говорить о своей молодости и его старости, но на самом деле это были только слова — она этого не чувствовала. Если бы он не мучил ее своими странными убеждениями, она любила бы всё

так же — этого необыкновенного, гениального, некрасивого, беззубого человека. Она родила 12 человек детей и ждала 13-го. Всех, кроме Саши, она выкормила своей грудью и они — восемь, оставшихся в живых — и малые и большие, составляли главную заботу ее жизни.

На ней лежали теперь все хлопоты по изданию его сочинений, составлявших главный доход семьи, она постоянно беспокоилась, что не так поведет дела, что они разорятся, а разорение и бедность казались ей страшнее всего на свете. Ее раздражало, что Лёвочка этого именно и хотел. Он хотел, чтобы они все опростились и шли работать и чтобы дети перестали учиться. Что сделалось с Лёвочкой-писателем, барином, охотником? Этого, ее «настоящего» Лёвочку узурпировали какие-то «темные» люди, с Чертковым во главе, которые предъявляли к нему требования, вылепливали из него чуждый ей образ учителя, проповедующего самоотречение, любовь к ближнему, всяческое воздержание и отречение от собственности. И этот учитель отрицал православную церковь, обличал правительство, которое она привыкла уважать еще с детства, когда отец ее был дворцовым доктором в Кремле. Этот учитель осуждал и курение, и питье вина и мясоядение, и всякие невинные развлечения детей: танцы, спектакли и хорошую одежду. Он дошел до того, что проповедывал полное целомудрие — и она, жена, почему-то сделалась его грехом и соблазном.

«В Ясную Поляну я перееду не раньше 20 мая, — писала Софья Андреевна мужу из Москвы в ночь на 11 апреля 1887 года. — Перспектива делить свою жизнь с Фейнерманами так тяжела, что хоть совсем не приезжать».[2])

Фейнерман был еврей и один из тех «темных», которых Софья Андреевна особенно не взлюбила. В то время он жил в Ясной Поляне. Несмотря на то, что он крестился с целью сделаться сельским учителем, администрация его не утвердила в этой должности. Но как истинный последователь Толстого, Фейнерман всё же решил опроститься и наняться в пастухи к крестьянину за 80 рублей в лето. Толстой сообщил Софье Андреевне о намерении

Фейнермана в письме к ней и добавил, что очень завидует тому, что Фейнерман будет пасти скотину.

«Фейнерману нечего завидовать, — отвечала ему Софья Андреевна в письме от 13 апреля. — То, что ты на свете делаешь, никакие Фейнерманы не сделают. А он ни на что не годен, и пастух будет плохой. Эти люди по-настоящему работать не умеют. Они делают то, что им легче всего, что собственно не работа».[3])

В другом письме о «темных» Софья Андреевна пишет: «Куда всей этой дряни (темным) деваться, к тебе их и гонят. Порядочные люди все или при деле или при семьях живут. Ты опять скажешь, что я сержусь, а я не сержусь, но у меня, к несчастью моему, грубо здравый взгляд на людей, и я не могу не видеть, как ты, то, что есть. У тебя в голове и в воображении т и п ы, а не люди. И ты людей, дополняя недостатки и отбрасывая неподходящее — всех подводишь под эти типы, одухотворяя и идеализируя их».[4])

Софья Андреевна не любила, когда Толстой с дочерьми уезжал в Ясную Поляну, она немножко ревновала его к дочерям, которые теперь почти всегда переписывали его рукописи. Она волновалась о его здоровьи, считая, что никто не умеет лучше его накормить, присмотреть за ним, чем она. Всё чаще и чаще с ним случались припадки, вероятно, прохождение камней в желчном пузыре. Боли были настолько сильные, что он весь покрывался холодным потом, громко стонал, а один раз Софья Андреевна нашла его в зале — он катался по полу, таская за собой тяжелый стул и буквально рыча от боли...

Для того, чтобы успокоить жену, Толстой иногда приглашал с деревни повара, бывшего крепостного Николая Михайловича, но старик был уже слабый и хворый и чаще всего Толстые — отец с дочерьми и с приезжими гостями, делали всё сами: готовили, убирали, мыли посуду.

В апреле 1887 года в Ясную Поляну приехал профессор Пражского университета Масарик. Толстого еще в Москве познакомил с ним профессор философии при

Московском университете Н. Я. Грот, и за свое пребывание в России Масарик несколько раз посетил Толстого.

В письме от 30 апреля Толстой писал жене: «Два дня у меня гостит Масарик. Мне очень с ним приятно было». И в конце того же письма добавляет: «Ходил с Масариком на Козловку. Получил твои два хорошие письма. Так радостно, когда чувствую, что у тебя на душе хорошо, и что всё было весело. Масарик ставит самовар и раздувает хорошо, и думает и понимает так же».[5])

3 мая Толстой опять пишет: «Погода нынче из всех дней: гроза, жара, соловьи, фиалки, лес наполовину зеленый, весело, хорошо в Божьем мире! Вчера я половину дня пахал. Устал порядочно, но самое хорошее состояние, и было очень хорошо. Пашу я не один, а с Константином. Он работает на моей лошади Копыловым*), а вчера мы вдвоем. Нынче работал над своим писанием. Не думай, чтобы мне было неудобно и дурно, — превосходно. Только вас недостает».[6])

По утрам он писал, а после обеда работал на дворе или в поле: пахал, пилил деревья, косил. По субботам топили баню. Это была простая, крытая соломой, бревенчатая изба около пруда. Вода в чугуны и бочки натаскивалась ведрами, пол настилался чистой, пахнущей ржаным хлебом соломой, на раскаленный под плескалась ведрами вода и, шипя, обращалась в тяжелый, густой пар. Люди часами потели, мылись, опять потели, иногда, зимой, изнемогая от жары, выскакивали на мороз, катались в снегу, и опять парились. Баня была отдохновением, удовольствием и необходимостью. Не все, даже зажиточные русские семьи, имели в домах ванны. В Ясной Поляне Софья Андреевна настояла на том, чтобы была устроена ванна, но проведенной воды не было так же, как и в Москве, и каждый раз как кто-нибудь из семьи принимал ванну, дворник должен был привозить бочками воду за полторы версты и наливать бак ведрами.

Почти весь 1887 год Толстой писал свою статью «О жизни и смерти», которую он, после нескольких ме-

---

*) Анисья Копылова — бедная Яснополянская вдова.

сяцев работы, озаглавил просто «О жизни» — смерти нет, душа человеческая бессмертна.

Статья «О жизни» диаметрально противоположна материалистически-атеистическому учению. Единственный смысл жизни, — говорит Толстой, — это жизнь не телесная, а духовная. Когда в человеке просыпается «разумное сознание», «продолжать личное существование» и жить только стремлением к личному благу — невозможно. «Происходит нечто подобное тому, — писал Толстой, — что происходит в вещественном мире при всяком рождении. Плод родится не потому, что он хочет родиться и что он знает, что хорошо родиться, а потому, что он созрел и ему нельзя продолжать прежнее существование; он должен отдаться новой жизни не столько потому, что новая жизнь зовет его, сколько потому, что уничтожена возможность прежнего существования. Разумное сознание, незаметно вырастая в его личности, дорастает до того, что жизнь в личности становится невозможной».

«Происходит совершенно то же, что происходит при зарождении всего. То же уничтожение зерна, прежней формы жизни и проявление нового ростка; та же кажущаяся борьба прежней формы разлагающегося зерна и увеличение ростка, — и то же питание ростка на счет разлагающегося зерна».

Жизнь, смысл жизни только в отречении от своей телесной личности, в служении, любви к людям.

«Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение от блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям... И только такая любовь дает истинное благо жизни и разрешает кажущееся противоречие животного и разумного сознания».

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

И Толстой добавляет: «Любовь истинная есть сама жизнь... Жив только тот, кто любит».[7])

Статья «О жизни» мало кому известна, а между тем она может быть более, чем другие произведения Толстого, дает понятие о том, что произошло с ним самим: проросло зерно и личная жизнь перестала иметь для него значение. Главный смысл жизни теперь заключался в этом всё большем и большем росте его духовного сознания.

Поняла ли по существу Софья Андреевна статью «О жизни»? Но в ней Лёвочка, слава Богу, не ругал правительство и церковь, и статья понравилась Софье Андреевне. Она не только переписывала ее для своего мужа, но даже вызвалась перевести статью на французский язык, чему он очень обрадовался.

Корректуру статьи «О жизни» Толстой поручил профессору Гроту. Грот был очень рад этому. Он был за последнее время одним из постоянных посетителей Толстого. Беседы с Гротом, Н. Н. Страховым были ценны Толстому. Споры и разногласия чаще укрепляют собственные мысли, чем убеждают собеседника. Н. Н. Страхов, профессор Грот были ученые философы, теоретики. Рассуждения их были чисто отвлеченными. Толстому же хотелось немедленно, поскольку он мог, провести свои взгляды в жизнь, отдать себя на служение Богу и людям.

Он видел жизнь людей богатых, с многочисленными слугами, людей, с утра до ночи объедающихся жирной, обильной пищей, пьющих, кутящих. С другой стороны он видел ужасающую нищету деревни, больных, вдов, которым некому было вспахать их полоску земли, крестьян безлошадных, без коров, с кучей босоногих, белоголовых ребят, выросших на картошке и кислой капусте, без молока, со вздутыми животами и тоненькими ножками.

Он наблюдал, как в городах рабочие, а в деревнях крестьяне с отчаяния пропивали последние гроши. Он видел замученных работой и недоеданием женщин, цепляющихся за свой скарб, который мужья тащили к кабатчику.

«Трезвому совестно то, что не совестно пьяному, — писал Толстой в своей статье «Для чего люди одурманиваются».

Он наблюдал, как в подполье зарождалась и крепла новая, страшная сила воинствующего безбожья, атеизма, социалистов-революционеров, марксистов, людей, обещавших новую, свободную жизнь народу. Для Толстого сила эта, отрицавшая духовное начало, была гораздо страшнее, чем царское правительство. Он видел, что так называемым интеллигентам нечего было противопоставить этой силе. У них не было даже знанья массы русского народа.

Толстой искал путей, как помочь людям.

В своей статье «Праздник просвещения»*) Толстой резко нападает на так называемую «интеллигенцию»: «Мужик всякий считает себя виноватым, если он пьян, — писал Толстой, — и просит у всех прощения за свое пьянство. Несмотря на временное падение, в нем живо сознание плохого и дурного. Но интеллигенты, смотрящие сверху вниз на «народ», почему-то считают себя в праве смотреть на мужика, как на «низшее существо». Это, мол, «дикий народ», от них нельзя ожидать ничего лучшего. Как же они, эти образованные, празднуют свой университетский праздник просвещения — Татьянин день?»

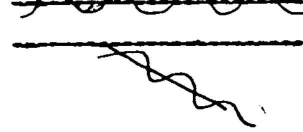
«Люди, — пишет Толстой, — стоящие, по своему мнению, на высшей степени человеческого образования, не умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, что в продолжение нескольких часов сряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу; ужасно то, что старые люди, руководители молодых людей, содействуют отравлению их алкоголем, — такому отравлению, которое подобно отравлению ртутью, никогда не проходит совершенно и оставляет следы на всю жизнь (сотни и сотни молодых людей в первый раз мертвецки напивались и навеки испортились и развратились на этом празднике просвещения, поощряемые

*) 12-го января, в день св. Татьяны, Московский университет праздновал ежегодно день своего основания.

своими учителями), но ужаснее всего то, что люди, делающие всё это, до такой степени затуманили себя самомнением, что уже не могут различать хорошее от дурного, нравственное от безнравственного».

Отвыкнув курить, Толстой почувствовал большое облегчение, как он выразился «очищение», и ему захотелось помочь людям освободиться от грехов пьянства и курения. Он написал по этому поводу целый ряд статей — «Для чего люди одурманиваются» он закончил летом 1890 г. — и решился создать общество «Согласия против пьянства». Общество постепенно увеличивалось и к 1890 году имело уже 741 членов. Вероятно, Толстой зарегистрировал бы это общество, если это не было бы связано с большими трудностями формального характера.

В одном из писем к Черткову в феврале 1889 г. Толстой чертит прямую линию — кратчайшее расстояние от сознания человека к совершенству, но человек «иначе ходить не может как так, — пишет Толстой.



Только бы он не ходил так:

Хочу идти прямо и грешу, является и грех, который я знаю и в котором я каюсь, но не делаю сделки, обмана перед Богом. А обман, это много хуже греха — это хула на Святого Духа».[8])

Уже тогда, в конце 80-х и начале 90-х годов, Толстой чувствовал, что так называемое просвещенное человечество потеряло правильное направление. Смелее, громче раздавались голоса безбожников, социалистов, всё равнодушнее становилось отношение людей образованных к вопросам религии. Вся же многомиллионная масса русского крестьянства продолжала жить, руководясь старыми, пусть примитивными, но какими-то своими религиозными традициями. Толстой это видел. Недаром он взывал ко всем писателям, чтобы они дали свой труд на просвещение русского народа, жаждущего этого самого просвещения, как «голодные галчата».

Из мыслей этих и зародилась статья Толстого «Что такое искусство», которую он тогда же начал обдумывать.

Большинство русской интеллигенции было оторвано от народа, не знало и не понимало его. И твердого, духовного руководства народу дать не могло.

«Просвещение, — заканчивает свою статью Толстой, — не основанное на нравственной жизни, не было и никогда не будет просвещением, а будет всегда только затемнением и развращением».

---

[1]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 86, № 147, стр. 61.

[2]) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 186, стр. 394.

[3]) Там же, № 188, стр. 398.

[4]) Письма Л. Н. Толстого к жене. Изд. 1913 г. № 311, стр. 313.

[5]) Там же, № 313, стр. 315.

[6]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г. т. 17, стр. 208-312.

[7]) Полн. собр. соч. Госизд. т. 86, № 217, стр. 216.

[8]) Письма С. А. Толстой к Л. Н. Толстому. Изд. Academia. № 189, стр. 401.

ГЛАВА XLII

ПОПУЛЯРНОСТЬ ТОЛСТОГО РОСЛА

Люди, ищущие интересов духовных, невольно тянулись к Толстому. Переписка Толстого со всем миром — росла, увеличивалось количество посетителей, как с разных концов России, так и из заграницы. Но и помимо случайных посетителей, в Ясной Поляне было пропасть народа. Во флигель каждое лето приезжала многочисленная семья Кузминских. Две старшие дочери — биг Маша, как ее звали в отличие от литль Маши Толстой, была немного моложе Тани, а Вера — помоложе Маши Толстой — и три мальчика: Миша, Саня и Вася — вносили в жизнь молодежи большое оживление.

Жизнь детей Толстых и Кузминских, двух матерей — тети Сони и тети Тани — гувернанток, нянек, почти не разделялась. Вместе ездили купаться на реку Воронку, ходили за грибами, учились, устраивали детские концерты, ездили верхом, играли в крокет. Веселились, ссорились, дрались, и когда подходила осень и расставались на всю зиму, Толстые уезжали в Москву, Кузминские в Петербург — неизменно плакали и сокрушались, что лето так скоро кончилось.

Целый ряд друзей как бы вросли в Ясную Поляну, стали своими. С годами дедушка Ге и сын его Колечка стали совсем своими. Дедушку нельзя было не любить, такой он был простой, милый. Всё, что он делал, он делал легко и просто, радуясь жизни, никого не уча и никого, начиная с самого себя и своих детей, не насилуя. Дедушка никогда не говорил, что он отказался от собственности, ходил в поношенном пиджачке, старался жить по учению Христа, любил Христа, именно любил, изображал Христа так, как понимал Его, не как Бога, а как величайшего Учителя мира, сиял радостью и добротой, и

всем видом своим доказывал, что гораздо легче и радостнее быть добрым и хорошим, чем злым и плохим.

Дедушка не выносил притворства, ходульности, высокопарных слов, немножко косился на Черткова за его морализирование и нисколько не стеснялся своих слабостей. Он любил сладенькое и часто приходил к Софье Андреевне: «Маменька, — обращался он к ней своим мягким южным говором, — нет ли у вас чего-нибудь вкусненького?» И маменька шла в свою комнату, откидывала дверцу старинной, красного дерева шифоньерки, где хранились конфекты, и угощала дедушку.

Сын его, Колечка Ге, был такой же ласковый, жизнерадостный и чудесно смеялся. Когда Колечка смеялся — смеялись все, так это было заразительно. Сергей Толстой любил придумывать каламбуры и рассказывать анекдоты. Колечка слушал серьезно и, по мере рассказа, кожа на лице его, как гармоника собиралась, особенно на лбу, в глубокие складки, и вдруг гармоника распускалась и Колечка начинал беззвучно трястись всем телом, смеялся иногда до слез, до изнеможения. Если при этом присутствовали дети, то все, не поняв по существу анекдота, особенно Саша, которая рада была придраться ко всякому случаю, чтобы похохотать, заливались смехом.

Черткова в семье Толстых побаивались. Несмотря на то, что старшие мальчики Толстые были с ним на ты, Чертков стеснял их и они его избегали. Чертков был не виноват в этом. Он очень старался подойти к ним подружески, но ему это не удавалось. Его нельзя было назвать неискренним. Он жертвенно служил Толстому, искренно исповедывал его учение, много работал в «Посреднике» и над редактированием и печатанием произведений Толстого, которые он начал издавать заграницей, главным образом в Англии. Несмотря на это, было в нем что-то, что стесняло людей. Может быть, это была его аристократичность в манере, во всей его громадной барской фигуре, его красивом лице, его англезированном произношении, которое так не вязалось с его опрощением, может быть, это было его желание поучать. Может быть, молодежь чувствовала в нем какой-то надрыв,

которого не было в дедушке, в М. А. Шмидт, в Поше Бирюкове — трудно сказать.

Сыновья Толстого втихомолку подсмеивались над ним и передавали друг другу рассказы подобные тому, как в разгар рабочей поры, когда вся деревня и некоторые из членов семьи Толстых с самим Львом Николаевичем во главе, потные и усталые, возили сено, они встретили Черткова, шедшего куда-то в ярко красной рубашке ниже колен. Братья спросили его, куда он идет. «Я иду на сэло бэсэдовать с крестьянами», — ответил Чертков.

В 1886 году Чертков женился на Анне Константиновне Дитерихс. Чтобы не огорчать родителей — мать Черткова, Елизавету Ивановну, и семью генерала Дитерихса — молодые обвенчались церковным браком. Анна Константиновна Дитерихс, курсистка, народница, очень либеральных взглядов, несмотря на то, что вышла из консервативной семьи, познакомилась с Чертковым в «Посреднике». Она вполне разделяла взгляды своего мужа, но и в ней так же, как и в нем, нехватало радости жизни. Она была хорошенькая, с правильными чертами лица, ротиком бантиком, темными вьющимися волосами и большими, черными глазами, но это была какая-то болезненно-трагичная красота. Казалось, что вот, вот она сломится под тяжестью жизни, что хрупкое тело ее не выдержит. И в точно удивленных, недоумевающих, красивых глазах ее, и в низком голосе (она чудно пела) чувствовался надрыв.

В 1888 году в семье Толстых произошли два крупных события: женился Илья (28 февраля). 13 февраля этого года Толстой писал дедушке Ге: ...«У нас все хорошо — очень хорошо даже. Жена донашивает будущего ребенка — остается месяц. Илья женится — на Философовой (вы, верно, знаете — славная, простая, здоровая, чистая девушка) 28 февраля и находится в том невменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные. Жизнь для него остановилась и вся в будущем»...[1])

31 марта родился шестой сын, которого назвали Иваном — худенький, хрупкий и болезненный ребенок. По этому поводу Н. Н. Ге писал Толстому: «Новорожденного

Ваню целую — дай Бог, чтобы в нем жил Иоанн Богослов, любимейший писатель и человек».[2])

Темных, которые бы вошли в семью Толстых и были признаны Софьей Андреевной, было не много. Одним из них был П. И. Бирюков или, как все его называли, Поша. Он не принадлежал к той клике последователей Толстого, которых презирала Софья Андреевна. То, что Поша был воспитанный молодой человек из хорошей семьи, имело большое значение. Поша был простой, приветливый в обращении и скромный молодой человек. В глазах Софьи Андреевны он не был лодырем, работал не за страх, а за совесть в «Посреднике» и был искренно предан Толстому и его учению. Отношение Софьи Андреевны несколько поколебалось, когда в начале 1889 года Поша сделал Маше предложение и Маша решила выйти за него замуж. Софья Андреевна не хотела этого брака, потому что Поша был «толстовцем» и тоже потому, что своим материнским сердцем она почувствовала, что Маша не влюблена в Пошу, а решила выйти за него замуж, чтобы вместе с ним вести трудовую жизнь, следуя принципам отца. Лев Николаевич тоже боялся этого брака. Но чувства его были гораздо сложнее. Он не совсем понимал, насколько Маша по-настоящему полюбила Пошу и боялся, с другой стороны, что если Маша не выйдет замуж, то сделает это ради него, отца, чтобы остаться с ним, чего Лев Николаевич в душе желал. С каждым годом он сильнее и сильнее привязывался к Маше и терять ее ему было не легко.

В своем дневнике от 25 апреля 1889 года он писал о Маше: «Большая у меня нежность к ней. К ней одной. Она как бы выкупает остальных».

Но к общему удовольствию, кроме бедного Поши, который долго не мог утешиться, свадьба расстроилась.

В 1889 году к работе «Посредника» примкнул новый последователь Толстого — Иван Иванович Горбунов-Посадов, со временем ставший главным его и редактором, и издателем. Познакомившись с Горбуновым, Толстой записал в дневнике: «Очень умен, и даровит, и чист». Вероятно, ближе познакомившись с Горбуновым, Толстой

мог бы добавить к этому определению: и добр, до слез чувствителен, даже сентиментален и скромен. Толстого Иван Иванович боготворил. Он ловил каждое слово его и иногда, когда Толстой читал вслух свои вещи, Горбунов по-детски отдувал губы, сопел носом и потихоньку утирал свои добрые, голубые, ласковые глаза не совсем чистым платком. А иногда, чтобы скрыть волнение, он, в порыве разговора, вскакивал и грузно шагал по комнате, утирая пот с очень русского, широкого, с мясистым носом и толстыми губами, лица.

Эти люди, несмотря на то, что их прозвали «темными», были совершенно особенными по своим душевным качествам. Леонила Фоминична Анненкова незаметно появилась в доме Толстых и сразу была принята как близкий друг и без всякого усилия завоевала любовь всего Толстовского дома. Вся она была мягкая, полная, с мягким южным говором, приятная, как та мягкая, пушистая шерсть, из которой она вечно что-то вязала. Она говорила мало, больше слушала своего любимого учителя и незаметно молча проводила в жизнь то, что он говорил и то, во что она раз и навсегда поверила.

Декабря 26, 1889 года Толстой писал Анненковой: «Помогай вам Бог, пожалуйста пишите нам. Я вас очень люблю. Получил я огромное количество носок, чулок и перчаток. Все это прекрасно».[3])

Большинство этих толстовцев жили, питались Толстым. Одним из таких был Гавриил Андреевич Русанов. «Толстой дал мне счастье и я стал христианином», — писал Русанов»[4]). Но и Русанов очень много дал Толстому. И хотя Толстой редко с ним виделся, так как у Русанова была сухотка спинного мозга и он был прикован к креслу по болезни, но Толстой часто переписывался с ним и пользовался его советами и указаниями по поводу своих писаний. Русанов страдал и, как люди много пережившие, достиг большой духовной высоты. Толстой считал его одним из лучших людей, которых он когда-либо встречал, любил и уважал его.

Несмотря на то, что Софья Андреевна не разделяла взглядов толстовцев, она инстинктивно чувствовала под-

линность и искренность многих из них и уважала. К таким можно причислить: М. А. Шмидт, Пошу Бирюкова, дедушку Ге, Л. Ф. Анненкову и некоторых других. Но когда в других она улавливала неискренность, притворство, желание подыграться под толстовство — она была беспощадна.

«Тяжелое время пришлось переживать на старости лет, — писала Софья Андреевна в дневнике декабря 10, 1890 года. — Лёвочка завел себе круг самых странных знакомых, которые называют себя его последователями. И вот сегодня утром приехал один из таких, бывший в Сибири за революционные идеи, в черных очках, сам черный и таинственный, и привел с собой еврейку-любовницу, которую назвал своей женой только потому, что с ней живет. Так как тут Бирюков, то и Маша пошла вертеться там же внизу и любезничала с этой еврейкой. Меня взорвало, что порядочная девушка, моя дочь, водится со всякой дрянью и что отец, как будто, этому сочувствует. И я рассердилась и раскричалась...»[5])

В этом случае Софья Андреевна ошиблась. Буткевич был искренним последователем Толстого, и со временем, когда Софья Андреевна узнала его ближе, она примирилась с ним.

Как-то к Толстому приехал новый последователь — Клопский. Софья Андреевна быстрее всех раскусила его, но много он ей перепортил крови.

«Приехал Клопский, — записывает она в дневнике 14 января 1891 года. — Он противен ужасно. Какой-то темный».[6])

Через день она опять пишет: «Какая подчас идет тяжелая борьба. Сегодня утром дети учатся внизу, а там этот Клопский. И говорит он Андрюше: «Зачем вы учитесь, губите свою душу? Ведь отец ваш этого не желает». Девочки тотчас же подхватили, что готовы пожать его благородную руку за эти речи. Мальчики прибежали ко мне и все рассказали».[7])

Вероятно Андрюша, которому было четырнадцать лет и который всегда плохо учился, очень был рад такому совету, но каково было матери?

Был еще целый разряд друзей Толстого, которых нельзя было назвать ни светскими, ни темными — ученые, писатели, художники, музыканты, просто посетители.

«Я так сошелся с Толстым, — писал профессор Грот своему брату, — что просто влюблен в него... Это чудесный человек, единственный, которого я знаю (человек в полном смысле этого слова)».

Грот не был последователем Толстого, но Грот сделался постоянным посетителем и другом дома Толстых. Этой дружбе способствовало еще и то, что Гроты, их многочисленное семейство, жили рядом с Хамовническим домом в Москве и дети Гроты часто играли с детьми Толстых в саду и ходили друг к другу в гости.

К этому же времени относится начало дружбы художника И. Е. Репина с Толстым. Она началась еще когда Репин иллюстрировал народные рассказы Толстого, но со временем Репин сошелся со всей семьей и часто и подолгу гостил в Ясной Поляне.

В 1887 году Репин писал два портрета Толстого в Ясной Поляне: Толстой с книгой в вольтеровском кресле и Толстой на пашне. Позировать Толстой терпеть не мог по двум причинам: это было скучно и тратилось время, а главное, это подчеркивало ту «знаменитость» его, Толстого, то, что он хотел забыть, что тяготило его, мешало его вечной борьбе с «грехом честолюбия», как он говорил. Но огорчать Репина он не хотел. Несмотря на то, что Репин был уже знаменитостью — его «Бурлаки», картина Иоанна Грозного с сыном и др. нашумели и он был известен всей России — он был очень скромен и подкупал этим Толстого. Добрая, грустно-насмешливая улыбка почти не сходила с его лица. Когда Толстой говорил, он молча, сосредоточенно слушал и нельзя было понять, вникал ли Репин в сущность того, что говорил Толстой, или устремлял все свое внимание на изучение лица, которое он воспроизводил. Писать портрет Толстого на пашне было трудно. Толстой ни за что не согласился бы позировать в то время когда он делал самое, как он считал, важное дело. Держа в сильных, мускулистых руках тяжелую соху, Толстой шел, не останавливаясь, утопая в

мягкой земле, в то время как Репин перебегал с одного конца поля на другой, стараясь зарисовать пахаря. Художник и сам пробовал пахать и, взявши соху из рук Толстого, прошел одну полосу. Но лошадь его не слушалась, он накривил полосу, устал и передал соху обратно в руки Толстому.

В том же 1887 году (в апреле) Толстого посетил Лесков. Рассказ «Христос в гостях у мужика» был одним из первых произведений, напечатанных в «Посреднике» с разрешения автора. Рассказ этот продавался за ½ копейки в розничном издании. В письме к Черткову от 24-25 апреля Толстой писал: «Был Лесков. Какой умный и оригинальный человек».[8])

И этим же летом в Ясную Поляну приехал знаменитый юрист А. Ф. Кони — человек исключительно блестящего ума, с широким кругозором, живой, талантливый собеседник.

Во время пребывания Кони, Толстой брал его с собой на дальние прогулки. Этой привилегией пользовались лишь немногие, только те, к кому Толстой относился с особенным интересом и симпатией, так как обычно он любил гулять один. Толстому и в голову не приходило, что непривычному петербуржцу эти прогулки были невмоготу. «Толстой с удивительной для его лет гибкостью и легкостью взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки быстрыми и решительными движениями упругих ног», — писал Кони в своих Воспоминаниях.[9])

Разговоры шли и о литературе, которую оба собеседника так хорошо знали, и о судебной практике Кони. Одно из судебных дел, о котором рассказал Кони Толстому, произвело на него сильное впечатление, и Толстой просил Кони записать его. Это дело — Коневская повесть, послужила для Толстого темой для романа «Воскресенье».

И в это же лето, после долгого перерыва, Ясную Поляну посетила «бабушка» — Александра Андреевна Толстая. Старые друзья виделись теперь очень редко. И когда они виделись и переписывались, они постоянно спорили друг с другом. «Бабушка» никак не могла понять

нового мировоззрения Толстого, его отрицания церкви и порицания государства. Но тем не менее старая привязанность теплилась в глубине их душ, главное — оставалось глубокое уважение друг к другу, не говоря уж о том, что бабушка ценила Толстого как великого художника.

Вот как описала «бабушка» свое пребывание в Ясной Поляне: «Я очень любила эти утренние часы. Лев, обновленный сном, был в отличном духе и необыкновенно мил. Мы разговаривали совершенно спокойно: он часто читал мне любимые его стихи Тютчева и некоторые Хомякова, которые он ценил особенно; когда в каком-нибудь месте появлялось имя Христа, голос его дрожал и глаза наполнялись слезами... Это воспоминание и до сих пор меня утешает: он, сам того не сознавая, глубоко любит Спасителя и, конечно, чувствует в нем необыкновенного человека; трудно понять противоречие его слов и чувства.

Уходя на работу в свой кабинет, он мне обыкновенно оставлял все журналы, книги и письма, полученные накануне. Нельзя себе представить, какой ворох этого материала почта приносила ежедневно не только из России, но и со всех стран Европы и даже из Америки — и все это было пропитано фимиамом... Я часто удивлялась, как он не задохся от него, и даже ставила ему это в величайшую заслугу».[10])

Бывало, когда Толстому надо было спешно переписать какую-нибудь работу, она распределялась между всеми: переписывала Софья Андреевна, дочери и гости. Так было и в этот раз, когда Толстой закончил статью «О жизни». В числе переписчиков оказались А. А. Толстая и Ал. Мих. Кузминский. А на другой день Толстой читал всем вслух свою статью.

«Чтение продолжалось около двух часов, — писала «бабушка» в своих воспоминаниях. — Я поняла гораздо более, чем ожидала; были места прекрасные, но сердце мое не дрожало и не горело. Мне казалось, что я то сижу в анатомическом кабинете, то, что я бегаю по кривым дорожкам в полуосвещенном лабиринте и все сбиваюсь,

путаюсь и не могу вздохнуть свободно... Разумеется, об этом я не поведала никому...»[11])

Известность Толстого проникла и заграницу. Завязалась переписка с Европой и Северо-Американскими Штатами, иностранцы приезжали знакомиться с Толстым.

Молодой человек, ученик высшей нормальной школы в Париже, Ромэн Роллан, написал Толстому, спрашивая его, как надо строить жизнь, как организовать ручной труд. Толстой ответил Роллану таким длинным и пространным письмом, что одно время даже хотел переделать его в статью.

20 июня 1887 года Толстой писал Черткову: «Я получаю много писем из Америки. Два от старинных членов Non resistance. Это меня радует. И здесь братья, и там».[12]) Сильное впечатление на него произвела книга Алис Стокгэм "Tocology". Толстой настоял, чтобы книга эта была переведена на русский язык и написал к ней предисловие.

«Вопросы воздержания, — писал Толстой об ее книге, — от всяких возбудительных напитков, и кончая чаем и табаком, вопросы о питании без убийства живых существ, вегетарьянство, вопросы о половом воздержании в семейной жизни и мн. др. отчасти уже решенные и отчасти разрабатываемые и имеющие огромную литературу, у нас еще не затрагиваются, а потому книга Стокгейм особенно важна для нас: она сразу переносит читателя из нашего мертвого царства в мир живого человеческого движения».[13])

Толстой получал все передовые журналы и газеты как русские, так и заграничные. В журнале "The World's Thought" ему попалась статья Джорджа Кеннана о Петропавловской крепости и Сибирской ссылке. Кеннан ездил в Сибирь, видел каторжан и написал книгу: «Сибирь и ссылка». Будучи в России в 1887 году, Кеннан заезжал к Толстому.

Приезжали и другие американцы: Elisabeth Hapgood, впоследствии переводчица произведений Толстого, журналист Вилльям Стэд и др. Но самой большой радостью для Толстого было общение с людьми, исповедывав-

шими то же самое христианское учение — непротивление злу насилием, как и он. Книгу Адина Баллу "Christian Nonresistance" Толстой получил от пастора унитарианской церкви Вильсона, в июне 1889 года. В своем дневнике Толстой пометил: «превосходно». В октябре 1889 года Толстой писал Поше:

«Во-первых, о книге Баллу. Я очень рад, что она произвела на вас такое же впечатление, как на меня — восторга, желания общения с ним, выражения ему своей благодарности и любви, что я и исполнил».[14])

Слава Толстого, общение с людьми не только в России, но и за океаном постепенно расширялись, росли, и чем шире становился этот круг, тем больше беспокоилось правительство. Надо было пресечь влияние Толстого, но как оно могло это сделать?

Применять к Толстому меры, как к обыкновенному политическому преступнику — нельзя было. Если бы Толстой был сослан, уехал в Европу или Америку — мало того, что это вызвало бы негодование всех цивилизованных стран, но это увеличило бы популярность Толстого в России. Посадить Толстого в тюрьму или сослать его в Сибирь было тоже невозможно — это могло бы вызвать волнения в России, студенческие беспорядки, забастовки, и опять только усилило бы его славу. Что было делать? И правительство избрало два пути: преследование последователей Толстого и запрещение его книг. Розничная продажа «Власти тьмы» в дешевых изданиях была запрещена.

Народные рассказы, содержание которых, как нам известно, было проникнуто глубоким христианским чувством — и те подверглись нападкам властей. Представленные на заключение архимандрита Тихона, духовного цензора по делам печати, рассказы Толстого получили следующую оценку: они «проникнуты одним и тем же тенденциозным *балагурством* (курсив мой А. Т.) и хотя, повидимому, имеют нравоучительный характер, но скорее вносят в душу читающего не назидание, а разрушение нравственного благоустройства».[15])

И затем следует постановление Комитета по делам печати о запрещении сборника, изданного «Посредником», с рассказами Толстого. Мало этого, народные рассказы Толстого: «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Где любовь там и Бог», «Три старца», «Много ли человеку земли нужно», «Зерно с куриное яйцо», «Первый винокур», «Два старика» и др. были запрещены в отдельных изданиях.

Но репрессивные меры нисколько не ослабляли влияния Толстого на молодежь того времени. Не говоря уже о том, что их привлекало самое учение Толстого — христианская жизнь, полная воздержания, элемент жертвенности и аскетизма, несомненно, всю эту молодежь привлекал и элемент революционности, протест против существующего порядка, который давно уже бурлил в интеллигентных кругах России. Собирались в «Посреднике», толковали, с жадностью поглощали все новые произведения Толстого и, как результат, не желая только разговаривать, а немедленно же действовать, соединялись в кружки и образовывали толстовские христианские общины. В этих общинах земля признавалась общей, все должны были работать, пища была простая, вегетарианская, отношения между мужчинами и женщинами — братские. Но немногие общины удержались и, повидимому, главной причиной распада общин были споры о собственности, недоразумения, осуждения других и друг друга.

«Был у меня А-н осенью, — писал Толстой Н. Н. Ге, — живет он и все они удивительно. Например, вопрос половой они решают полным воздержанием, жизнь святая. Но, Господи, прости мои согрешения, — осталось мне тяжелое впечатление. Не от того, что я завидую чистоте их жизни из своей грязи, этого нет, я признаю их высоту и как на свою радуюсь, но что-то не то. Душа моя, не показывайте этого письма, это огорчит их; а я, может быть, ошибаюсь».[16])

Еще в конце 1887 года полиция сделала обыск у последователя Толстого М. А. Новоселова. У него нашли статью Толстого «Николай Палкин» (обличение государя Николая I). Новоселов был арестован.

В начале 1888 года министр внутренних дел гр. Д. А. Толстой, докладывая государю Александру III о найденной у Новоселова статье Л. Н. Толстого, говорил о нецелесообразности преследования Толстого за сочинение противоправительственного характера. Д. А. Толстой добавляет, что Толстой писал эту статью «вне каких-либо преступных связей и намерений, исключительно под влиянием религиозного фанатизма, и привлечение его к дознанию вызвало бы совершенно нежелательные толки и последствия».

Затем, министр предложил Московскому генерал-губернатору «пригласить» к себе гр. Толстого и, сделав ему должное внушение, предложить вместе с тем представить немедленно все имеющиеся у него экземпляры этого издания. Государь утвердил доклад Д. А. Толстого.

Ответ Толстого на приглашение явиться к генерал-губернатору можно было предвидеть. Толстой через своего знакомого, управляющего канцелярией генерал-губернатора, Истомина, сообщил, что «прибыть добровольно для объяснений по вопросу о каких бы то ни было своих сочинениях», он отказывается, «так как в подобном приглашении усматривает вторжение в свой духовный мир». Кроме того, Толстой сообщил, что гектографированных копий «Николая Палкина» он никогда не видал. Долгоруков считает «возможным ограничиться заявлением гр. Л. Н. Толстого»: помимо высокого значения его таланта, «всякая репрессивная мера, принятая относительно гр. Л. Толстого, окружит его ореолом страдания и тем будет наиболее содействовать распространению его мыслей и учения.»[17])

Через некоторое время Новоселова освободили, но репрессии по отношению к толстовцам продолжались. В июле 1889 года был сделан обыск в общине, организованной единомышленником Толстого, А. В. Алехиным.

В Ясной Поляне была очень убогая церковно-приходская школа, где с ребятами занимались полуграмотные учителя, и сестры Толстые, следуя по стопам отца, решили учить деревенских ребят грамоте. Толстой иногда заходил к дочерям на уроки, давал им советы, а по-

рою и сам увлекался и по старой привычке занимался с детьми.

Правительству это не понравилось и губернатору было вменено в обязанность школу эту закрыть. В то время Тульским губернатором был Н. В. Зиновьев, близкий сосед, часто с дочерьми посещавший Ясную Поляну. Зиновьеву было очень неприятно выполнение этого приказания. Но другого выхода не было. В марте 1890 года в Ясную Поляну приехал инспектор народных училищ, но Толстой его не принял. Пришлось самому губернатору взять на себя эту обязанность.

Зиновьев сам приехал в Ясную Поляну и в очень деликатной форме просил сестер Толстых прекратить занятия с детьми, так как правительство не может в дальнейшем разрешить существование нелегальной школы. Школу закрыли, но сам Толстой продолжал не обращать никакого внимания на недовольство правительства. Он огорчался, когда преследовали его единомышленников, но продолжал свободно, во всеуслышание, высказывать свои взгляды. И что бы правительство ни делало, остановить рост влияния Толстого оно не было в силах.

---

1) Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка. Изд. Academia, 1930, стр. 108.
2) Там же, стр. 110.
3) Полн. собр. соч. изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 62.
4) Полн. собр. соч. изд. Госизд. т. 86, стр. 120.
5) Дневники С. А. Толстой, т. 1, стр. 151.
6) Там же, стр. 169.
7) Та мже, стр. 169.
8) Полн. собр. соч. Госизд., т. 86, № 143, стр. 49.
9) Кони, А. Ф. «На жизненном пути», т. 2, стр. 32.
10) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Воспоминания, стр. 35.
11) Там же, стр. 41.
12) Полн. собр. соч. Госизд., т. 86, № 147, стр. 63.
13) Полн. собр. соч., изд. Сытина, т. 19, стр. 206.
14) Бирюков. Биография, т. 3, стр. 110.
15) Гусев. Летопись... стр. 374.
16) Бирюков. Биография, т. 3, стр. 123.
17) Гусев. Летопись... стр. 382.

ГЛАВА XLIII

«НЕ ВСЕ ВМЕЩАЮТ СЛОВО СИЕ, НО КОМУ ДАНО»

(Матф. XIX, 10/11)

Это было весной, в Хамовническом доме, в Москве. Собрались гости, между ними Репин, артист Андреев-Бурлак, ученик московской консерватории, учитель мальчиков Толстых, Андрюши и Миши, скрипач Ласото. Сережу и Ласото просили что-нибудь сыграть.[1])

Сережа отличался от других Толстых большой застенчивостью, сдержанностью и замкнутостью. Все свои переживания, порывы нежности, страсти он часто скрывал под напускной грубостью, резкостью. Он был самый серьезный и трудолюбивый из всех братьев Толстых, жил своей обособленной жизнью, не примыкая ни к матери, ни к отцу, редко делился своими мыслями с семейными, тая всё в себе, и только когда Сергей садился за фортепьяно и часами играл своего любимого Шопена, Бетховена, Баха, Грига и пытался что-то сам сочинять, все невольно заслушивались. Все всегда говорили, что у Сережи замечательное «тушэ». На самом деле только роялю одному Сергей открывал свою душу: в звуках то бурно-страстных, то нежно-певучих чувствовались и грусть и внутренняя борьба этого некрасивого, замкнутого в себе юноши.

Должно быть, в этот весенний вечер 1888 года молодые люди сыграли с особенным подъемом сонату Бетховена, посвященную Крейцеру. Первая часть сонаты, которую Толстой особенно любил, произвела на всех сильное впечатление. Говорили о том, что было бы хорошо, если бы Толстой написал рассказ на тему Крейцеровой сонаты, Репин его иллюстрировал, а актер Андреев-Бурлак — изобразил. Идея эта никогда не осуществилась. Андреев-Бурлак вскоре умер. Но у Толстого мысль про-

должала зреть. Трудно сказать, когда именно зародилась идея «Крейцеровой сонаты» в голове Толстого — в этот вечер, под влиянием музыки, или же гораздо раньше, когда Толстой, еще в 70-х годах, набросал и забросил рассказ «Убийца жены», и, как бывало с ним раньше, слушая музыку, он уже созидал свою повесть.

3 апреля 1889 года, когда Толстой гостил у своего друга С. С. Урусова в Спасском, он записал в дневнике: «Рано. Хотел писать новое, но перечел только все начала и остановился на «Крейцеровой сонате». И 5 апреля: «Очень много и недурно писал «Крейцерову Сонату».[2]) А между тем 28 декабря 1890 года Софья Андреевна писала в дневнике, что «мысль создать настоящий рассказ была ему (Толстому) внушена Андреевым-Бурлаком, актером и удивительным рассказчиком». «Он же, — пишет дальше Софья Андреевна, — рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастье об измене жены и этим-то сюжетом и воспользовался Лёвочка.»[3])

Описывая жизнь своего героя Полозова, Толстой несомненно изобразил некоторые стороны своих отношений с женой: периоды нежности и охлаждения, несогласия, раздоры, все это он взял из их совместной жизни. Софья Андреевна чувствовала это и поэтому не любила «Крейцерову Сонату».

«Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, всё дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности, — писал Толстой в «Крейцеровой Сонате». — Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой, подносила ложку ко рту, хлюпая втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы, энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы... Мы были два

ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг друга и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0,9 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе».

Описывая отношения Полозова с женой, Толстой кое-какие черты взял из своей жизни. Ревность мужа к жене... У Софьи Андреевны была нервная привычка раскачивать ногу и часами мерно стучать ногой о пол, что раздражало ее семейных; или вбирать в себя пищу губами, громко хлюпая. Разве здесь не выражены чувства самого Толстого?

«Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни, — писал Толстой. — Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитания детей. И вот является потребность переезда в город».[4])

А Толстой раздражал жену своими «идеями». Ее раздражали его разговоры о целомудрии в браке, воздержании... Разве она не была законной женой его?

«Ты затягиваешься и убиваешь себя, — писала она ему 19 апреля 1889 года в Ясную Поляну. — Я... думала: не ест мяса, не курит, работает через силу, мозг не питает и от того сонливость и слабость. Какая глупость вегетарианство... Убить в себе жизнь, убить все плотские стремления, все потребности — почему уже совсем сразу себя не убить? Ведь ты совершаешь над собой медленное убийство, какая разница?».[5])

В дневнике от 14 декабря 1890 года Софья Андреевна писала:

«Дописала сегодня в дневниках Лёвочки до места, где он говорит: «Любви нет, есть плотская потребность общения и разумная потребность в подруге жизни». Да, если бы я это его убеждение прочла 29 лет тому назад, я ни за что не вышла бы за него замуж».[6])

Он презирал себя за то, что, идейно разойдясь с женой, он все еще тянулся к ней, как к женщине, и он не-

навидел и упрекал себя, когда поддавался физическому влечению.

Писание «Крейцеровой Сонаты» заняло почти два года. Толстой писал с перерывами, порой остывал к повести и снова с увлечением принимался за нее. В письме к другу своему Г. А. Русанову Толстой писал (14 марта 1889 г.):

«Слух о повести имеет основание. Я уже два года тому назад написал начерно повесть действительно на тему половой любви, но так небрежно и неудовлетворительно, что и не поправлял, а если занялся бы этой мыслью, то начал бы писать вновь».[7]) 8 декабря 1889 года Толстой записал в дневнике: «Поправлял «Крейцерову сонату»... Надоела К. С.»[8])

Когда Толстой писал, что произведение ему «надоело», это означало, что он приближался к концу. Не вполне закончив повесть, в то время как повесть уже ходила по рукам, он стал писать «Послесловие». Толстой получал множество самых разнообразных отзывов о «Крейцеровой сонате»: недоумевающие, осуждающие, дружески-критические, восторженные.

В своем «Послесловии» Толстой старался ответить на многочисленные поставленные ему вопросы.

«Только поставьте идеалом целомудрие, — писал он, — считайте что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно».[9])

В письме к В. И. Алексееву (10 февраля 1890 г.) Толстой писал: «Содержание того, что я писал, мне было так же ново, как тем, которые читают. Мне в этом отношении открылся идеал столь далекий от деятельности моей, что сначала я ужаснулся и не говорил, а потом убедился, покаялся и порадовался тому, какое радостное движение продстоит и другим и мне».[10])

Н. Н. Страхов, хотя и критиковал «Крейцерову сонату» с точки зрения внешней обработки повести, написал Толстому восторженное письмо по поводу ее содержания.

«Спасибо Николай Николаевич, — отвечал ему Толстой. — Я очень дорожу Вашим мнением и получил суждение гораздо более снисходительное, чем ожидал. В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики: оно произошло двумя приемами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали. Но все-таки оставляю как есть и не жалею, не от лени, но не могу поправить: не жалею же оттого, что знаю верно, что то, что написано, не то, что не бесполезно, а наверно очень полезно людям и ново отчасти. Если художественно писать, в чем не зарекаюсь, то надо сначала и сразу».[11])

Критика Черткова была по существу содержания:

«Я продолжаю фантазировать по направлению толчка, полученного от чтения вашей повести, — пишет он Толстому... — Повесть в теперешнем ее виде может только возбудить в читателе вопрос, сомнение, но не выяснить его настолько, насколько вы в состоянии его выяснить, вводя в повесть центр христианских убеждений, который отсутствует пока»...[12])

Этот отзыв друга, повидимому, огорчил Толстого: «Вчера получил длинное письмо от Черткова, — записал он в дневнике от 31 октября 1889 года. — Он критикует Кр. Сон. очень верно, желал бы последовать его совету, да нет охоты. Апатия, грусть, уныние».[13])

Нуждался ли Толстой в этой критике? Он сам относился к себе строже, чем кто-либо. «Я пишу Крейцерову сонату и даже «Об Искусстве» и то и другое отрицательное, злое, и хочется писать доброе», — писал он в дневнике от 24 июня 1889 года.[14])

В этот период своего творчества отделка сочинений, стиль, уже кажутся Толстому излишней роскошью, главное — это успеть высказать мысли, могущие принести пользу:

«Писал немного об искусстве — отступил немного от правила, — писал он сентября 12, 1889 года в дневнике, — поправил из кокетства авторского. Зато писал только до тех пор, пока писалось».

Отзывы близких не безразличны Толстому, но самое

главное, это быть правым перед своей совестью: «Только бы в чистоте, т. е. чистым от всякой похоти, — писал он Н. Н. Ге старшему, — объядения, вина, курения, половой похоти и славы людской, в смирении, т. е. быть готовым всегда на то, чтобы мой труд ругали и меня срамили».[15])

И Толстого и ругали и срамили. Теперь, говорили люди, он, прожив бурную жизнь, на старости лет проповедует целомудрие, воздержание.

«Бороться, это самая и есть жизнь», — писал Толстой в «Мыслях об отношениях между полами».

И дальше: «Не целомудрия задачу должен задавать себе человек, а приближения к целомудрию».[16])

«Крейцерову сонату» запретили, несмотря на то, что о ней говорили везде и всюду, и она ходила по рукам. «Трудно себе представить, — пишет А. А. Толстая в своих воспоминаниях, — что произошло, например, когда явились «Крейцерова соната» и «Власть тьмы». Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались всегда с неимоверной страстностью; казалось подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого. Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой».[17])

Никто, повидимому, не ожидал, что «Крейцерова соната», как и многие другие произведения Толстого последнего времени, подвергнется гонениям. Но 25 февраля 1890 года был арестован 13-ый том полного собрания сочинений Толстого, где повесть была напечатана. Посоветовавшись с А. А. Толстой, Софья Андреевна обратилась к министру внутренних дел Дурново с просьбой снять цензурное запрещение с XIII-го тома сочинений. На свое письмо она получила следующий ответ от начальника Главного Управления по делам печати, Феоктистова:

«Министр Внутренних Дел, — писал Феоктистов, — получил письмо Вашего Сиятельства и поручил Вам передать, что при всем желании оказать Вам услугу, Его Высокопревосходительство не в состоянии разрешить к

печати повесть «Крейцерову сонату», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, как Вы изволили предполагать, встречающиеся в ней неудобные выражения».[18])

Но Софья Андреевна была не из тех людей, которые легко сдаются. Чем больше препятствий, тем больше у нее прибавлялось энергии. Посоветовавшись с «Бабушкой» и Ал. Мих. Кузминским, она решила поехать в Петербург и лично просить государя разрешить повесть к печати. Государь оказался либеральнее своих подчиненных и дал Софье Андреевне разрешение на выпуск XIII-го тома. Это было уже в апреле 1891 года. Софья Андреевна вернулась из Петербурга веселая и довольная. Запрещение к выпуску XIII-го тома повлекло бы за собой большой материальный ущерб. Кроме того, Софья Андреевна была видимо польщена приемом и вниманием, оказанным ей государем, о чем она охотно рассказывала всем своим родным и знакомым.

Многие не поняли глубокого смысла «Крейцеровой сонаты». Люди опошлили, исказили смысл повести. Один из штатов Америки оказался менее либерален, чем русский царь, и запретил повесть, как порнографию, а в Германии какой-то издатель пустился на грязную рекламу с целью наживы, и на обложке напечатал голую женщину.

Половой вопрос в течение всего этого периода занимал Толстого. Он прожил сам бурную жизнь. Боролся с соблазном похоти в продолжение всей своей жизни и знал всю силу этого соблазна, ведущего людей к преступлениям, иногда к полному нравственному падению. Не успев закончить «Крейцерову сонату», он в течение двух недель набросал повесть «Дьявол», где, со всей силой своего творческого пера, изобразил жуткую животную страсть человека к крестьянской женщине и его борьбу с ней.

«Дьявол», или как Толстой называл ее вначале «История Фредерикса», быль, рассказанная сестрой главного действующего лица, Фредерикса, с которым случилась эта история. Это одно из тех произведений, кото-

рые настолько его увлекали, что он писал их запоем, сразу. 10 ноября 1889 года Толстой сделал следующую заметку в дневнике: «После обеда неожиданно стал писать историю Фредерикса».[19]) Но, набросав повесть вчерне, Толстой уже почти не возвращался к ней и только 20 лет спустя написал новый вариант ее, озаглавленный сначала «Иртенев» и в окончательной редакции «Дьявол».

Об этой повести Софья Андреевна ничего в то время не знала. Толстой умышленно скрыл ее от жены. Он знал, что она вызовет бурю ревности Софьи Андреевны к его прошлому роману с крестьянкой Аксиньей, который так болезненно восприняла Софья Андреевна, узнавши о нем уже после их свадьбы, роман, отчасти послуживший темой для «Дьявола».

В этот период, 1889-1891 г. г., Толстой снова возвращается к рассказу «Отец Сергий», впервые им набросанному в письме к Черткову 3 февраля 1890 года, где он описывает падение известного своей святой жизнью монаха, соблазненного женщиной. В дневниках Толстого встречаются несколько записей об «Отце Сергии»:

Июля 14, 1890 г.: «Хочется начать Отца Сергия сначала». Августа 3: «Ясно обдумывалось». И августа 18: «Всё глубже и глубже забирает эта история».[20])

В феврале Толстой с дочерью Машей и племянницей Верой Кузминской ездили в Шамординский монастырь, куда постриглась монахиней сестра Толстого, Марья Николаевна Толстая. Мужской монастырь Оптина Пустынь, в котором Толстой неоднократно бывал, находился в нескольких верстах от Шамордина. Снова он посетил старца Амвросия и долго беседовал с двумя монахами, Шидловским и Леонтьевым. По всей вероятности, посещение монахов и задушевные разговоры с ними дали ему большой материал к писанию «Отца Сергия».

В письме к Е. И. Попову, 21 сентября 1890 года[21]), Толстой писал: ... «Ослабляет нас в нашей борьбе с искушением то, что мы задаемся вперед мыслью о победе, задаем себе задачу сверх сил, задачу, которую исполнить или не исполнить не в нашей власти. Мы, как мо-

нах, говорим себе вперед: я обещаюсь быть целомудренным, подразумевая под этим внешнее целомудрие. И это, во-первых, невозможно, потому что мы не можем себе представить тех условий, в которых мы можем быть поставлены, и в которых мы не выдержим соблазна. И, кроме того, дурно; дурно потому, что не помогает достижению цели — приближения к наибольшему целомудрию, а напротив...

Задачей может быть одно: достижение наибольшего, по моему характеру, темпераменту, условиям прошедшего и настоящего, целомудрия — не перед людьми, которые не знают того, с чем мне надо бороться, а перед собой и Богом»...

В этих словах Толстой с особенной ясностью высказывает мысль, неоднократно повторяемую им всем его горячим, часто неразумным, последователям, смело, с горячностью и самоуверенностью молодости убежденным, что они могут достичь совершенства и ставящим себе непосильные задачи.

Целый ряд замыслов бродят в голове Толстого. Он начинает писать повесть, сюжет которой рассказал ему Кони, но эта, как Толстой называет ее, «Коневская повесть» — будущее «Воскресенье» — не пошла, замысел оказался слишком широким, и он откладывает ее; «Отец Сергий» увлекает его несомненно сильнее; надо заканчивать статью о непротивлении — «Царство Божие внутри вас». Одновременно он исправляет набросанную им повесть «Ходите в свете, пока есть свет», повесть, которую он начал в начале 80-х годов и которая очень нравилась Черткову, так как была написана в духе толстовства, но которая, он чувствовал, была слаба в художественном отношении.

В то же самое время Толстой придумывает совершенно новую форму сочинения, в которой действуют не одни и те же герои, а ряд лиц, в руки которых попадает «Фальшивый купон». Но и это не идет. Он устал. «Царство Божие» и «Крейцерова соната» поглотили главные его силы и совершенно неожиданно, может быть даже для самого себя, он взялся за комедию, которая вначале

называлась «Исхитрились», а потом — «Плоды просвещения».

Как бы Толстой ни старался не придавать значения художественной форме и обработке, он не мог перестать быть художником и, как художник, он увлекся этой новой для него формой творчества. Писание комедии было для него отдыхом.

Толстой всю жизнь издевался над спиритизмом и спиритами и никак не верил рассказам о сверхъестественных явлениях, стуках, верченье столов, разговорах с потусторонним миром. Его недоверие утвердилось после того, как он присутствовал на одном спиритическом сеансе в Москве, у Н. А. Львова. Тогда же он записал в дневнике: «Львов рассказывал о Блавацкой, переселении душ, силах духа, белом слоне, присяге новой вере. Как не сойти с ума при таких впечатлениях?»[22])

Осенью 1886 года Толстой набросал два плана комедии, но, не дописав, бросил. И вернулся к ней лишь в конце марта 1889 года. Может комедия так и не была бы закончена, если бы не дочь Таня. Она и Сережа только что вернулись из заграницы. Таня затеяла спектакль в Ясной Поляне и просила отца разрешения поставить его комедию. 22 декабря 1889 года Толстой записал в дневнике: «Все три дня поправлял «комедию». Кончил, плохо. Приехало много народу, ставят сцену. Мне это иногда тяжело и стыдно, но мысли о том, чтобы не мешать проявлению в себе божества — помогают».[23])

Но веселое оживление всей молодежи невольно захватило и Толстого. Главная затейница Таня будоражила всех в доме и с жаром принялась за постановку спектакля. Председатель Тульского окружного суда, Н. В. Давыдов, взялся режиссировать. Самарин, Цингер, Лопатин и другие распределили между собой роли. Во время репетиций Толстой часто отнимал у актеров рукопись и уносил к себе в кабинет, чтобы внести кое-какие поправки. Обе сестры Толстые играли превосходно, у Тани, несомненно, были артистические способности. Она всегда что-то изображала: нервную барыню, офицерскую жену, обезьяну или заводную куклу, и так худо-

жественно, что все помирали со смеху. В комедии она играла главную роль горничной. Маша прекрасно знала народный язык и превосходно играла ворчливую кухарку. Три мужика были настолько хороши и жизненны, что Толстой уверял, что актеры создали из ничего замечательные крестьянские типы.

«Дети хотели играть комедию, — писал Толстой Черткову 22 декабря 1889 года, — спросили, можно ли мою (Плоды просвещения), я согласился и начал поправлять и теперь кончил. Очень слабая эта вещь, но может принести, думается, пользу. А впрочем совестно всё, что занимался такими пустяками, когда так много, кажется, нужно. Рад только тому, что освободился от нее».[24])

Приготовлений было много, построили сцену в зале, съехалось из Тулы много публики. Пьеса имела большой успех, местами публика покатывалась со смеху, но громче и заразительнее всех смеялся сам автор.

Но Толстой снова себя бичует. В дневнике от 27 декабря 1889 года он записал: «Играют мою пьесу и право, мне кажется, что она действует на них и что в глубине души им всем совестно и от того скучно. Мне же в с ё время стыдно, стыдно за эту безумную трату среди нищеты».[25])

В апреле 1890 года Н. В. Давыдов поставил комедию в г. Туле в пользу исправительного приюта. 19 апреля того же года пьесу ставили в Китайском театре в Царском Селе в пользу бедных города, в присутствии государя и государыни.

Но несмотря на это, даже эта невинная комедия подверглась цензурным репрессиям. На основании резолюции государя Александра III, гласившей, что Его Величество изволит находить эту пьесу неудобной для сцены, цензура разрешает ее ставить только в любительских спектаклях. Позднее постановка разрешалась по особым ходатайствам в каждом отдельном случае и только в 1894 году вышел отдельный циркуляр, разрешающий постановку «Плодов просвещения» во всех театрах Российской Империи.

[1]) См. Репин, И. Е. и Толстой, Л. Н. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. «Искусство». Госизд., 1949, стр. 106.
Также: Сергеенко «Как живет и работает Л. Н. Толстой», М. 1896, стр. 72-73.

[2]) Полн. собр. соч., Госизд. т. 27, стр. 569.

[3]) Дневники С. А. Толстой, т. 3, стр. 160.

[4]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 10, стр. 78.

[5]) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 196, стр. 413.

[6]) Дневники С. А. Толстой, т. 3, стр. 153.

[7]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 94.

[8]) Гусев. Летопись... стр. 414.

[9]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 10, стр. 117.

[10]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 27, стр. 563.

[11]) Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. Изд. Толст. Музея, стр. 397.

[12]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 86, стр. 273.

[13]) Там же, т. 27, стр. 583.

[14]) Там же, т. 27, стр. 578.

[15]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 45.

[16]) Там же, т. 18, стр. 215, 217.

[17]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, стр. 56.

[18]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 187.

[19]) Гусев. Летопись... стр. 413.

[20]) Там же, стр. 426, 427, 429.

[21]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 76.

[22]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 27, стр. 467.

[23]) Там же, т. 27, стр. 653.

[24]) Там же, т. 86, № 244, стр. 279.

[25]) Там же, т. 27, стр. 653.

ГЛАВА XLIV

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННОСТИ

Статья о непротивлении, впоследствии названная «Царство Божие внутри вас», двигалась медленно. Она была начата под влиянием Эдина Баллу, смерть которого огорчила Толстого, как смерть самого близкого человека. Находить единомышленников, да еще за океаном, было одним из самых больших утешений в жизни Толстого.

«Царство Божие» он писал с перерывами. Его отвлекали другие замыслы: перевод и переделка рассказа Гюи де Мопассана «В порту» («Франсуаза»), статья «Для чего люди одурманиваются». В середине ноября Толстой писал Русанову: «Давно уже бьюсь над этим (статьей о непротивлении) и не могу кончить и не могу оторваться и отдаться другим, манящим меня художественным планам».[1]) А 18 ноября он записывает в дневнике: «Хочется тоже свободное, художественное, но не позволяю себе, пока не кончу этого».[2]) 2 марта 1891 г. Софья Андреевна записала в своем дневнике:

«Лёвочка грустен, я спросила почему, он говорит не идет писание. — А о чем? — О непротивлении. Еще бы не шло! Этот вопрос всем и ему самому оскомину набил, и перевернут, и обсужден он уже со всех сторон. Ему хочется художественной работы, а приступить трудно. Там резонерство уже не годится. Как попрет из него поток правдивого, художественного творчества — он его уже не остановит, а там вдруг непротивление окажется неудобным, а остановить поток невозможно, вот и страшно его пустить, а душа тоскует».[3])

1890 и 1891 годы были особенно напряженные в смысле отношений Толстого с женой. Зимой 1890 года яснополянские крестьяне вырубили и увезли несколько

деревьев из леса, посаженного Толстым. Они были арестованы и преданы суду. Событие это потрясло Толстого. Никогда еще он не чувствовал с такой острой болью расхождения своих убеждений с фактическим положением вещей. Из-за его собственности, которую он отрицал, будут преданы суду и посажены в тюрьму крестьяне, срубившие деревья, может быть, по крайней нужде своей...

«Я теряю равновесие, — писала Софья Андреевна в своем дневнике. — Ведь легко сказать, но всякую минуту меня озабочивают учащиеся и больные дети, гигиеническое и духовное состояние мужа, большие дети с их делами, долгами, детьми и службой, продажа и планы продажи Самарского имения — их надо достать и копировать для покупателей, издание новое и 13-ая часть с запрещенной «Крейцеровой сонатой», прошение о разделе с Овсянническим попом, корректуры 13-го тома, ночные рубашки Маши, простыни и сапоги Андрюши; не просрочить платежи по дому, страхование, повинности по имению, паспорты людей, вести счеты, переписывать и пр. и пр., и всё это непременно должно коснуться меня».[4])

Илья был молод, неопытен, хозяйство у него не шло, он завел охотничьих собак, хороших лошадей, жил сверх средств, жена его ожидала второго ребенка; Лева был больной, нервный, непостоянный в своих увлечениях, мать беспокоилась о нем; Маша всё еще стремилась выйти замуж за Бирюкова, и Софья Андреевна сердилась. Она не сочувствовала «опрощению» Маши, тому, что она начала сама стирать свое белье, изнуряла себя физической работой; мальчики учились скверно; Таня никак не могла устроить своей жизни, не находила человека, за которого могла бы выйти замуж, дружила с «темным» Поповым, явно влюбленным в нее; Ваничка хворал. В своем дневнике Софья Андреевна признается, что она не должна была подавать в суд на крестьян. Ничто не могло так огорчить «Лёвочку», как этот ее поступок.

«И вот, когда случится такая история, как в прошлую ночь, — писала она в дневнике про сцену, которая

произошла между нею и мужем, когда они до пяти часов утра не могли успокоиться и упрекали друг друга, — я вижу, что я ошиблась, потеряла какую-то центральность и сделала Лёвочке больно совсем нечаянно. История эта, как и надо было ожидать, вышла из-за осужденных на шестинедельный арест мужиков за срубленные в Посадке деревья. Когда мы подавали жалобу земскому начальнику, мы думали простить после приговора. Оказалось, уголовное дело простить никак нельзя, и Лёвочка пришел в отчаяние, что из-за его собственности посадят мужиков Ясенских. Ночью он не мог спать, вскочил, ходил по зале, задыхался, упрекал, конечно, меня, и упрекал страшно жестоко»[5])

Толстой хотел уйти из дома совсем, ночами мучился, не спал.

«Я думаю, что надо заявить правительству, — писал он в дневнике 18 ноября, — что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать как они хотят».[6]) Под «они» он подразумевал семью.

После этого события Толстой всё сильнее и сильнее задумывался о том, как бы ему избавиться от этой, тяготившей его, собственности. Старшие сыновья, которым, особенно Илье, хотелось быть самостоятельными, поддерживали это решение. И вот, в апреле месяце, съехалась вся семья. Имущество было оценено и разделено на девять частей. Младший в роду, Ваничка, получил по традиции половину Ясной Поляны с главным домом, Софья Андреевна получила остальную половину с флигелем; старший, Сергей, получил родовое имение Никольское-Вяземское; Маша, следуя принципам отца — отказалась от всякого имущества; Илья получил Чернское имение Гриневку, Лев — московский дом, Таня имение в Овсянникове, находившееся в семи верстах от Ясной Поляны, и часть денег, Андрей, Миша и Саша получили Самарское имение.

Толстой писал одному своему другу об этом событии: «Теперь все собрались дети... я решил делить имение... Я должен буду подписать дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой бу-

дет отступлением от принципа. Я всё-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло».

Намерение Толстого отказаться от авторского права и передать свои произведения в общее пользование встретило резкий отпор со стороны Софьи Андреевны. Опять перед ней встал вопрос о «нищете», как она выражалась, о перемене всей жизни, на которую ни она, ни дети, за исключением Маши, не были приспособлены: болезненный Лев, привыкшая к роскоши и беззаботной жизни Таня, болезненный Ваничка. Как воспитать «малышей»? Как дать им образование? Она не была готова на такие жертвы. Она не могла этого сделать.

Если бы у нее не было такого страха перед этой, всегда мерещившейся ей нищетой, если бы она получила другое воспитание и знала бы, как миллионы других семей, не имевших ни наследства, ни постоянного дохода от сочинений, как жить, приучая своих детей с детства к рабочей дисциплине, она не боялась бы так, но другой жизни, иной чем та, к которой приучил ее сам Толстой — она не знала. Она не решалась пойти на уступки, передать часть земли крестьянам, хотя хозяйство всегда было в убыток. Она выросла в городе и не любила и ничего не понимала в земледелии, скотоводстве, садоводстве, и с тех пор, как Толстой перестал заведывать хозяйством, оно приходило во всё больший и больший упадок. Она могла бы уступить и отдать в общее пользование без борьбы все те сочинения, которыми особенно дорожил Толстой, написанные им после 80-го года: его народные рассказы, его статьи, и уступить их с готовностью и любовью, что успокоило бы его. С какой радостью и благодарностью Толстой принял бы такую жертву! Но она этого не решалась сделать.

12 июля 1891 года Толстой писал жене:[7])

«Я всё это время думал составить и напечатать объявление об отказе в праве собственности от моих последних писаний, да всё не думалось об этом; теперь же думаю, что, может быть, это будет хорошо в отношении упрека тебе со стороны публики в эксплоатации, как пишет артельщик, — если ты напечатаешь от себя в га-

зетах такое объявление, можно в форме письма к редактору:

«Муж мой, Лев Николаевич Толстой, отказывается от авторского права на последние сочинения свои, предоставляя право желающим безвозмездно печатать и издавать их. Сочинения эти следующие: (за этим идет перечень всех народных рассказов, последних его статей, «Плоды просвещения», «Для чего люди одурманиваются», «Крейцерова соната», «Послесловие»).

Делая это известным, прошу тех, которые хотят печатать эти сочинения, держаться того текста, который напечатан в моем издании. Примите уверение...

Гр. София Толстая».

«Я думаю, что было бы хорошо, — добавляет Толстой в постскриптуме, — но если это не нравится тебе, не делай, не печатай от себя, а печатай от меня. Тогда так:

«М. Г. Отказываясь от авторского права на последние сочинения мои, я предоставляю всем желающим печатать и издавать их... Сочинения эти следующие:... Примите уверение и т. д.».

На это письмо Софья Андреевна делает следующее примечание:

«На предложения эти я тогда не согласилась, считая несправедливым обездоливать многочисленную, и так небогатую семью нашу. На руках же моих оставалось много уже напечатанных книг. Намерение свое Лев Николаевич исполнил уже без моего участия, от себя лично, в сентябре 1891 года».

Толстой писал Софье Андреевне в Москву, куда она ездила по своим книжным делам. По возвращении ее, он снова коснулся вопроса об отдаче авторских прав на последние свои произведения в общее пользование.

Совершенно вне себя Софья Андреевна упрекала мужа в том, что он не заботится о семье, что он на нее одну возложил всю тяжесть забот о доме, хозяйстве и издании, что он эгоистичен, что он со своими «темными» и своими прихотями сведет ее с ума, что она не хочет больше жить. Он же считал, что, отдавши всё

семье, он просит немногого — уступки самого для него дорогого, того, что он по своим убеждениям не может продавать те сочинения, которые он писал на благо людей и которые должны быть достоянием всех. Он умолял ее пойти на уступки, помочь ему...

Во время одного из таких бурных разговоров, когда Софья Андреевна не в состоянии была ни слушать, ни рассуждать, она, не помня себя, выскочила из дома и побежала на станцию пешком с намерением броситься под поезд. Ал. Мих. Кузминский, спокойно совершавший свою ежедневную прогулку, столкнулся с ней на большой дороге. Он сразу понял, что что-то случилось, успокоил Софью Андреевну и привел ее домой.

Дети всё это видели и страдали каждый по-своему. Таня старалась примирить родителей. Она очень любила мать, но сочувствовала взглядам отца и умоляла мать пойти на уступки. Сергей старался отойти от всего этого. Илья был занят своими материальными заботами и семьей. Лев был больше на стороне матери. У Маши были плохие отношения с матерью, она была всецело предана отцу и страдала за него больше всех.

В своем дневнике от января 2-го, 1891 г. Софья Андреевна писала: «Маша вообще — это крест, посланный Богом. Кроме муки со дня ее рождения, ничего она мне не дала. В семье чуждая, в вере чуждая, в любви к Бирюкову, любви воображаемой, — непонятная».[8])

Маша шла за отцом: она отказалась от своей части в разделе, она горела самоотречением и жертвенностью, убивала в себе плоть, спала на досках, покрытых тонким войлоком, вегетарьянствовала и работала с утра до вечера то в поле, то уча детей, то помогая больным, несчастным, посещая крестьянские семьи, и всюду внося утешение и радость. В деревне все ее знали, большей частью звали ее «Машей» и говорили ей «ты». А вечерами Маша сидела и своим мелким, аккуратным почерком переписывала рукописи отца.

Случался ли пожар на деревне, горели ли крестьянские дети в скарлатине или дифтерите, овдовела ли какая-нибудь баба, Маша была тут как тут. И эта жизнь

давалась ей не легко. Она любила и теннис, и цыганские песни, хорошо играла на гитаре, пела верным, но небольшим голосом, и у нее так же, как и у Тани, было много поклонников. Несмотря на ее некрасивое лицо, в ней было много прелести, женственности и скрытой страстности. Для матери Маша была — крест, для отца — она была утешением.

16 сентября 1891 г., после долгих колебаний и недоразумений с женой, Толстой всё же решился исполнить свое намерение и отречься от сочинений последних лет.

«Милостивый Государь, — писал он в редакции газет, — Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцены мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление:

Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все мои сочинения, напечатанные в XII томе издания 1886 года и в вышедшем в нынешнем 1891 году XIII томе, так равно и мои ненапечатанные и могущие впоследствии, т. е. после нынешнего дня, появиться сочинения».[9])

В то время, как разыгрывалась эта внутренняя драма в семье Толстых и, казалось бы, что Толстым было не до гостей, образ жизни в Ясной Поляне не изменялся. За длинный стол садилось 10-14 человек. Те же пикники, верховая езда молодежи, многочисленные соседи, пение четы Фигнеров — соседей по имению, артистов императорской оперы, те же няни, поносы детей, их ссоры, капризы, приезды художников, скульпторов, профессора Грота, иностранцев... по вечерам пение с гитарами... чтение вслух, разговоры...

По утрам Толстой уходил от всего этого шума и оживления в свой новый кабинет. Он работал теперь в комнате, которая называлась «под сводами». При Н. С. Волконском это была кладовая. В сводчатый, низкий потолок были ввинчены тяжелые железные кольца, на которых вешались в старину домашние копченые окорока.

Сводчатый кирпичный потолок не пропускал ни малейшего звука из других комнат. Свет проникал в комнату из двух высоких, с решетками, окон. У одного из окон — письменный стол, на стенах — рабочие инструменты: коса, пила, в углу ящик с сапожными инструментами. Стены голые, мебель простая, кожаная.

Но и здесь Толстой не мог спастись от людей. Тихо, не смея проронить ни одного слова, в уголке сидел И. Е. Репин с палитрой и писал. К нему присоединился, впервые приехавший, скульптор Гинцбург.

Со станции привезли тюки с глиной. Но оказалось, что в так называемой песочной яме, около шоссе, был не только песок, но и разных цветов прекрасная глина, не хуже покупной. В Ясной Поляне наступило увлечение лепкой. Лепили художники — Ге, Репин, Гинцбург, лепили Софья Андреевна и Лёва, лепили дети зверей и чашечки...

Софья Андреевна ворчала, что полы и мебель пачкали глиной, в зале и кабинете Толстого стояли, покрытые мокрыми тряпками, бюсты. Толстой терпеливо позировал.

Вот как это описывал Гинцбург в своих воспоминаниях: «Стали устраиваться, я уселся возле И. Е. (Репина), который уже кончил свою работу; меня восхитила эта картина: обстановка комнаты, свет, падающий из окна, да и сама фигура Л. Н-ча — написаны с удивительной правдивостью и художественностью».

Гинцбург был прав: «Толстой в своем рабочем кабинете» — едва ли не лучший из когда-либо сделанных портретов Толстого.

«Признаться, мне трудно было работать, — рассказывает дальше Гинцбург; — боязнь сделать шум заставляла меня сидеть на одном месте и не шевелиться, а между тем, для круглой статуэтки необходимо двигаться и наблюдать натуру с разных сторон. Мне кажется, что наше присутствие стесняет Льва Николаевича».

Гинцбург не ошибался: разумеется, присутствие посторонних мешало Толстому писать. Гинцбург, как вьюн, вертелся вокруг своей статуэтки, прыгал, приседал, пя-

тился щурясь, точно прицеливался к Толстому. Он буквально не мог ни одной минуты сидеть на месте.

Гинцбург скоро сделался своим человеком и часто приезжал в Ясную Поляну, обычно вместе со своим другом, заведующим Художественным Отделом Петербургской Публичной Библиотеки, литературным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. — Трудно себе представить что-либо более противоположное по внешности, чем эти два друга. Гинцбург — маленький, смуглый, с горящими черными глазами, крошечными ручками, тоненьким голосом, скромный, лысый человечек, и Стасов — человек громадного роста, богатырского сложения, с длинной бородой и густой шевелюрой, сразу всё заполняющий своим громогласием и восторженностью. Слова «маститый», «Лев Великий» не сходили с его уст, причем он говорил не просто, а громко вещал, изрекал, занимая внимание всех.

Бывали, однако, времена, когда и маленький, скромный Гинцбург овладевал вниманием всех, даже детей. Молча, не произнося ни слова, он изображал портного за работой. Делал вид, что вынимает материю, отмечает мелком, кроил, тачал, наметывал, отсиживал ногу, скакал по комнате, чтобы нога проснулась и, кончив работу, с легкостью вскакивал с ногами на стул и затягивал песенку. Все покатывались со смеху и кричали: «Еще, еще! Изобразите даму!» И он опять изображал даму.

Из всех трех бюстов, находящихся и по сю пору в Ясной Поляне, Толстой считал, что самый лучший — работы Н. Н. Ге, но некоторые знатоки признавали первенство за Гинцбургом. Репинский бюст также вышел очень удачным, но эта работа померкла по сравнению с его картиной «Толстой в его рабочем кабинете».

Уже в июле в Ясной Поляне пошли разговоры о голоде. А 9 сентября 1891 года Софья Андреевна пишет мужу из Москвы:

«Дунаев и Наташа*) рассказывали о голодающих и опять мне всё сердце перевернуло, и хочется забыть и

---

*) Наталья Николаевна Философова, сестра жены Ильи Львовича.

закрыть на это глаза, а невозможно, и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве это ничего не видно! Всё то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины и все, все покупают и устраивают, как и я, пошло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, а всё лучше, чем так смотреть, мучиться и ничего не мочь сделать».[10])

Так писала Софья Андреевна, не думая о том, что и муж ее и она в последующие месяцы уйдут с головой в помощь этим умирающим с голода людям, и что именно на этой-то совместной работе они снова, хоть на время, найдут друг друга.

---

[1]) Вестник Европы 1915, 3, стр. 19.
[2]) Гусев, Летопись... стр. 435.
[3]) Дневники С. А. Толстой. Изд. Собашниковой, т. 2, стр. 13.
[4]) Там же, т. 1, стр. 155.
[5]) Там же, т. 1, стр. 155.
[6]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 183.
[7]) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 368, стр. 354.
[8]) Дневники С. А. Толстой, т. 1, стр. 162.
[9]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 202.
[10]) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 218, стр. 447.

ГЛАВА XLV

ГОЛОД

Толстому всегда претила благотворительность — самооправдание, самоутешение людей праздных, богатых, бросающих крохи голодным, несчастным. В молодости он чуть не подрался на дуэли с Тургеневым из-за спора о благотворительности.

«Дети иногда дают бедным хлеб, — писал он в дневнике в конце июня 1891 года, — сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают, не могут знать, откуда хлеб, деньги. Но большим надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого».[1])

...«Добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода».[2])

Так писал Толстой Лескову в ответ на его письмо, когда Лесков обратился к Толстому с вопросом об угрозе голода в Самарской, Рязанской и Тульской губерниях.

Уже среди лета 1891 года стало совершенно очевидно, что пшеница и рожь выгорели и неурожай грозил страшным бедствием.

Несмотря на все свои рассуждения о том, что временная помощь голодающим не имеет смысла, что надо любить людей, изменить жизнь, и тогда не будет бедствий, потому что люди в корне изживут неравенство и бедность, вопрос о голоде все сильнее и сильнее тревожил Толстого. Из голодающих мест Рязанской губернии приехал знакомый Толстых, Иван Иванович Раевский. Он умолял Толстого помочь крестьянам в этом бедствии. В сентябре Толстого посетил еще один его знакомый и сво-

ими рассказами о голоде совсем расстроил Толстого. «Не спал до 4-х часов — все думал о голоде»,[3]) — записал Толстой в дневнике 17 сентября. Через два дня после этого посещения он поехал к брату в Пирогово, где уже начиналась степная полоса, захваченная неурожаем, и оттуда проехал в другие степные уезды. Вернувшись затем на несколько дней в Ясную Поляну, он взял 500 рублей у Софьи Андреевны на первую помощь и снова уехал в голодные места Тульской и Рязанской губерний.

Толстой уже не мог оставаться бездеятельным. Со свойственным ему жаром он принялся за дело. Написал статью о голоде, которую послал Гроту для напечатания, а сам с дочерьми, Машей и Таней, и племянницей Верой Кузминской, уехал в Бегичевку, в имение И. И. Раевского. Сын Лев уехал одновременно в голодные районы Самарской губернии.

Вначале Софья Андреевна бурно протестовала против отъезда мужа с дочерьми в Рязанскую губернию.

«Когда он приехал и объявил мне, — пишет Софья Андреевна в своем дневнике от 8 октября 1891 г., — что в Москву не поедут, а будут жить в степи, я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да еще 30 верст от станции, Лёвочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочки в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них. Меня это до того поразило, едва один вопрос, с болью, разрешился... опять новый вопрос, новое решение. Я заболела от этого. С другой стороны, Лёва написал, не зная еще о решении ехать к Раевскому, чтоб мы все оставались в Ясной, что мой приезд в Москву помешает им троим учиться, что я совсем не нужна. Это был новый предлог моему горю. 29 лет жила я только для семьи: отреклась от всего, что составляет радость и полноту жизни всякого молодого существа, и стала никому не нужна. Сколько я плакала всё это время! Видно, я очень плоха; но как же я так много любила, а любовь считается хорошим чувством»...[4])

Дочь Таня также вначале не сочувствовала отцу. В октябре 1891 г. она записала в дневнике: «Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка

и у меня нет никакой энергии. Это потому, что я нахожу действия папá непоследовательными и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мамá, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что всё бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами, помещиками, и что всё дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо и папá сделал то, что он говорит, — он перестал грабить. По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует... Да еще, что меня огорчает — папа говорит, что если нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги. Я ему не говорю, что я думаю, потому что, может быть, я не права, — а если он сам до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду, — все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать second best, особенно когда у него уже есть first best. Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за second best, не имея first best, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует. Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается. А может быть и я? Это гораздо вероятнее».[5])

Но сомнения как матери, так и дочери очень скоро рассеялись. Софья Андреевна принялась за дело с жаром и энергией, свойственными ее характеру.

3 ноября она написала в редакцию «Русских Ведомостей» воззвание, с просьбой жертвовать на голодающих. Письмо это было перепечатано во всех газетах в России и за границей.

«Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу, — писала она. — Муж мой, граф Л. Н. Толстой, с двумя дочерьми, находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество бесплатных столовых или «сиротских призрений», как трогательно прозвал их народ. Два

старших сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать, по мере возможности, столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их нужно так много! Отдельные лица в такой большой нужде бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в теплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служат невольным упреком, что в эту минуту кто-нибудь умирает с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие выносить вида даже малейших страданий собственных детей наших, неужели мы спокойно вынесли бы ужасающий вид притупленных или измученных матерей, смотрящих на умирающих от голода и костенеющих от холода детей, на не питающихся вовсе стариков. Но всё это видела теперь семья моя. Вот что, между прочим, пишет мне дочь моя из Данковского уезда об устройстве местными помещиками на пожертвованные ими средства столовых:

«Я была в двух. В одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдова готовит на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она стала рассказывать про свою жизнь, то заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только и живы этой столовой, — дома у них ничего нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится, вместе с топливом, от 95 коп. до 1 руб. 30 коп. в месяц на человека»...

Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба человека».[6])

И не успела Софья Андреевна оглянуться, как со всех сторон посыпались пожертвования. Меньше чем за две недели поступило более 13.000 рублей. В том числе отец Иоанн Кронштадтский прислал 200 рублей. Присылали

и приносили сухари, вещи, материи, одежду... К многочисленным заботам Софьи Андреевны прибавилась колоссальная переписка и отчеты о поступающих средствах.

«Очень трогательно приносят деньги, — пишет Софья Андреевна мужу 4 ноября 1891 года. — Кто, войдя, перекрестится, и даст серебряные рубли; кто (один старик) поцеловал мне руку и говорит, плача: «Примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту». Дал 40 рублей. Учительницы приносили, и одна говорит: «Я вчера плакала над вашим письмом». А то приехал на рысаке барин, богато одетый, встретил Андрюшу в дверях, спросил: «Вы сын Льва Николаевича? — Да. — Ваша мать дома? Передайте ей», и уехал. В конверте 100 рублей. Дети приходили и приносили 3, 5, 15 рублей. Одна барыня принесла узел с платьем старым. Одна нарядная барышня, захлебываясь, говорила: «Ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот, возьмите, это мои собственные деньги; папаша и мамаша не знают, что я их отдаю. А я так рада!» В конверте 101 рубль 30 копеек. Брашнин привез 200 рублей.

Не знаю, как вы все посмотрите на мою выходку. А мне скучно стало сидеть без участия в вашем деле, и я со вчерашнего дня даже здоровее себя чувствую; веду запись в книге, выдаю расписки, благодарю, разговариваю с публикой, и рада, что могу помочь распространению вашего дела, хотя чужими средствами».[7])

В начале ноября Толстой отправил в «Русские Ведомости» вторую свою статью: «Страшный вопрос», в которой он затрагивает беспокоивший его вопрос: «Есть ли в России достаточно хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая?»[8])

Но Толстой напрасно беспокоился — в России хлеба было вдоволь, и он очень скоро в этом убедился.

Чем больше Толстой и его помощники входили в положение крестьян, тем сложнее и разнообразнее разворачивалась их деятельность. Толстой был против выдачи муки на руки — больше злобы и зависти среди людей. Открывать столовые для голодных было и прак-

тичнее и справедливее. Можно было до известной степени выяснять нужду и кормить только тех, у кого совсем не было хлеба. Наряду с кормлением, скоро возникли другие нужды: сено для лошадей, околевавших с голода, подсобные заработки, топливо для крестьян и мн. др. Продовольствие: рожь, пшеницу, горох, картофель выписывали из других губерний. Работа кипела. Не хватало помощников.

Постепенно к Толстому стали стекаться его единомышленники, студенты, молодежь, горевшая желанием помочь в общем бедствии. Обе сестры Толстые работали самоотверженно. Сомнения Тани быстро рассеялись и она всей душой отдалась делу, хотя по свойствам своего характера, воспитания и некоторой избалованности, ей труднее было примениться к обстановке, чем Маше, которая, не рассуждая, шла за отцом и для которой лишения и трудности были тем, чего искала душа ее — жертвенности в служении отцу и людям.

В этот же короткий период осени 1891 года Толстые потеряли двух близких и преданных друзей: умер друг детства Толстого, А. А. Дьяков, и хозяин Бегичевки, приютивший Толстых и сблизившийся с ними на общей работе, Иван Иванович Раевский.

Ни одно доброе дело никогда не делалось без того, чтобы вокруг него не было больших трудностей, злобы, неприятностей. Правительство усмотрело в деятельности Толстого намерение ниспровергнуть существующую власть. Победоносцев писал государю: «Теперь у этих людей появились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границею ненавистники России, коим имя легион, социалисты и анархисты всякого рода, основывают на голоде самые дикие планы и предположения, — иные задумывают высылать эмиссаров для того, чтобы мутить народ и восстановлять против правительства; немудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это легкое дело. Но и у нас немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру и свои социаль-

ные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую, конечно, не пропустят в журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках...»[9])

В «Московских Ведомостях» появились статьи: «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого», «План графа Л. Н. Толстого» и «Слово общественным смутьянам».

Софья Андреевна взволновалась: «Сегодня «Московские Ведомости» чуть ли не революционером тебя выставили за твою статью, — писала она мужу 9 ноября. — С какой подлостью они и тут видят какую-то политическую подкладку. Меня тоже они выбранили за письмо. Только злом и жива эта газета».[10])

Она никак не могла успокоиться. «Сегодня пишу письмо министру внутренних дел по поводу статей «Московских Ведомостей». По-моему, они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого, Грота и Соловьева к какой-то воспрянувшей, по их мнению, либеральной партии, которая, воспользовавшись народным бедствием, хочет что-то делать в смысле политическом. Рассказать всю эту подлость — трудно. Достаньте «Московские Ведомости» 9-го и 11 ноября и прочтите. Мысль, которую я хочу провести министру, есть та, что если революционерам указывают на эту мнимую опору лучших представителей интеллигенции и нравственного влияния на общество, то они поверят своему счастью и поднимутся опять. А в настоящее время это ужасно и даже опасно. — Я только вчера узнала, что двое из главных деятелей «Московских Ведомостей» были рьяные революционеры и надели теперь личину правительственно-православную*). «И как они видны из-под этой личины!» — писала Софья Андреевна своим в Бегичевку.[11])

В другом письме она пишет:

«Милый друг Лёвочка, вы живете там в тишине, и не подозреваете, какую тут грозу на вас направили. Сейчас был Грот, он говорил, что во все газеты послан приказ из главного управления по делам печати, чтобы ника-

---

*) Лев Тихомиров.

кую статью Толстого не печатать нигде. «Московские Ведомости» прокричали тебя революционером за «Страшный вопрос», и злобе в сферах правительственных и «Московских Ведомостей» нет границ. И как это правительство не видит, что «Московские Ведомости» систематически готовят революцию — тогда спохватятся».[12])

Недаром Толстой писал всем своим друзьям — Н. Н. Ге, Черткову, Русанову, что он сошелся с женой на деле кормления голодных так, «как никогда не сходился».[13]) Как орлица, защищающая своих птенцов, Софья Андреевна готова была броситься на любого врага в защиту того, что делалось ее семейством. Постепенно, сама того не замечая, она со всей страстностью своей натуры, несмотря на занятость, постоянные болезни Ванички и заботы о других детях, погрузилась в то же дело, которое на местах проводилось ее мужем и детьми.

«Но теперь вот в чем вопрос, — писала она в том же письме от 17-го ноября 1891 года, — статья о столовых крайне необходима. Я читаю публике выписки из ваших писем, все страшно интересуются. Статьи твои запрещены. Выхода два: пусть будет подписано: Татьяна Толстая. Она ведь хотела тоже писать, или дай я пошлю государю цензоровать самому. Только вложи в статью побольше чувства, ты это так умел прежде, когда был художник; разбуди его — и забудь о всяком задоре и тенденции. Как чувство самое маленькое получает немедленно отголосок — это поразительно! Мужички самарские пришли и в восторге, что я их поместила; и я в восторге. Вчера писала Маше. Сашу всё лихорадит, остальные здоровы. Снег валит».[14])

Ввиду этого распоряжения не печатать ни одной статьи Толстого, следующую статью пришлось пустить за подписью Т. Толстая. В Бегичевку наведывался исправник, неожиданно приехали два священника, командированные к Толстому тульским архиереем для проверки его деятельности. Правая черносотенная печать распоясывалась все больше и больше. Выдержки перевода статьи о голоде, посланные Толстым англичанину Диллону для напечатания, были переведены «Московскими

Ведомостями» на русский язык и перепечатаны с подобающими комментариями.

«Письма графа Толстого, — писали «Московские Ведомости», — не нуждаются в комментариях: они являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, который, с весьма понятною целью, приписывается графом одной только России. Пропаганда графа есть пропаганда самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда... Но подпольные агитаторы стремятся к мятежу, — писали далее «Московские Ведомости», — выставляя в виде приманки «конституцию», как средство к тому хаосу, о котором они мечтают, а граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя за западными социалистами избитые, нелепые, но всегда действующие на невежественную массу фразы о том, как «богачи» пьют пот народа, пожирая всё, что народ имеет и производит».[15])

Взбаламутились мелкие придворные людишки, всегда ютящиеся около горнила власти, пошли разговоры об аресте Толстого, заключении его в Суздальский монастырь, начались обыски и аресты его единомышленников. За Толстым и его помощниками был учрежден самый тщательный надзор местной полиции. Местные священники распространяли слухи, что Толстой и его последователи «антихристовы дети», в Бога не веруют, не молятся, что они явились на голод, «чтобы соблазнить народ», и что «нужно их избивать». Молодые девушки, Маша, Таня, Вера Величкина, и не подозревали, какая травля шла за их спиной и какие им грозили опасности. Но крестьяне, природным умом своим, прекрасно разбирались в истине. «Какие же это антихристовы дети, это ангелы Божьи, которых нам послал Господь», — заявил один из крестьян.[16])

Взволновалась и «Бабушка» Александра Андреевна Толстая.

«Можно себе представить, — писала она в своих воспоминаниях, — с какой демонской радостью московские

крысы ухватились за эту статью, цитируя ее в своих «Ведомостях» со своими, конечно, комментариями и придавая мыслям автора совершенно другой и, разумеется, еще более худший смысл... Не берусь описывать, какой переполох последовал по всей Европе из-за этой статьи и сколько было придумано московскими журналистами наказаний бедному Льву Николаевичу: ему предсказывали Сибирь, крепость, изгнание из России, чуть ли даже не виселицу»...

«И вот, — писала она дальше, — когда я узнала и увидела, какой опасности может подвергнуться Лев Николаевич, я решилась употребить всё свое влияние, чтобы его спасти. Я написала государю, что мне очень нужно его видеть, и просила назначить мне для этого время. Представьте мою радость, когда я вдруг получила ответ, что в тот же день государь зайдет ко мне сам.

Я была сильно взволнована, ожидая его посещения, и мысленно просила Бога помочь мне. Наконец, государь вошел. Я заметила, что лицо его утомлено и он был чем-то расстроен. Но это не изменило моего намерения и лишь придало мне большую решимость. На вопрос государя, что я имею сказать ему, я ответила прямо:

— На днях вам будет сделан доклад о заточении в монастырь самого гениального человека в России.

Лицо государя мгновенно изменилось: оно стало строгим и глубоко опечаленным.

— Толстого? — коротко спросил он.

— Вы угадали, государь, — ответила я.

— Значит, он злоумышляет на мою жизнь? — спросил государь.

Но, поняв в чем дело, государь дал распоряжение не трогать Толстого.

«Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя всеобщее негодование. Если он виноват, тем хуже для него».[17])

Но брожение умов продолжалось. Граф Ламздорф, советник при министре иностранных дел, записал в дневнике, что со всех сторон просили номер «Московских

Ведомостей» со статьей Толстого, которую «нельзя приобрести ни за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой газеты предлагают до 25 рублей».[18])

Софья Андреевна не могла успокоиться и поехала к Вел. Князю Сергею Александровичу, прося его дать распоряжение «Московским Ведомостям» напечатать опровержение статьи о Толстом. Но Сергей Александрович ответил, что Толстой должен сам это сделать, и Софья Андреевна умоляла мужа ответить на статью в «Московских Ведомостях».

25 февраля 1892 года Толстой писал жене:

«Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях в «Московских Ведомостях», и что ты ездила к Сергею Александровичу. Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, много раз, в гораздо более сильных выражениях было сказано раньше. Что ж тут нового. Это все дело толпы, гипнотизация толпы, нарастающего кома снега. Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй и не прибавляй, и даже не позволяй изменять. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и вполне отверг ложное обвинение».[19])

В своей статье Толстой писал:

«Выписка, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая мне, есть очень измененное (вследствие двукратного — сначала на английский, потом на русский язык — слишком вольного перевода) место из моей статьи, еще в октябре отданной в московский журнал и не напечатанной»... «Место же в статье «Моск. Ведомостей», — заключает Толстой свое письмо, — напечатанное вслед за выпиской из перевода моей статьи, крупным шрифтом и выдаваемое за выраженную мною будто бы во втором письме мысль о том, как должен поступать народ для избавления себя от голода, — есть сплошной вымысел. В этом месте составитель статьи пользуется моими словами, употребленными совершенно в другом смысле, для выражения совершенно чуждой и противной моим убеждениям мысли».[20])

Но и это не вполне удовлетворило Софью Андреевну. Она сообщает мужу, что «Тут говорят, что расстроенная молодежь, усумнившаяся в тебе, рвет твои портреты и т. д. Вот что жаль, и вот что следует восстановить»[21]) и пишет в заграничную печать разъяснение по поводу слухов об аресте Толстого: «Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье».[22])

«Пожалуйста, не принимай тона обвиненной, — пишет Толстой жене 23 февраля 1892 года. — Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять — не «Моск. Ведом.», которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно то, что возможно у нас».[23])

Чем глубже Толстой входил в положение крестьян, тем больше, как это всегда бывает, дело развивалось. Организовывались сотни столовых, но наряду с кормлением людей возникали все новые и новые нужды. Толстого пугало вынужденное безделие крестьян. Надо было им дать занятие. Толстой выписал лыко для плетенья лаптей, холст для шитья одежды. Он видел, что падают от бескормицы лошади. Надо было достать сена, часть лошадей переправить в места, не задетые неурожаем, где можно было их прокормить. Надо было раздобыть крестьянам топливо. Все это закупалось друзьями Толстого и вагонами доставлялось в голодные места.

«Другое дело, — писал Толстой жене 26 февраля, — это устройство приютов для маленьких детей от 1 до 3-х лет, с раздачей, или скорее разливкой молочной каши на крупе или пшене, которые устраиваются и принимают определенную форму. Я напишу подробнее, когда это совсем пойдет. Вообще нужно опять написать отчет о пожертвованиях, и о том, что сделано. А сделано, как оглянешься назад с того времени, как писался последний отчет, не мало. Столовых более 120 разных типов: устраиваются детские; с завтрашнего дня вступают на корм лошади, и многое сделано разными способами в помощи дровами. Часто странное испытываешь чувство: люди

вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, если они не бедствуют? Да они не бедствуют то оттого, что мы здесь, и через нас прошло, — как мы умели пропустить — тысяч 50»...[24])

Несмотря на трудности, вся семья Толстых, участвовавшая в помощи голодающим, испытывала большую радость от своей работы. Все лучшее, что было в России, сочувствовало Толстому, помогало пожертвованиями, каждый по своим возможностям. Жертвовали и из заграницы — Англии, Америки. От добровольных помощников, желавших помочь своим трудом — отбоя не было. Работали с подъемом, с воодушевлением.

Первыми откликнулись последователи Толстого: Бирюков, Попов, братья Алехины, Новоселов, Гастев и другие. С жаром начала работать и молодежь — студенты, курсистки, неопытные, не знавшие деревни: то, что было легко и естественно для Толстых, трудно давалось горожанам. Они не умели подойти к крестьянам, их понять и быть ими понятыми, они боялись ездить по далеким деревням в метель и сильный мороз, не умея править лошадьми, распрячь, запрячь, вытащить лошадь с санями из снежного сугроба. Но постепенно люди привыкали к обстановке и приспосабливались.

Жили дружно, одной семьей. По вечерам все собирались вместе, иногда читали вслух, беседовали, обменивались событиями и впечатлениями дня, играли в шахматы. По утрам Толстой продолжал писать свою статью «Царство Божие внутри вас» и обе дочери попрежнему переписывали ему рукописи.

Гроза, пронесшаяся над головой Толстого, прошла для них почти незаметно — они были слишком погружены в свое дело; нужда и горе людей, которых они обслуживали, поглощали всецело их внимание.

Молодежь объединялась вокруг Тани и Маши. Скучно не было. Молодость брала свое. Петя Раевский, красивый молодой человек, студент-медик, любитель охоты и цыган, влюбился в Машу, и она благосклонно принимала его ухаживание. Попов страдал, не смел открыто ухаживать за Таней — он был женат. Маша подружилась

с молоденькой курсисткой медичкой, Верой Величкиной, приехавшей работать на голодающих, и поверяла ей все свои сердечные тайны. Вера Величкина была одной из тех самоотверженных, немного восторженных девушек, которых было много в России. Большею частью некрасивые, выросшие в бедных интеллигентных или полуинтеллигентных семьях, они уже с ранней молодости стремились служить народу. Одни — шли в учительницы, другие в фельдшерицы, третьи примыкали к революционерам и видели свое призвание и цель в ниспровержении существующего строя и революции. Выдержка, жертвенность и стойкость такого рода женщин поразительны, в какой бы области они ни работали; они себя отдавали делу до конца, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Они жаждали подвига, жертвенности. Вера Величкина отдалась служению голодающим с таким же жаром, с каким позднее отдалась революции, вступив в партию социал-демократов большевиков*).

Так же, как и в Ясную Поляну, в Бегичевку приезжало множество посетителей. В своих воспоминаниях Вера Величкина описывает некоторых из них:

... «На другой день к нам приехало еще двое гостей — один из них не понимал ни слова по-русски и был швед по происхождению, Стадлинг. Он был корреспондентом одной из английских газет и явился в нашу глушь, чтобы видеть Льва Николаевича и познакомиться с его деятельностью в деле помощи голодающим крестьянам... Я показала Стадлингу столовые в Бегичевке. Столовые имели такой уютный вид, хлеб был такой хороший и нас так приветливо встретили, что всё ему ужасно понравилось. Стадлинг оставался у нас около двух недель в Бегичевке и пришелся по душе всем сотрудникам. Положение нашего крестьянства произвело на него сильное впечатление. Еще по дороге к нам со станции, при виде наших бесконечных, пустынных полей, он с изумлением спрашивал свою спутницу: а где же работники этих полей? По-

*) Она стала впоследствии женой Влад. Бонч-Бруевича, личного секретаря Ленина.

том он, не зная ни слова по-русски, уехал в Самарскую губернию, где тогда свирепствовал голодный тиф, и принял самое горячее участие в уходе за больными. — Но всех наших окрестных крестьян он порядочно напугал. Благодаря агитации местного духовенства против Льва Николаевича, они жили все время в ожидании пришествия антихриста, который будет их соблазнять и накладывать свои печати. Стадлинг ходил в лапландском костюме, мехом вверх, что придавало ему не совсем обычный вид. Говорить по-русски он не умел, и, кроме того, у него был маленький фотографический аппарат, которым он делал снимки с заинтересовавших его типов и групп крестьян. Результатом всего этого было то, что население приняло его за антихриста, и, когда я после приехала в те деревни, которые он посетил, мне там рассказывали, как у них был антихрист и накладывал свою печать. Посмотрит пристально на кого-нибудь и щелкнет своей печатью. — А потом, — добавляли они, — всех, кого он припечатал, назначат к выселению. И мы теперь уж и не знаем, что делать»...[25])

2-го мая 1892 г. Толстой писал жене в Москву:

«Три дня тому назад явился к нам старик, 70-ти летний швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Японии, в Индии. Длинные волоса, желто-седые; такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной), научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 саженей земли, без рабочего скота, одной лопатой. Я писал Черткову о нем, и хочу его направить к нему. А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитает все сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывает под голову бутылку и т. п....»[26])

Швед не ел не только мяса и рыбы, но даже молока и яиц, и «когда за завтраком подали большой самовар, — писал в своих воспоминаниях один из единомышленников Толстого Скороходов, — швед поднялся и, как про-

рок, с укоризной произнес, указывая на самовар: «И вы поклоняетесь этому идолу! Я имею миссию от китайцев, которые страдают от того, что лучшие их земли заняты чайными плантациями и негде им сеять хлеба насущного. Это происходит от спроса на чай. Вы должны отказаться от употребления чая, если вы знаете, что, употребляя чай, вы этим участвуете в отнятии насущного хлеба у наших братьев китайцев». Лев Николаевич со смущением перевел нам это с английского и предложил последовать этому призыву. Перестал сам пить чай, его заменил ячменным кофе, и самовар был убран».[27]

Швед считал, что земля общая, как воздух, и каждый человек имеет право на известное количество земли и имеет право по своему выбору жить, где хочет. Швед этот долго жил в Нью-Йорке, где у него был свой дом. Один раз он услыхал, «как бедная женщина, нанимавшая в одном из его домов подвальный этаж, жаловалась на свою судьбу и проклинала его, богатого кровопийцу, за то, что он, давая им сырое подземелье, за это отнимает у нее последние ее гроши. Я почувствовал правду ее слов, и мое душевное спокойствие нарушилось. Я перестал быть счастливым. Так как наше назначение на земле счастье, то я и спросил себя: зачем мне мои богатства, если они приносят мне страдания? И я подумал: как сделать, чтобы опять быть счастливым? И я решил отдать все квартиры своего дома даром. Женщина, упрекавшая меня, стала упрекать меня еще сильнее: «А кто заплатит мне за те годы горя и лишений, — кричала она, — которые мы терпели, когда, угрожая нам выселением из сырого подвала на улицу, этот кровопийца вымогал у нас наши потом и кровью добытые деньги». Вместо счастья, начался ад. Тогда я бежал. Я уехал в Индию и жил там своим трудом. Там я услыхал о Толстом. That's the man for me! Вот это человек для меня! — подумал я. — Я буду жить у него и учить его детей физиологии, для того, чтобы они узнали законы природы и научились жить согласно им и быть счастливыми. Буду у него работать на земле... Вот что я подумал и отправился к нему. И вот я здесь»...[28])

Швед прочно вселился в дом Раевских и не собирался уезжать. Хозяева начали тяготиться им, но Толстой заинтересовался шведом. Он находил, что он похож на пророка Иеремию, что во многом он прав, и даже заразился его теорией, перестал употреблять молоко и масло и решил есть всё сырое. Эксперимент этот закончился тем, что у Толстого сделались страшные боли в животе от каких-то, приготовленных шведом, сырых лепешек. Приехавшая на несколько дней в Бегичевку Софья Андреевна пришла в ужас, увидав грязного, лохматого, босого, полуголого старика, мирно спящего под столом на полу. «Это еще что за голые ноги?» — спросила она. — «Лежит, как корова, на траве, копает землю, полощется в Дону, ест очень много, лежит в кухне — и только. Мы ему очень деликатно сказали, что... ему надо уезжать, и он обещал уехать». Так писала Софья Андреевна дочери Тане, уехавшей отдохнуть к своим друзьям Олсуфьевым.

Из Бегичевки шведа выдворить не удалось и, к ужасу Софьи Андреевны, он позднее, следом за Львом Николаевичем, появился в Ясной Поляне. Оттуда он переселился в Овсянниково, маленькое соседнее имение Татьяны Львовны, и только отъезд осенью всей семьи Толстых и наступившие холода заставили его подняться с места и бесследно скрыться с горизонта Толстых.

Американцы откликнулись на призыв Толстого о помощи. Приехавший из Каномо американец обещал Толстому прислать два вагона муки. Посылала Толстому деньги американская журналистка Hapgood, посетившая Толстого в 1891 году и впоследствии переводившая целый ряд его сочинений на английский язык.

Приезжали к Толстому англичане квакеры, всегда готовые помочь людям в беде, любопытствующие американки-туристки...

В середине апреля появился отчет Толстого о его работе на голодающих за шесть месяцев:

Открытие 187 столовых, в которых кормилось около 10.000 человек.

Раздача дров населению.

Кормление лошадей населения.

Раздача льна и лыка для работ.

Столовые для детей, от грудных до 3-х летнего возраста.

Выдача крестьянам семян и картофеля для посева.

Покупка лошадей и их раздача.

Всего собрано было 141.000 рублей, истрачено 108.000.

С конца мая Толстой проводил время между Ясной Поляной и Бегичевкой, но работа в помощь населению продолжалась в нескольких уездах Тульской и Рязанской губерний. Одновременно в Самарской губернии работали сын Лев и П. И. Бирюков.

Осенью 1892 года бедствия крестьян продолжались, хлеб снова не уродился и крестьянские закрома были пусты. Свирепствовал тиф. Помощь необходимо было продолжать.

«Так что же? — заканчивал Толстой свой осенний отчет. — Неужели опять голодающие. Голодающие! Столовые! Столовые! Голодающие! Ведь это уже старо и так страшно надоело.

Надоело вам в Москве, в Петербурге, а здесь, когда с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что будешь делать. Последний конец пришел. Помирать значит».

Хочу пройти, — писал он дальше, — и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды, прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом досчатый пол. И милое измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дергается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной годины, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до

меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как пройти поскорее погулять!

Мне старо, а ему это ужасно ново.

Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел это по прелестным, устремленным на меня, полным слез глазам, — хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику».[29])

С осени 1892 года главное руководство помощи голодающим в районе Бегичевки Толстой передал Поше Бирюкову. Софья Андреевна требовала возвращения семьи домой. В деревнях свирепствовал тиф, Софья Андреевна боялась, что они заразятся. Осенью скончалась от тифа Марья Петровна Берс, жена Степана Андреевича.

«Всё устроится без моего личного присутствия, — писал Толстой жене 26 июля 1892 года, — особенно если Пошу выпишем. Остаюсь здесь только на несколько дней, дня на 4, на 5, — может быть, и меньше, пока начну, и хоть начерно напишу отчет, для которого может понадобиться справиться на месте».

Переживания Толстого в связи с помощью голодающим были сложны, так же сложны, как вся его личная жизнь за последние годы. С точки зрения мнения людского, публики, даже некоторых последователей его — жизнь Толстого была сплошным компромиссом, и только он один, стоя обнаженным перед Богом, мог судить, поступает ли он по велениям совести или по своим личным, эгоистическим побуждениям.

В ту минуту как он понял, что в стихийном народном бедствии нельзя медлить ни минуты и только он, Толстой, может помочь, все рассуждения его о коренном преобразовании всего государственного строя надо было отложить и надо было дать хлеб умирающему с голода народу. Он не мог поступить иначе. Он шел своим путем, делал то, чего не мог не делать, принимая решения один, по своей совести. Он знал, что многие, даже самые близкие, не понимали и осуждали его.

«Враги всегда будут, — писал он в своей записной книжечке. — Жить так, чтобы не было врагов, нельзя. Напротив, чем лучше живешь, тем больше врагов».

«Враги будут; но надо сделать так, чтобы не страдать от них. И можно сделать. Делать так, что враги не только не будут страданием, но будут радостью».

«Надо любить их, и это легко».

«Я один, а людей так ужасно бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их, — всех этих Индейцев, Малайцев, Японцев, даже тех людей, которые со мной всегда, — моих детей, жену... Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один»...[30])

---

1) Бирюков. Биография. Изд. Лодыжникова, т. III, стр. 203.
2) Там же, т. III, стр. 206.
3) Гусев. Летопись... стр. 453.
4) Дневники С. А. Толстой. 1891-1897. Изд. Собашниковых, стр. 74.
5) Бирюков. Биография, т. III, стр. 216.
6) Там же, стр. 227.
7) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 224, стр. 456. Изд. Academia.
8) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 18, стр. 26.
9) Письма Победоносцева к Александру III. Центрархив. «Новая Мысль» 1926. № 121, стр. 251.
10) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 462.
11) Там же, стр. 465.
12) Там же, стр. 467.
13) Гусев. Летопись... стр. 460.
14) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 233, стр. 467. Л. Л. Толстой собирался в это время поехать в Самарскую губ., где голод также свирепствовал. С. А. пишет 20 ноября: «Пожертвования пошли гораздо тише... Большую часть я отдам Леве; там нужнее всего помощь и нужда ужасающая...»
15) Бирюков. Биография, т. III, стр. 249.
16) Там же, стр. 273.
17) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Воспоминания, стр. 59.
18) В. Н. Ламздорф. Дневник, изд. Academia, 1934, стр. 254.
19) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 402, стр. 390.
20) Бирюков. Биография, т. III, стр. 255.
21) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому, стр. 505.
22) Там же, стр. 257.
23) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 406, стр. 397.

[24]) Там же, № 405, стр. 393.
[25]) В. Величкина. «В голодный год с Львом Толстым».
[26]) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 424, стр. 413.
[27]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 279.
[28]) Т. Л. Толстая. «Друзья и гости Ясной Поляны», стр. 131.
[29]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 293-295.
[30]) Там же, стр. 289.

ГЛАВА XLVI

ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС

«Близко Царство Божие — при дверях».

«Я не могу не думать этого и буду умирать с этим сознанием и жить; главное то, что мне осталось жить, хочу жить так, чтобы содействовать этому осуществлению.

Очень может быть, что я делаю не то, что нужно для этого, может быть я заблуждаюсь: но знаю, что только в такой жизни, которая осуществляет Царство Божие, в искании Царства Божьего и правды его для меня весь смысл жизни».[1])

Идеализм и оптимизм Толстого были безграничны. «Есть три ступени в жизни, — писал он в письме к Оболенскому в декабре 1892 года: — 1) для своего животного, 2) для славы людской, 3) для Бога».[2])

Толстой твердо верил, что люди, в конце концов, поймут, что надо жить для Бога.

Ничто не могло дать ему такой радости, как проявление Божества в человеке, любовь к людям, стремление к самосовершенствованию: «Всё яснее и яснее мне становится то, что только единое на потребу, — писал Толстой Е. И. Попову 20 июня 1894 года, — одно нужно: блюсти в себе свое божественное «я» и растить его с тем, чтобы перенести его в другую жизнь возращенным, — след же, который он оставит в этой жизни, есть только неизбежное последствие этого возращения, совершенствования. Я боюсь, что это покажется словами только: для меня это дело, не только дело, но единственная связь моя с жизнью. Только этим можно жить бодро, энергично, после того как в сознании, по крайней мере, отказался от земных внешних радостей, как цели жизни. Земные радости, когда их не ставишь целью, прикладываются».[3])

В заключении к «Царству Божию» Толстой описал событие, причинившее ему острую боль:

«Я кончал эту двухлетнюю работу, когда 9-го сентября мне случилось ехать по железной дороге в местность голодавших в прошлом году и еще сильно голодающих в нынешнем году крестьян Тульской и Рязанской губерний. На одной из железнодорожных станций поезд, в котором я ехал, съехался с экстренным поездом, везшим под предводительством губернатора войска с ружьями, боевыми патронами и розгами для истязания и убийства этих самых голодающих крестьян.

Истязание людей розгами для приведения в исполнение решения властей, несмотря на то, что телесное наказание отменено законом 30 лет тому назад, в последнее время всё чаще и чаще стало применяться в России.

Я слыхал про это, читал даже в газетах про страшные истязания, которыми как будто хвастался нижегородский губернатор Баранов, про истязания происходившие в Чернигове, Тамбове, Саратове, Астрахани, Орле, но ни разу мне не приходилось, как теперь, видеть людей в процессе исполнения этих дел.

И вот я увидал воочию русских, добрых и проникнутых христианским духом людей с ружьями и розгами, едущими убивать и истязать своих голодных братьев.

Повод, по которому они ехали, был следующий:

В одном из имений богатого землевладельца крестьяне вырастили на общем с помещиком выгоне лес (вырастили, то-есть оберегали во время его роста) и всегда пользовались им, и потому считали этот лес своим, или, по крайней мере, общим; владелец же, присвоив себе этот лес, начал рубить его. Крестьяне подали жалобу. Судья первой инстанции неправильно (я говорю — неправильно со слов прокурора и губернатора, людей, которые должны знать дело) решил дело в пользу помещика. Все дальнейшие инстанции, в том числе и сенат, хотя и могли видеть, что дело решено неправильно, утвердили решение и лес присужден помещику. Помещик начал рубить лес, но крестьяне, не могущие верить тому, чтобы такая очевидная несправедливость могла

быть совершена над ними высшею властью, не покорились решению и прогнали присланных рубить лес работников, объявив, что лес принадлежит им и они дойдут до царя, но не дадут рубить леса.

О деле донесено в Петербург, откуда было предписано губернатору привести решение суда в исполнение. Губернатор потребовал войско. И вот, солдаты, вооруженные ружьями со штыками, боевыми патронами, кроме того с запасом розог, нарочно приготовленных для этого случая и везомых в одном из вагонов, едут приводить в исполнение это решение высшей власти».[4])

Сталкиваясь со злом людским, он страдал больше, чем от острой физической боли, не мог сдержать слез, громко стонал. Его угнетало падение морали, развращенность людей, особенно молодежи. Он страдал, читая роман Бодлера, который ему был нужен, «чтобы, — как он писал Софье Андреевне, — иметь понятие о степени развращения fin de siècle».

Он страдал, провожая яснополянских новобранцев, которые, для храбрости, напивались и пьяные безобразничали и дрались.

Толстой видел ту пропасть, в которую, как безумцы, устремилось человечество. Атеисты-революционеры всё сильнее забирали умы молодежи: громкие, красивые слова — служение народу, борьба за равенство, братство людей, самый факт преследования этих борцов за свободу, конспирация — возбуждающе действовали на юношество. Путь революционный, радикальный, быстрый, требующий молниеносных жертв, храбрости, геройства — привлекал их к себе. Путь же Толстого — стремление жить по учению Христа, самосовершенствование, непротивление злу насилием — был, с точки зрения большинства — утопией.

Третий год Толстой работал над своим сочинением «Царство Божие». В письме к Черткову от 3-го февраля 1893 года Толстой писал, что «никакая работа не стоила ему такого труда, как «Царство Божие внутри вас», и только в конце апреля 1893 года Толстой послал рукопись переводчикам в Германию и Францию.

В «Царстве Божием» окончательно выявилось мировоззрение Толстого.

«Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного, к жизнепониманию общественному, и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому, — писал Толстой. — Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным». И дальше: «Положение христианского человечества со своими тюрьмами, каторгами, виселицами, со своими фабриками, скоплениями капиталов, со своими податями, церквами, кабаками, домами терпимости, всё растущими вооружениями и миллионами одуренных людей, готовых, как цепные собаки, броситься на тех, на кого их натравят хозяева, было бы ужасным, если бы оно было произведением насилия, но оно есть прежде всего произведение общественного мнения. А то, что установлено общественным мнением, не только может им же быть разрушено, но им же и разрушается».[5])

Толстой видел постепенный упадок нравственности, веры в Бога. Он видел грубую, одностороннюю политику ограниченной власти, с другой стороны, не менее жестокую, ограниченную пропаганду революционеров. Работа с голодными крестьянами еще больше приблизила его к ним, показала пропасть, разделяющую этих бесконечно терпеливых, забытых людей, с богатыми классами. Толстой видел самоуверенность, эгоистичность и беззаботность богатых, их непоколебимое убеждение, что они имеют неотъемлемое право на роскошь, землю, слуг, в то время как миллионы людей должны жить впроголодь, работать с утра до ночи, не имея ничего.

Он знал, что так продолжаться не может. Он предвидел возможность революции и боялся ее. Только в вере в Бога и в следовании по пути, указанному людям Христом, могло быть спасение человечества.

«Царство Божие усилием берется»... Для себя именно этот путь и избрал Толстой.

Почему же он сам не отрекся от своей семьи, не ушел из богатой обстановки, в которой жил, и не построил свою жизнь по своим убеждениям?

Трудно было массам, осуждающим его, понять, что в этом-то и заключался его крест. Что было ему легче? Уйти от семьи, отряхнуться от угнетавшей его обстановки, от которой он внутренне уже отошел, и поселиться где-нибудь в деревне, окруженным близкими ему крестьянами, где наравне с другими он зарабатывал бы свое пропитание, или оставаться, не нарушая семью, не вселяя в членов семьи еще большей обиды, не оставляя детей, к которым он был глубоко привязан, без отца?

Ему легче было бы уйти. Но он считал своим д о л г о м остаться. И, оставаясь, он изо всех сил стремился помочь своим близким увидать то, что было ему самому так ясно. В каждом из них отец старался найти хорошее и развить эти лучшие их свойства. Он любил их всех, каждого по-своему, и всегда, со свойственной ему чуткостью и лаской, подходил к ним, взрослым и маленьким.

«Что Андрюша? — спрашивал он жену в письме от ноября 18-го, 1892 года. — Отчего ты так отчаиваешься в нем? Мне, напротив, он всегда кажется как-то лучше, чем он бы мог почему-то быть».[6])

«Что Саша?» — спрашивал он в следующем письме.

К Ване у отца было совсем особое чувство. В одном из писем он писал жене: «Вчера не успел написать тебе хорошенько. Нынче Ваничка пришел за чай и я ему рассказал, что ты нездорова. Я видел, как это огорчило его. Он сказал: «А что, как она очень заболеет». Я говорю: «Мы тогда поедем к ней». Он говорит: «И Руднева*) повезем с собой». Потом пришел Лёва и послал его к Тане спросить письма вчерашние. Надо видеть, как он всё понял, с какой радостью побежал исполнить, как

---

*) Тульский доктор, лечивший семью Толстых.

огорчился, что Лёва думал, что он не так передал. Очень мил, больше чем мил хорош».[7])

В Бегичевке, где Толстой бывал теперь только наездом, он отвык от праздной, богатой жизни. Отношения с Софьей Андреевной, охладевшей к общественной работе — «мы, мол, Толстые, сделали достаточно, пусть другие потрудятся» — ухудшились. Она бурно протестовала, когда Толстой или одна из дочерей, чаще всего Маша, уезжали в Бегичевку. И соблазн ухода из дома постоянно мучил Толстого. Особенно тяжело было летом, когда съезжалось много праздного народа и кругом шло веселье, шум, пенье, суета. Но зато, когда осенью все уезжали и он оставался один с двумя дочерьми в Ясной Поляне, он наслаждался тишиной и простотой жизни.

Т. А. Кузминская рассказывала, как один раз она ездила в Ясную Поляну проведать «отшельников», как она говорила. Тетенька любила покушать и когда ей давали только вегетарьянскую пищу, она возмущалась и говорила, что не может есть всякую гадость, и требовала мяса, кур. В следующий раз, когда тетенька пришла обедать, к удивлению своему, она увидела, что за ножку стула была привязана курица и рядом лежал большой нож.

— Что это? — спросила тетенька.

— Ты хотела курицу, — отвечал Толстой, едва сдерживая смех, — у нас резать курицу никто не хочет. Вот мы тебе все и приготовили, чтобы ты сама могла это сделать.*)

11 ноября 1892 года Толстой писал жене:

«Очень приятно мне здесь, после усталости утренней работы — я стал больше уставать — тишина вечеров. Никто не развлекает, не тревожит. Книга, пасьянс, чай, письма, мысли свои о хорошем, серьезном, о предстоящем большом путешествии туда, откуда никто сюда не возвращается. И хорошо. Только ужасно грустно по твоим письмам, по-нынешнему к Тане, что ты все тоску-

---

*) Из личных воспоминаний. А. Т.

ешь. Как бы тебе дать спокойствия радостного, довольного, благодарного спокойствия, которое я иногда испытываю».[*])

В округе Ясной Поляны, ближе к степной полосе, крестьяне также пострадали от неурожая. 1 февраля 1893 г. Толстой писал жене:

...«Поехал в Ясенки*) к писарю и старшине поторопить их к отправке приговоров крестьян о продовольствии и узнать еще подробности о нуждающихся, и мы раздадим муки. Общей нужды нет такой, как было в Бегичевке, но некоторые также в страшном положении. Такое же впечатление и Маши. Так что поедем в Бегичевку, как только приедет Таня, если она хочет приехать».[9])

Лето 1893 года Толстой все еще занимался вопросом о голодающих, хотя фактически делом заведывал Поша Бирюков и старший Раевский — Иван. Хотя местами положение исправлялось, в некоторых деревнях нужда была еще ужасающая. В июле 1893 года Толстой писал жене из Бегичевки:

«Вчера в Татищеве получил мучительное впечатление. Нет хуже деревни. Обступили заморыши, старые и молодые, и главное дети в чепчиках, изможденные, улыбающиеся. Особенно одна двойняшка. — Мы устроили с старшей Шараповой доставать им молока, кроме детских. Это необходимо при повальных теперь детских поносах. Еще пристроил на год бездомных. И так изведу все деньги. Еще не достанет».[10])

Осень 1893 года надо считать окончанием работы Толстого по голоду. Исправив отчет, составленный Бирюковым, Толстой послал его «Русским Ведомостям», где он и был напечатан, за подписью Толстого и Бирюкова, 19 октября 1893 года.

Теперь Толстой снова мог посвящать гораздо больше времени своему писанию и, закончив «Царство Божие», он начал новую статью, под заглавием: «Религия и нравственность».

В октябре 1893 г. Толстой прочел в газетах о Тулонских торжествах. Его поразил фальшиво-патриотиче-

---

*) **Деревня Ясенка в 7 верстах от Ясной Поляны.**

ский, напыщенный тон речей, неискренность всего того, что говорилось правящими от имени того народа, который даже не знал о существовании франко-русской дружбы. Эти мысли Толстого вылились в статье «Христианство и патриотизм».

Как всегда, Толстой много читал. Много книг на разных языках стекались в Ясную Поляну, иногда с автографами авторов.

«Зачитался я — «Северный Вестник», повесть Потапенки, удивительно! Мальчик 14 лет узнает, что у отца любовница, а у матери любовник, возмущается этим, и выражает свое чувство. И оказывается, что этим он нарушил счастье всей семьи и поступил дурно. Ужасно! Я давно не читал ничего такого возмутительного. Ужасно то, что все эти пишущие — и Потапенки, и Чеховы, и Зола, и Мопассан даже, не знают, что хорошо, что дурно; большей частью, что дурно, то считают хорошим, и этим, под видом искусства, угощают публику, развращая ее», — писал он Софье Андреевне 21 октября 1893 года.[11])

Из этого потока книг Толстой выбирал то, что составляло теперь главный интерес его жизни. Получив «Тао-Те-Кинг» Лао-Си на немецком языке, Толстой пришел в восторг и с помощью Е. И. Попова начал его переводить.

В это же время профессор Грот познакомил Толстого с кандидатом Киевской Духовной Академии и членом Московского Психологического Общества, японцем Конисси. Конисси великолепно знал китайский и русский языки, перевел «Великую Науку» Конфуция и «Тао-Те-Кинг» Лао-Си.*)

---

*) Эти переводы были напечатаны в журнале «Вопросы философии и психологии», в январьской и майской книжках 1893 года.

В своем предисловии к изданию «Тао-Те-Кинг», появившемуся отдельной книжкой «под редакцией Л. Н. Толстого и с примечаниями С. Н. Дурылина» в Москве, в 1913 году, Конисси говорит, что пользовался указаниями Толстого для своего перевода в 1895 году. Это явная ошибка: сотрудничество Толстого в переводе этого сочинения на русский язык могло иметь место не позднее 1892 года.

С переводом Лао-Си Конисси, очень любезный молодой человек, желавший всем быть приятным, попал в затруднительное положение.

Как-то вечером, в Москве, Конисси пришел в низкий кабинет Толстого со своей рукописью перевода Лао-Си. Толстой пробежал его.

«Это неверно, это ошибка, — сказал Толстой. - Лао-Си не мог сказать этого», и он прочел вслух следующую фразу: «Кто ведет войну ради человеколюбия, тот победит врагов. Если он защитит народ, то оборона будет сильна».

— Но это стоит в подлиннике, — робко возразил японец.

— Выпустите! — решительно сказал Толстой.

— Но я не могу...

Толстой был страшно взволнован и не слушал Конисси.

— Выпустите, я вам говорю, Лао-Си не мог этого думать, он был против войны.

Конисси совсем растерялся и побежал за советом к профессору Гроту.

— Нельзя переделывать «Тао-Те-Кинг», — сказал профессор. — Оставьте как есть, но ничего не говорите Толстому.

«Надо было видеть, как огорчился Толстой, когда увидел в напечатанной уже книге, что слова Лао-Си о войне сохранились, — рассказывал Конисси. Мне жалко его было».*)

В одном из писем профессору Гроту, с которым Толстой часто обменивался мнением по поводу прочитанных философских книг, он писал: «Вы скажете, я не знаю Аристотеля. Да, не знаю-то его потому, что там нет того, что мне нужно знать. А знаю более, недалекого от него Лао-Тзы и Конфуция, и не могу их не узнать».[12])

Приблизительно в то же время, 22-24 ноября, Толстой читал «Жизнь Франциска Ассизского» Сабатье. Книга эта произвела на него громадное впечатление. Читая

---

*) Из личных воспоминаний автора. Личные беседы Конисси-сан с А. Л. Толстой во время ее пребывания в Японии в 1929-1931 гг.

выдержки из нее вслух, Толстой не мог сдержать слез умиления.

«Получил прелестную книгу о Франциске Ассизском, — писал он Черткову... — Я три дня ее читал и ужаснулся на свою мерзость и слабость, и хоть этим стал лучше...»[13])

Толстой испытывал большое удовлетворение, когда в мудрецах всего мира находил подтверждение своей философии.

Большой радостью для него было и общение с людьми, разделявшими его учение. Но и эта радость омрачалась. Кругом него шли обыски у его последователей, ссылки, аресты, все, что выходило из-под пера Толстого, запрещалось, люди арестовывались за хранение запрещенных рукописей Толстого, его же самого правительство не решалось трогать. С какой радостью он пострадал бы за свои убеждения, сел бы в тюрьму, пошел бы в ссылку! 25 июня Толстой, узнав об обыске у Бирюкова и Попова, записал в дневнике: «Совестно! И обидно самому быть на воле». И в этом было его испытание.

27 января 1894 года умер в Воронежской тюрьме народный учитель Е. Н. Дрожжин, под влиянием сочинений Толстого отказавшийся от воинской повинности. В предисловии к книжке о Дрожжине Толстой писал: ...«склад жизни вследствие просвещения до такой степени изменился, что власти, в том смысле, в котором ее понимали прежде, уже нет места в нашем мире, а осталось одно грубое насилие и обман. А насилию и обману нельзя повиноваться «не из страха, а по совести».[14])

Дрожжин страдал и умирал так, как страдали и умирали первые христиане. Из дисциплинарного батальона, куда Дрожжин сначала был сослан, он писал своим родным о себе и своем друге Изюмченко, тоже отказавшемся от воинской повинности: «Но мы не унываем, потому что мы, ничего не сделавши, идем туда, куда идут за воровство, за разбой, и не боимся ничего, потому что на всё воля Божия: убьют и пусть убивают, тогда нам может и вовсе не за что отвечать перед Богом, а ответит и все грехи наши возьмет на себя тот, кто убьет и осудит. Я

нисколько не сожалею, что просидел полтора года под замком, потому что у Апостола сказано, что «когда человек страдает, то он перестает грешить», это значит, что каждый прожитый день мы должны считать или хорошим или дурным, а кто в заключении или еще как-нибудь страдает, терпит, тот за себя и отвечает».[15])

Читая письма Дрожжина, Толстой плакал от радости, что существуют такие люди, и от горя, что он не имел возможности разделить его участь. «Неотступно зудит мысль последовать его примеру», — писал Толстой Т. М. Алехину 6 марта 1894 года.[16])

Друг Дрожжина писал Черткову: «Можете себе представить, какой он человек: в нем только душа в теле, но как он весел, — его веселость меня радовала, но вспомнил то, что его жизнь отнимают люди и сердце обливается кровью, и жизнь для меня казалась так противна, что я, смотря на Евдокима Никитича, стал завидовать его счастью и страшно жалею о том, что я не лежу на его постели и не ожидаю со дня на день разлуки с этим эгоистичным миром».[17])

Когда Дрожжин умирал в тюрьме, доктора и даже администрация дивились его стойкости.

— Сколько вы были в одиночном заключении?

— В батальоне четырнадцать месяцев.

— Вам там очень тяжело было?

— Нет, мне там было хорошо, — ответил Евдоким Никитич тихим нежным голосом.

— Как же хорошо, когда человек лишен наибольшего блага — свободы?

— Нет, я был свободен.

— Как свободен? — переспросил доктор.

— Я думал, что хотел, — сказал Евдоким Никитич.

Доктор ушел.[18])

Среди единомышленников Толстого, преследуемых правительством, самым неожиданным и жестоким образом пострадал князь Д. А. Хилков и его жена.

Хилков с семьей, женой и двумя детьми, был сослан за свои убеждения на Кавказ. Одно время он пытался

создать христианскую земледельческую общину, принимал деятельное участие в младо-штундистском движении. Хилковы порвали с православием и детей своих не крестили. Княгиня, мать Хилкова, человек старинных взглядов и преданности царю и вере православной, была в ужасе, возненавидела жену Хилкова, Цецилию Винер, и, получив благословение отца Иоанна Кронштадтского, с полицейским приставом и на основании высочайшего повеления, забрала к себе двух маленьких детей Хилкова и увезла их к себе.

...«Было бы бессмысленно с моей стороны писать вам, матери, о страданиях матери, разлученной насильно с детьми, и о других тяжелых условиях всего этого дела, — писал Толстой княгине Хилковой, — потому что я уверен, что вы всё это знаете и взвесили лучше меня и если поступили так, то имели на это какие-либо особые неизвестные причины, и потому единственное, о чем я позволяю себе просить вас, это то, чтобы вы, если найдете это стоющим того, сообщили бы мне, зачем вы это сделали, чем вы были принуждены поступить так и какие вы предвидите от этого желательные последствия».[19])

Но ни письмо это, ни прошение Толстого на Высочайшее имя, переданное Бирюковым Государю через министра двора — не помогли.

«Смерть Дрожжина и отнятие детей у Хилкова суть два важнейшие события, которые призывают всех нас к большей нравственной требовательности к самим себе», — писал Толстой одному своему другу.[20])

Но ни страдания его друзей и единомышленников, ни собственное ложное с мирской точки зрения положение Толстого — неприкосновенность его личности — не могли его остановить. Он продолжал писать и говорить то, во что верил.

«Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установления Царства Божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание ее каждым отдельным человеком.

«И не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: «Царствие Божие внутри нас есть».

И Толстой искренно верил, что мученичество таких христиан, как Дрожжин, не пройдет бесследно, что близко время, когда люди опомнятся и будут все больше и больше стремиться к осуществлению Царства Божия на земле.

---

[1]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 122.
[2]) Там же, стр. 120.
[3]) Там же, стр. 137.
[4]) «Царство Божие внутри вас». Берлин, изд. Ладыжникова, 1920 г. стр. 298.
[5]) Там же, стр. 97.
[6]) Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 436.
[7]) Там же, стр. 452.
[8]) Там же, стр. 434.
[9]) Там же, стр. 439.
[10]) Там же, стр. 449.
[11]) Там же, стр. 456.
[12]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 152.
[13]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 352.
[14]) Предисловие Л. Н. Толстого к книге Е. И. Попова «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина». Стр. XXIII. Берлин, 1895.
[15]) Там же.
[16]) Е. И. Попов. «Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина», стр. 83.
[17]) Там же, стр. 174-175.
[18]) Там же, стр. 194.
[19]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 347.
[20]) Там же, стр. 370.

ГЛАВА XLVII

ДВА МИРА

На зиму Толстой, чтобы не огорчать жену, уезжал в Москву. Но, как всегда, городская жизнь была ему тяжела.

«Я уже больше месяца в Москве — писал он в дневнике 22 декабря 1893 года. — Мне тяжело, гадко... Эта роскошь. Эта продажа книг. Эта грязь нравственная. Эта суета... Главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая жжет меня».

Он тосковал по деревне, физической работе, его тяготило множество прислуги, неправильное воспитание детей. Описывая свой сон в одном из писем к жене, он упоминает об этом: «Видел и Андрюшу на велосипеде. Думал о нем и о Мише. Очень уж, очень у них много всяких земных благ: от этого нет ни охоты, ни времени заняться духовным».[1])

Встав рано утром, Толстой в полушубке и валенках выходил на двор и около часа работал: бочками возил воду из колодца в саду, или колол дрова, которыми отапливались многочисленные печи в доме и кухне; центрального отопления в доме не было. Если не было работы, Толстой шел на прогулку. Он любил ходить по пустынным улицам вниз, к Москве-реке, мимо казарм Сумского полка, расположенных на площади в конце Хамовнического переулка. Было больше простора у замерзшей реки, покрытой снегом, и похоже на деревню — узкие протоптанные дорожки через реку, маленькие домики, в которых жили простые рабочие люди, тишина. Иногда он уходил на Девичье поле и с другой стороны, у Девичьего монастыря, спускался к реке. Отсюда были видны исторические Воробьевы горы, описанные в «Войне и мире», откуда Наполеон наблюдал покоренную им Москву и требовал к себе московских бояр.

Никто из детей почти никогда не заходил к отцу в кабинет. Это была «святая святых», сюда входили только в очень важных случаях, когда отец хотел «поговорить» с кем-нибудь из них, и это было большим, волнительным событием. Сразу после занятий отец опять уходил на прогулку, а вечером к нему приходили «темные», не только не привлекавшие детей, но даже немножко страшные: в темных блузах, лохматые, бородатые.

Маленькие любили, когда отец играл с ними. Вываливалось грязное белье из корзинки, и Ваничка, а иногда и Саша — но она скоро сделалась слишком тяжелой — таскались в этой корзинке отцом и его другом Дунаевым по всему дому, и когда корзина останавливалась, надо было угадать, где находишься. И неизвестно, кто больше любил эту игру, Ваничка или отец.

Два мальчика, Миша и Андрюша, каждое утро будились со скандалом, ругали лакея, почтительно раскачивавшего их за плечи: «Извольте вставать, девятый час, опять в гимназию опоздаете!» Наскоро сполоснув лицо и руки, мальчики, стоя, проглатывали кофе, на ходу доедали ручку калача с маслом и в черных, подпоясанных ремнями, курточках, с белыми крахмальными воротничками, рысью бежали в частную гимназию Поливанова. Мама спала до 12-ти часов. Няня занималась с Ваничкой, Саша училась с mademoiselle Detras, нервной гувернанткой-швейцаркой, с худым лицом и громадным, горбатым носом с лиловыми прожилками, и толстым задом, которую Саша изводила своим непослушанием, невнимательностью и вечным стремлением в сад; осенью и весной бегала по саду с соседними мальчишками и собаками, а зимой стремилась на каток. Чинно гулять по улице, как все благовоспитанные девочки и говорить с mademoiselle Detras по-французски, было для нее величайшей мукой.

В дом ходило множество учителей. Мать хотела дать всё, что было возможно, своим детям в смысле образования. К мальчикам ходили репетиторы, так как они, особенно Андрей, учились скверно, весной неизменно проваливались, осенью шли переэкзаменовки. К Мише ходил учитель скрипки, к Саше учитель музыки. Оба были

музыкальны, но не учили уроков и ленились долбить упражнения Ганона и играть гаммы.

У всех детей были свои сверстники, большей частью из так называемого высшего общества. Постоянно, то в одной семье, то в другой, устраивались вечера, ставились шарады, затевались petits jeux. Весной ездили в коляске, запряженной парой вороных, в светлых весенних платьях, за город, на пикники. Повар Семен Николаевич пек пирожки, жарил цыплят, варил крутые яйца, и всё это, завернутое в белоснежные крахмальные салфетки, укладывалось в уютные погребцы. Гуляли, собирали ландыши, незабудки, играли в горелки и колдунов.

Но самое веселое, — это были детские балы. Шились вечерние платья, покупались бальные туфли, белые лайковые перчатки, иногда приглашался парикмахер, француз Теодор, который всех завивал, и в карете, с лакеем на козлах, ехали на бал: мама, Андрюша, Миша, Саша и Ваничка.

Несмотря на свои 6 лет, Ваничка прекрасно танцовал, особенно мазурку. Он летел по зале, едва касаясь пола, худенький, грациозный. Он то притоптывал каблуками на месте, то ловко ударял в воздухе ногой о ногу, то становился на одно колено и обводил свою, всегда более взрослую, чем он сам, даму, вокруг себя. Бледное личико его розовело, глаза блестели, встряхивались вьющиеся по плечам золотые кудри. На каждом детском балу, где обычно он был самый маленький, Ваничку показывали, он шел в мазурке в первой паре, и взрослые восхищались им и хвалили. В карете, едучи домой иногда в первом часу ночи, Ваничка вдруг делался совсем маленьким, личико его бледнело, вытягивалось, и он, повалившись на колени мама́, съежившись, засыпал.

Надо было и Толстым хоть раз в год устраивать вечер, и такой, чтобы он отличался от других. Никто не мог ничего придумать лучше Тани, и она охотно и весело бралась за это дело. В котильоне раздавались воздушные шары. Все дети танцовали мазурку с разноцветными, летавшими в воздухе шарами, музыка гремела, родители, рассевшись по стенам залы, любовались краси-

вым зрелищем, и вдруг — все остановилось. В залу вошли совсем не по-праздничному одетые: бородатый Толстой в блузе, с руками за поясом, рядом с ним внушительная фигура Владимира Соловьева, Репин, поглаживающий острую бородку быстрым движением руки, и Антон Рубинштейн, со своей львиной гривой. Сначала никто ничего не понял. Вдруг, из коридора, в конце которого был кабинет Толстого, открылась маленькая боковая дверь, и в залу вошел второй Толстой. При всеобщем хохоте молодежи два Толстых приветливо потрясли друг другу руки. Оказалось, Таня подговорила своих друзей, Лопатина, Василия Маклакова, Цингера, загримироваться и приехать на бал. Бал удался на славу и о нем много говорили в Москве.

Но удовольствие бала было испорчено для Тани. Накануне, когда Таня озабоченно носилась по дому, она столкнулась со скромно одетой женщиной, которая хотела видеть Толстого, и отмахнулась от нее, невнимательно отнеслась к ней и сказала, что отца видеть нельзя. Каково же было огорчение Тани, когда она узнала, что это была жена Хилкова, у которого отняли детей. Она приходила искать помощи и утешения у Толстого.

Несмотря на веселье, в котором Толстой невольно иногда принимал участие, он старался держаться в стороне от окружавшей его жизни. Он избегал посещения лекций, концертов, литературных вечеров. Всюду, где бы он ни появлялся, его узнавали, публика начинала перешептываться, и нередко, как это случилось на лекции профессора Цингера, Толстому устраивали овацию. Он не мог долгое время выдерживать московскую жизнь, стремился в Ясную Поляну, где ему было легче всего.

Тишина, покой, наступавшие в Ясной Поляне после шумного лета, когда старый яснополянский дом был переполнен молодежью, детьми, слугами, гувернерами и гувернантками — было как раз то, чего искал Толстой, и без чего ему всегда было тоскливо и душно. Липовые аллеи, лужайка перед домом — занесены глубоким покровом снега, пройти здесь без лыж нельзя. Но зато в лесах проезжены дороги, по которым возят дрова. В

полушубке и валенках, пешком или верхом, Толстой совершает свои прогулки. Он замечает всё: и тройные следы зайца-беляка, и крошечные следы белок, и крупные, по прямой линии, следы волков. В доме тепло. Трещат в печах сухие березовые дрова, прислуги нет. Толстой сам таскает дрова, топит печи. Дочери и друзья убирают дом, готовят, моют посуду. Почему бы не жить так всегда, в мире, покое, тишине, среди природы? Какими ненужными, вредными, засоряющими душу представляются Толстому городская суета, роскошь, безделье...

Зимой 1894 года в Ясной Поляне с Толстым жили М. А. Шмидт, Поша Бирюков и позднее приехал Н. Н. Ге. Дедушка был взволнован. Он горел желаньем показать Толстому большую картину «Распятие», которую он только что закончил. Когда друзья вернулись в Москву, дедушка повел Толстого в частную мастерскую, где стояла его картина. Бирюков так описывает эту сцену:

«Лев Николаевич вошел в мастерскую и остановился перед картиной, устремив на нее свой проницательный взгляд. Н. Н. Ге не выдержал этого испытания и убежал из мастерской в прихожую. Через несколько минут Л. Н. пошел к нему, увидал его, смиренно ждущего суда, он протянул к нему руки и они бросились друг другу в объятия. Послышались тихие сдержанные рыдания. Оба они плакали, как дети, и мне слышались сквозь слезы произнесенные Л. Н-чем слова: «Как это вы могли так сделать!» Н. Н. Ге был счастлив. Экзамен был выдержан».[2])

Но члены императорского дома не разделяли мнения Толстого о «Распятии». На Петербургской выставке президент Академии Художеств, великий князь Владимир Александрович, осматривавший выставку, был возмущен. «Это бойня», — сказал он, отвернувшись. И судьба «Распятия» была решена — его сняли с выставки.

«Снято с выставки ваше торжество, — писал Толстой своему другу. — Когда я в первый раз увидал, я был уверен, что ее снимут, и теперь, когда живо представил себе обычную выставку с их величествами и высочества-

ми, с дамами и пейзажами и nature morte'ами, мне даже смешно подумать, чтобы она стояла».[3])

Но сердце старика не выдержало всех пережитых им волнений. 2-го июня 1894 года сторож принес со станции Засеки телеграмму с печальной вестью о скоропостижной смерти Николая Николаевича Ге.

«Не помню, чтобы какая-либо смерть так сильно действовала на меня, — писал Толстой своему другу Л. Ф. Анненковой. — Как всегда при близости смерти дорогого человека, стала очень серьезна жизнь, яснее стали свои слабости, грехи, легкомыслие, недостаток любви, одного того, что не умирает, и просто жалко стало, что в этом мире стало одним другом, помощником, работником меньше».[4])

За последнее время родителей очень беспокоило состояние сына Льва. Худой, нервный, постоянно чего-то ищущий, Лёва никак не мог найти себя. Он то сближался с отцом, помогал ему в его работе, вегетарианствовал, бросал курить, то ближе сходился с матерью и критиковал поступки и взгляды отца. В конце концов, он совсем изнервничался и заболел, причем доктора не могли определить его болезни, — боли в желудке, слабость. Его послали за границу, в Париж, но одиночество в большом городе повидимому очень плохо на него действовало. Француз Charles Salomon, друг Толстых и переводчик сочинений Толстого, написал тревожное письмо и просил кого-нибудь из семьи приехать. К брату поехала Таня, но пробыла там не долго, они вскоре оба вернулись домой. Этой же весной Толстой получил известие, что серьезно заболела Галя Черткова и Чертков просил Толстого приехать к ним в имение, в Воронежскую губернию.

С тех пор как Чертковы потеряли своего первого ребенка, дочку 1 года и 8-ми месяцев, здоровье Гали пошатнулось, она часто прихварывала и этой весной ей было особенно плохо. Свидание друзей было очень радостно... «Так мы с ними душевно близки, столько у нас общих интересов, и так редко мы видимся, что обоим нам

хорошо»... — писал Толстой Софье Андреевне 30 марта 1894 года.[5])

Прежде чем вернуться в Москву, Толстой, вместе с Машей, которая ездила с ним, проехал в Воронеж к своему больному, любимому другу Русанову. Общение с такими близкими друзьями, как Русанов, с полслова понимающего Толстого и живущего с ним одними и теми же мыслями, было Толстому очень радостно.

И таких людей, разделяющих взгляды Толстого, появлялось все больше и больше, не только в России, но и заграницей.

Еще в 1891 году Толстой получил письмо от американца Эрнеста Кросби, заинтересовавшегося его взглядами, а в мае 1894 года Кросби сам приехал к Толстому. Кросби — красивый, хорошо одетый, выхоленный американец, с большим sense of humor, веселый и остроумный, внешне был полной противоположностью бородатым, в не всегда чистых блузах толстовцам, и, вероятно, Кросби очень удивился бы, если бы ему сказали, что внешний облик и одежда являлись непременным атрибутом толстовства (так считали некоторые «темные»). В Кросби Толстой нашел серьезного единомышленника, проникшегося его учением и твердо решившегося распространять это учение в Америке.

Наблюдая бедность крестьян, их недостаток в земле, и с другой стороны — большие имения помещиков, которые они или обрабатывали наемным трудом тех же крестьян, или сдавали им в аренду, Толстой часто задумывался над тем, как бы исправить эту несправедливость, поднять благосостояние крестьян. Революционный способ насильственного захвата помещичьих земель «трудящимися» был ему неприемлем. Познакомившись с системой Генри Джорджа, Толстой ухватился за нее, считая ее единственным безболезненным и справедливым разрешением земельного вопроса.

Вся земля обкладывается единым налогом. Чем ценнее земля — городская, под коммерческими предприятиями, доходными домами, — тем выше налог. Крестьянам, работающим своими руками на земле, налог не стра-

шен, они легко его выплатят. Помещикам же, зависящим от наемной силы, придется отказаться от своих земель, так как они не в силах будут выплачивать государству налог на землю.

Толстой был под впечатлением прочитанной им книги Генри Джорджа "Perplexed philosopher" и теории Генри Джорджа «Единый налог».

Под влиянием отца обе дочери зачитывались Генри Джорджем и Таня решила применить теорию единого налога в своем имении Овсянниково. Отец помогал ей. Может быть разговор его с крестьянами в деревне Овсянниково о едином налоге послужил канвой в описании сцены в «Воскресении», когда Нехлюдов объяснял крестьянам теорию американского экономиста.

«Вся земля общая. Все имеют на нее право, — говорил Нехлюдов. — Но есть земля лучше и хуже. И всякий желает взять хорошую. Как же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землей, то, что его земля стоит, — сам себе отвечал Нехлюдов. — А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей — плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть — ничего не платишь; а подать на общественные нужды за тебя платят те, кто землей владеет.

— Это правильно, — сказал печник, двигая бровями. — У кого лучше земля, тот больше и плати.

— И голова же был этот Жоржа, — сказал представительный старец с завитками».[6])

И в Овсянникове так и постановили: вместо арендной платы за землю, крестьяне должны были вносить деньги в особый фонд, который тратился бы на их общественные нужды.

Толстой и Генри Джордж питали глубокое уважение друг к другу. В письме к американскому корреспонденту Мак-Гахану Толстой просил передать «Генри Джор-

джу благодарность за его книги», выражает «восхищение перед ясностью, блеском, мастерством изложения» Генри Джорджа, который «первый заложил прочный фундамент постройке будущего экономического строя» и чье имя «всегда с благодарностью и уважением будет поминать человечество».[7])

На это письмо Генри Джордж ответил Толстому в начале марта, выражая ему свое уважение и восхищение, и спрашивая Толстого, может ли он к нему заехать во время своей поездки в Европу, на что Толстой с радостью согласился. Но свидание это так и не состоялось.

24 октября 1897 г. Толстой писал жене:

«Сережа вчера мне сказал, что Генри Джордж умер; как ни странно это сказать, смерть эта поразила меня, как смерть очень близкого друга. Чувствуешь потерю настоящего товарища и друга. Нынче в «Петербургских ведомостях» пишут о его смерти, и даже не упоминают об его главных и замечательных сочинениях. Он умер от нервного переутомления спичей».[8])

В октябре 1894 г. умер Александр III. Смешно было бы утверждать, что у Толстого было чувство любви, уважения к царю, именем которого преследовались его единомышленники, отнимались у них дети, запрещались его писания. Но Толстой никогда не испытывал той ненависти к монарху, которая горела в сердцах революционеров, злобы, жажды мщения. То чувство преданности царю, в котором Толстой был воспитан, которое так живо описано в «Войне и мире», чувство почти обожания Николая Ростова к императору Александру I, у Толстого перешло в чувство жалости к государю, который, по его мнению, сам себе вредил несправедливыми, жестокими поступками.

Когда государь Александр III заболел, Толстой писал Черткову: «Болезнь государя очень меня трогает. Очень жаль мне его. Боюсь, что тяжело ему умирать, и надеюсь, что Бог найдет его, а он найдет путь к Богу, несмотря на все те преграды, которые условия его жизни поставили между ним и Богом».[9])

Русские люди волновались: какие перемены ждут Россию с воцарением Николая II? Будет ли издан манифест о помиловании политических преступников? Уменьшатся ли репрессии, даст ли молодой царь больше свободы России?

Но с самого начала царствования молодого государя стало ясно, что ожидаемой «свободы» не последует.

В дневнике от 10 ноября Толстой записал:

«Безумие и подлость по случаю смерти старого и вступления нового царя».[10])

Речь Николая II, обращенная к дворянству 17 января 1895 года, где молодой царь заявил, что он будет охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как его отец, показала, что больших перемен в политике государства не произойдет.

В конце 1894 года Толстой писал свой Катехизис — изложение веры, писал, как и все свои религиозно-философские статьи, с трудом, бесконечно поправляя, переделывая, то отчаиваясь, то снова вдохновляясь. И среди этой работы вдруг, неожиданно для его близких, может быть, для него самого, утром, когда он еще лежал в постели, в голове его родилось новое художественное произведение. «Продумал очень живо художественный рассказ о хозяине и работнике», — записал он в дневнике от 6 сентября.

Многие поклонники Толстого считают, что «Хозяин и работник» одна из самых сильных вещей, когда-либо им написанных. Сила этого рассказа в неожиданном пробуждении духа Божия, который, как верил Толстой, живет в каждом человеке, в простом, всю жизнь стремившемся к наживе купце. Метель, дорогу потеряли, лошадь стала. Замерзают и барин, и рабочий, и лошадь. Смерть. И в последнюю минуту купец грузным телом своим покрывает рабочего и теплом своим спасает его от смерти.

Но Толстому, по сравнению с его религиозно-философскими статьями, его «Катехизисом», рассказ «Хозяин и работник» казался игрушкой — «довольно ничтожной», как он заметил в дневнике последних чисел декабря.

Он писал Лескову:

«Начал было продолжать одну художественную вещь, но поверите ли, совестно писать про людей, которых не было и которые ничего не делали. Что-то не то. Форма ли эта художественная изжила, повести изживают, или я отживаю? Испытываете ли вы что-нибудь подобное?»[11])

После появления «Хозяина и работника» в мартовской книжке «Северного Вестника» критики разразились целым рядом восторженных статей, но мнение Толстого не поколебалось. Вот что он записал по этому поводу в своем дневнике:

«Так как я не слышу всех осуждений, а слышу одни похвалы за «Хозяина и работника», то мне представляется большой шум и вспоминается анекдот о проповеднике, который на взрыв рукоплесканий, покрывших одну его фразу, остановился и спросил: «Или я сказал какую-нибудь глупость?». Я чувствую то же и знаю, что я сделал глупость, занявшись художественной обработкой пустого рассказа. Самая же мысль не ясна и вымучена, — не проста. Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг».[12])

В конце августа 1894 года из Австро-Венгрии в Ясную Поляну приехал последователь Толстого, словак, доктор Д. П. Маковицкий.

Маковицкий читал изданные заграницей религиозно-философские сочинения Толстого и горячо воспринял взгляды его. Молчаливый, скромный, с кроткими, выпуклыми, серыми глазами, острой белокурой бородкой, Маковицкий очень понравился Толстому и его семье. Только молодежь и дети едва сдерживали смех, когда Душан говорил по-русски, такие он делал смешные ударения.

Маковицкий рассказал Толстому про своего друга, д-ра Шкарвана, готового отказаться от военной службы по своим религиозным убеждениям. После отъезда Маковицкого у Толстого завязалась переписка с ним и его друзьями.

«Получил вчера ваше письмо, дорогой Душан Петрович, — писал Толстой Маковицкому в начале февраля

1895 года, — и очень был тронут и поражен сообщаемым вами известием о поступке нашего общего друга Шкарвана. Когда я узнаю про такого рода поступки, то испытываю всегда очень сильное смешанное чувство страха, торжества, сострадания и радости»...[13])

Можно себе представить, что испытал Толстой, когда он узнал, что на Кавказе началось сильное христианское движение среди духоборов, массовые отказы от военной службы, преследуемые правительством.

Вождь духоборов, Петр Веригин, был арестован. Его перевели в Москву и оттуда уже направляли в ссылку в Сибирь. Толстой не успел с ним повидаться, но он вместе с Бирюковым и Поповым виделся с тремя духоборами, друзьями и последователями Петра Веригина. Они приехали проводить своего вождя.

Это были простые, малограмотные люди, крестьяне, здоровые, сильные и духом и телом.

«Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду».

Так верили духоборы, так верил Толстой. Они не интересовались тем, что Толстой был знаменитым писателем, вероятно, они этого даже и не знали. Для них он был мудрый старичок, так же, как и они, толковавший учение Христа.

---

1) Письма Л. Н. Толстого к жене. Изд. 1913 г., стр. 478.
2) Бирюков. Биография, т. III, стр. 372.
3) Там же, стр. 374.
4) Там же, стр. 387.
5) Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 468.
6) «Воскресение». Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 11, стр. 183.
7) Гусев. Летопись... стр. 505.
8) Письма Л. Н. Толстого к жене... стр. 532.
9) Бирюков. Биография, т. III, стр. 396.
10) Гусев. Летопись... стр. 507.
11) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 22, стр. 153.
12) Бирюков. Биография, т. III, стр. 415.
13) Там же, стр. 407.

ГЛАВА XLVIII

«ЗАЧЕМ?»

В доме все чувствовали тяжесть. Маленькие присмирели, со страхом смотрели на мать, даже Ваничка притих. Мальчики старались уйти из дома. Отца почти не было видно. Он сидел больше в своем кабинете, завтракал один, к обеду выходил грустный, молчаливый... Маша хмурилась и не смотрела на мать.

Ссора возникла из-за пустяков. Толстой, по просьбе Черткова, снялся в одной из лучших фотографий в Москве, со своими друзьями и сотрудниками «Посредника»: Чертковым, Бирюковым, Горбуновым и др. Узнав об этом, Софья Андреевна, неизвестно почему, страшно рассердилась. Сквозь закрытые двери раздавался резкий, требовательный, с истерическими нотками, крик Софьи Андреевны и страдальческий, приглушенный голос Толстого. В клочья была разорвана фотография и Софья Андреевна успокоилась только тогда, когда, негатив злосчастной фотографии был ею уничтожен. Легко себе представить, как чувствовал себя Толстой по отношению к своим друзьям. Но он готов был идти на любые жертвы, лишь бы избежать эти недостойные, злобные, истерические выпады со стороны жены.

А они повторялись все чаще и чаще. В ее совершенно необоснованной ревности неизвестно к кому было теперь что-то болезненное. Во время этих бурных припадков она теряла всякое самообладание, усматривала обиду и оскорбление там, где их не было, и ревновала, не имея на то ни причин, ни поводов. Со свойственной ей страстностью, она давала волю своему воображению и утопала в сумбуре каких-то собственных неясных чувств, теряя всякое равновесие. Она остро страдала сама и заставляла страдать всех вокруг себя.

Самая жуткая ссора разыгралась из-за рассказа «Хозяин и работник».

Среди множества издававшихся в России журналов Толстому больше всего по духу подходил «Северный вестник», редактором которого была некая Л. Я. Гуревич. Небольшая сказка Толстого «Карма» была напечатана в этом журнале и Толстой обещал дать Гуревич «Хозяина и работника» для одного из следующих номеров «Северного вестника».

Но мысль, что Лёвочка, наконец, написал не скучное, религиозное сочинение, а что-то художественное, хорошее, и отдал это не ей, жене, в полное собрание сочинений, а какой-то, как она говорила, еврейке Гуревич, вызывало в ней такую горечь, обиду, ревность, с которой она не в силах была бороться.

Произошла ужасная сцена упреков, рыданий. Крики проникали за тонкие стены спальни, весь дом притих. Дрожали в страхе и крестились старая няня, экономка Дуничка; на цыпочках скрывались в свои коморки лакеи и горничные, боясь попасться на глаза графине.

«Лев Николаевич написал чудесный рассказ «Хозяин и работник», — писала Софья Андреевна в дневнике. Интриганка, полу-еврейка Гуревич, ловким путем лести выпрашивала постоянно что-нибудь для своего журнала. Лев Николаевич денег не берет теперь за свои произведения»... «Мне он не дал в XIII часть, чтобы я не могла получить лишних денег; за что же Гуревич? Меня зло берет и я ищу пути поступить справедливо относительно публики в угоду не Гуревич, а на зло ей. И я найду»...[1])

Софья Андреевна дальше сама описывает то, что произошло:

...«Мысль о женщине пришла прежде всего. Я потеряла всякую над собой власть и, чтобы не дать ему оставить меня раньше, я сама выбежала на улицу и побежала по переулку. Он за мной. Я в халате, он в панталонах без блузы, в жилете. Он просил меня вернуться, а у меня была одна мысль — погибнуть так или иначе. Я рыдала и помню, что кричала: пусть меня возьмут в участок,

в сумасшедший дом. Лёвочка тащил меня, я падала в снег, ноги были босые в туфлях, одна ночная рубашка под халатом. Я вся промокла и, очевидно, застудилась, и я теперь больна и не нормальна, точно закупорена, и всё смутно»...[2])

На другой день разыгралась подобная же сцена:

«Чувство ревности, досады, огорчения за то, что **мне никогда ничего** он не сделает; старое чувство горя от малой любви Лёвочки взамен моей большой — все это поднялось с страшным отчаянием», — писала Софья Андреевна в своей «Истории». «Я бросила на стол корректуры, и, накинув легкую шубку, калоши и шапку, я ушла из дому. К сожалению или нет, но Маша заметила мое расстроенное лицо и пошла за мной, но я этого не видала сначала, а только потом. Я ушла к Девичьему монастырю и хотела идти замерзнуть, где-нибудь на Воробьевых горах, в лесу. Мне нравилась, я помню, мысль, что в повести замерз Василий Андреевич,*) и от этой повести замерзну и я. Ничего мне не было жалко. Вся моя жизнь поставлена почти на одну карту — на мою любовь к мужу, и эта игра проиграна и жить незачем. Детей мне не было жалко. Всегда чувствуешь, что детей любим **мы** их, а не они нас, и потому они проживут и без меня»...[3])

Чего она хотела? Топиться в Москве-реке, или она пугала, добиваясь, чтобы он... исполнил ее требование? Или, может быть, это было началом сумасшествия?

Припадки у Софьи Андреевны не прекращались.

«Отчаяние мое не улеглось еще два дня, — писала она дальше. — Я опять хотела уехать; взяла чужого с улицы извозчика на другое утро и поехала на Курский вокзал. Как могли догадаться дети дома, что я именно поехала туда, — не знаю. Но Сережа с Машей меня опять перехватили и привезли домой.»[4])

Никто не мог помочь Софье Андреевне: ни семья, ни врачи, ее осматривавшие. Вероятно, в связи с ее переходным возрастом она временно потеряла всякое равновесие.

---

*) Василий Андреевич — купец из повести «Хозяин и работник», который замерзает, спасая своего работника.

Чем он мог покорить ее? Только любовью. И он давал ей всё, что мог. Но ей хотелось чего-то гораздо большего, может быть, она сама не знала чего. Вспоминая его прошлую любовь к ней, она писала в своей «Истории»: «Когда я очень плакала, он вошел тогда в комнату, и в землю кланяясь до самого пола, на коленях, он клялся мне и просил простить его. Если б хоть капля той любви, которая тогда была в нем, — осталась бы и на долгий срок, — я могла бы еще быть счастлива».

«Помоги не отходить от Тебя, не забывать, кто я, что я и зачем я. Помоги»... — писал Толстой в дневнике 7 февраля.[5])

Ему часто приходила в голову мысль об уходе, но он не считал себя в праве это сделать. Приводимая ниже выдержка из дневника яснее всего объясняет, почему он считал, что долг его перед совестью терпеть до конца. Запись эта относится к 5 мая 1895 г.

«Верно одно то, — писал он, — что часто бывает, что человек вступит в жизненные мирские отношения, требующие только справедливости: не делать другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали и, находя эти требования трудными, освобождается от них под предлогом (в который он иногда искренно верит), что он знает высшие требования христианские и хочет служить им. Жениться, и решить тогда, когда познает тяжесть семейной жизни, что надо «оставить жену и детей и идти за Ним».[6])

15 февраля, после того, как он согласился исполнить то, чего добивалась жена, т. е., послав «Хозяина и работника» в «Северный вестник», одновременно отдал его для печати в XIII томе Софье Андреевне, а также в «Посредник», он писал в дневнике:

«Бог помог мне; помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне любовью, любовью к тем, которые делают нам зло, т. е. единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, зажгло меня, а потом и близких мне, и все прошло, т. е. прошли страдания. — Следующие дни были еще хуже. Она положительно близка была и к сумасшествию и

к самоубийству. Дети ходили и ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был бес ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, не то что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать».[7])

Мысли, записанные Толстым в этот период, несомненно, вытекали из состояния его жены. «Сумасшествие, — писал он, — это эгоизм... те, которые лишились потребности служить другим, — сумасшествие эгоизма... Сумасшедших этого рода огромное количество»...[8])

Напрасно взрослые думают, что дети ничего не понимают. Дети Толстые, если и не знали подробностей того, что происходило, то все же прекрасно чувствовали, что в семье творилось что-то неладное.

Как ни плотно няня закрывала двери и караулила Ваничкин покой, всё же, сквозь деревянную стену, отделявшую детскую от спальни родителей — все было слышно. «Господи помилуй нас, грешных, — шептала старушка, отрываясь от шерстяного белого чулка, который она вязала на спицах. — Господи, того и гляди, Ваничку разбудят».

Саша старалась избегать мать, жалась к няне, потому что няня всё понимала, не то, что чужая гувернантка, а Ваничка смело шел к матери, ласкался к ней. «Ты больная, мама? — спрашивал он ее. — Ты какая-то не всегдашняя». Она целовала его и плакала — «Пожалей ма́ма», — говорила она. Маленькая, прозрачная ручка гладила ее голову, расправляя на две стороны пробора ее совсем еще черные, не поседевшие волосы.

Он утешал ее, заглядывая ей в глаза, точно хотел убедиться, помог ли он ей. А глаза уВанички были отцовские, глубокие, видящие и понимающие больше, чем мог выразить словами этот ребенок. Никто не сознавал тогда, какое значительное место заняло это маленькое существо в жизни семьи. Часто он учил взрослых, не желая этого, не думая, инстинктивно, по какому-то вложенному в него внутреннему сознанию добра.

Когда мать говорила ему, показывая на окрестности Ясной Поляны: «Смотри, Ваня, это все принадлежит тебе», Ваничка морщился: «не надо, мама, всё — всехнее».

Ваничка радовался, когда видел добро, и горько плакал и расстраивался при всяком проявлении недоброго. «Мама, зачем няня сердится? — спрашивал он со слезами на глазах. — Зачем? Скажи ей». «Не смей бить Сашу», — кричал он на Мишу, когда здоровый, сильный драчун Миша награждал Сашу тумаками. «Зачем ты его ругала?» — спрашивал он мамá, когда она делала выговор лакею или горничной. Зачем люди были злые, портили сами себе жизнь, когда все могло быть хорошо и радостно? Зачем?

Вероятно, у отца было совсем особое чувство к Ваничке, хотя он редко показывал его. Он с ужасом следил за теми ненормальными, нездоровыми условиями, которыми мальчик был окружен.

«Саша, как всегда, проста и усердна. Ваничка, кажется, особенно мил, потому что больше обращаешь на него внимания. Здоровье его превосходно. В вопросах о том, дать ли ему огурца, яблок, грибов — я всегда стою за большую осторожность»...[9]), писал Л. Н. жене.

Ваничка постоянно болел. Его пичкали хиной, лекарствами, но они не помогали — он был очень худ, бледен и никак не поправлялся. Но несмотря на всё, Ваничка был настоящий ребенок, веселый, жизнерадостный, любил шутить, сам понимал шутки и увлекался играми. Когда Ваничка и Саша оставались в Ясной Поляне с отцом, Ваня писал матери под диктовку:

«Милая мама, Саша была больна, и теперь здорова. Мы сегодня с Таней хотели идти на Козловку, но было холодно, и нас папа с няней не пустили. Саша все спешит для тебя делать какой-то подарок, и она думает, что она не успеет. Робинзона мы дочли и ждем тебя, чтобы читать с начала, а то помнишь, мы начали читать с самого интересного. Мы дочли Робинзона и маленькую книжечку, и начали Капитана Гранта. И очень была одна страница, очень интересная, про красных волков. Я очень боялся. Сейчас папа едет на Козловку, и вот я пишу тебе

письмо. Пришел будить Таню, чтоб идти на Козловку, и я только что намочил палец, чтобы ее брызгать — она проснулась. Прощай, милая мама. Жду скорее приехать в Москву. Поцелуй Андрюшу, Мишу, Лёву, и всех кто там есть, а тебя даже обнимаю.

Ваня (рукой Ванички)»[10])

Когда же дети, кроме старших дочерей, оставшихся с отцом, уехали в Москву, Толстой всем написал письма — каждому о том, что больше всего его интересовало: Саше об ее подруге Варьке, кухаркиной дочери, мальчикам — о лошадях и собаках, письмо Ваничке было самое серьезное и длинное.

«Я поймал трех крыс внизу, и одна защемила себе хвост, и хвост толще твоего пальца. И Маша с Надей Ивановой носили выпускать ее. Так боялись, что влезли на скамейку у Кузминского дома и там выпустили, а сами визжали. А я выпускал своих на прешпекте, и они прыгали так, что на аршин, и забивались под дерево. Марья Александровна тоже выпускала крыс на Кавказе, и один немец ей сказал, что как только их выпустят, они прежде Марии Александровны дома будут. Но это неправда; я смотрел по следу, они в саду остались. А Таня вчера сказала, чтоб привезли барана из Овсянникова, потому что все люди хотели мяса, и Стаховичу, и Наде Ивановой, и привезли барана и убили его. Вот это п р и н ц и п ы...»[11])

Ваничка знал, что а у папа п р и н ц и п ы, что убивать животных и есть баранов — грех. И вероятно сам охотно бы не ел мяса, которым усердно пичкали его, заставляляя есть все через силу. И отец не сомневался, что Ваничка всё поймет и крыс пожалеет.

Несколько месяцев Ваничка хворал лихорадкой, но с середины зимы температура спала и он стал поправляться. Никто не ожидал того, что случилось. Никто не сознавал, не верил. Как всегда в таких случаях, несчастье случилось молниеносно.

Ваничка заболел. В страшном жару, почти 41°, он продолжал думать о других. «Ничего, мама, не волнуйся, — говорил он ей в проблесках сознания. — Все будет хорошо». «Няня, не плачь, зачем плачешь?»

Но детский доктор Филатов определил молниеносную форму скарлатины, спасенья не было. Через полутора суток Ванички не стало.

Гробик стоял в той же, теперь безжизненной, детской, наполненной одуряющим запахом гиацинтов. Во всем доме чувствовалась ничем не заменимая жуткая пустота и невольно все, от мала до велика, сплотились, стараясь как-то заполнить эту пустоту. Перед лицом торжественности, чистоты и величия этой смерти, все разногласия, недобрые чувства, недоразумения, исчезли как дым. В душе своей каждый старался не думать о своем горе, а о горе другого. Сдерживая рыдания, Маша неслышными, легкими шагами носилась по дому. Ухаживала за матерью, отцом, первая открыла, что Саша нездорова, жар, горло болит, вероятно, тоже скарлатина в легкой форме. Мальчики старались быть хорошими, сидели дома, учились. Вся любовь, нежность, заботы семьи, главным образом отца, сосредоточились на матери. Отец был, как всегда, сдержан, внешне спокоен, страданий своих он старался никому не показывать. Но неизвестно, что больше раздирало душу детей, молчаливые слезы отца и какие-то страшные гортанные звуки, не то кашель, не то стоны, которые он давил в себе, или громкие рыдания, крики, причитания и стоны матери, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью.

«Зачем? — кричала она и билась головой о стену, рвала на себе волосы или, рыдая, бегала из угла в угол. — Зачем его отняли у меня?» и в следующий момент: «Неправда! Он жив! Ну, говорите же, что вы молчите! Ведь он же не умер? — кричала она. — Дайте мне его! Что вы молчите, как истуканы! Ааа! Вы говорите: «Бог добрый»! Так зачем же Он отнял его у меня? Зачем?!»

Но разве окружающие знали: зачем? Отец знал. Он знал, что этот маленький, столь похожий на него мальчик, и жизнью и смертью своей внес в окружавший его мир, в семью — Любовь.

Люди часто в минуты тяжелого горя делятся им со своими старыми друзьями, с которыми они когда-то были близки. Толстой знал, что «Бабушка» поймет.

«Последние эти дни Соня говела с детьми и с Сашей, которая умилительно серьезно молится, говеет и читает Евангелие, — писал он ей. — Она бедная очень больно была поражена этой смертью. Но думаю — хорошо. Нынче она причащалась, а Соня не могла, потому что заболела. Вчера она исповедовалась у очень умного священника Валентина (друг-наставник Машеньки, сестры), который сказал хорошо Соне, что матери, теряющие детей, всегда в первое время обращаются к Богу, но потом опять возвращаются к мирским заботам и опять удаляются от Бога, и предостерегал ее от этого. И, кажется, с ней не случится этого».

«Единственная задача жизни всякого человека, — писал он ей в том же письме, — в том только, чтобы увеличить в себе любовь, и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая и в них любовь. И когда теперь сама жизнь поставила вопрос: зачем жил и умер этот мальчик, не дожив и десятой доли обычной человеческой жизни — ответ общий для всех людей, к которому я пришел, вовсе не думая о детях, не только пришелся к этой смерти, но самым тем, что случилось со всеми нами, подтвердил справедливость этого ответа. Он жил для того, чтобы увеличивать в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было Тому, кто его послал, и для того, чтобы, уходя из жизни к Тому, кто есть любовь, оставить всю выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. — Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь. И от этого мне хорошо».[12])

Те же мысли Толстой излагал в своем дневнике от 12 марта:

«Одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви; или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти со-

вершаются над всеми нами, различно сочетаясь, одни прежде, другие после, как волны.

Смерть детей с обыкновенной точки зрения: природа пробует давать лучших, и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ваничка.

Но это объективное, дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал, дело Божие: установление Царства Божия через увеличение любви, больше, чем многие, прожившие полвека и больше».[13])

---

[1]) Дневники С. А. Толстой. 1891-1897. Часть 2. Изд. Собашниковых, стр. 104. 5 февр. 1895.
[2]) Там же, стр. 107. 21 февр. 1895.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Там же, стр. 236. Прим. 333.
[6]) Там же, ч. 2, стр. 236, прим. 333.
[7]) Там же.
[8]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 405.
[9]) Письма Л. Н. Толстого к жене, 18 авг. 1894 г. стр. 474.
[10]) Там же, 19 сент. 1894 г., стр. 479.
[11]) Там же, 1 нояб. 1894 г., стр. 483.
[12]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 413.
[13]) Там же, стр. 411.

ГЛАВА XLIX

ГОНЕНИЯ

Софья Андреевна записывает в своем дневнике: «Вернулись мы осиротелые в наш опустевший дом, и помню я, как Лев Николаевич внизу в столовой, сел на диван и, заплакав, сказал:

— Я думал, что Ваничка один из моих сыновей будет продолжать мое дело на земле после моей смерти.

И в другой раз приблизительно то же.

— А я мечтал, что Ваничка будет продолжать после меня дело Божие. Что делать!».[1])

Сестре она писала:

«Лёвочка согнулся совсем, постарел, ходит грустный с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний светлый луч его старости. На третий день смерти Ванички он сидел, рыдая, и говорил: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность».

Но ни в ком из его близких не было ни малейшего сомнения, что каково бы ни было страдание отца, он примет их, как новое, Богом посланное ему испытание. Боялись за мать. Сможет ли она принять свою утрату как крест Божий, смирится ли она? Найдет ли смысл для дальнейшего существования? Откроется ли ей тот духовный мир, к которому полубессознательно тянул ее, отлетевший в вечность, маленький сын?

Ранней весной Толстой по обыкновению не поехал в Ясную Поляну, а остался с женой в Москве, стараясь работой отвлечься от своего горя. А работы у него было всегда больше, чем он мог переделать. Как он часто говорил: «Еще на три жизни хватило бы». В дневнике 12 марта 1895 года он писал, что ему «захотелось писать художественное — кончить начатое и задуманное: 1) «Коневская» (Воскресение), 2) «Кто прав», 3) «Отец Сергий», 4) «Дьявол в аду» («Восстановление ада»), 5) «Купон»

(Фальшивый купон), 6) «Записки матери», 7) «Александр I» («Посмертные записки старца Федора Кузьмича», 8) драма («И свет во тьме светит»), 9) «Переселенцы и башкиры».[2])

Всю весну 1895 года Толстой усиленно писал «Воскресение» и к 1 июля закончил первую редакцию. «Подмалевка Коневской (Воскресение) кончена», — помечает он в дневнике 4-го июля.[3])

В связи с состоянием жены, Толстой меньше чем когда-либо мог мечтать о перемене тех условий своей внешней жизни, в которых он продолжал жить и которые все так же угнетали его. Он не мог не думать об этом, ища выхода. Мысли эти вылились в форме завещания, которое он записал в своем дневнике 27 марта 1895 г. Маша тогда же переписала его и хранила у себя. Завещание это Толстой подписал только 23 июля 1901 г.

Здесь приводятся основные положения этого завещания:[4])

...«Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу, как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священников и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай хоронят, как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще...

Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову Владимиру Григорьевичу, Страхову и дочерям Тане и Маше... Сыновей своих я исключаю из этого поручения, не потому что я не люблю их (я, слава Богу, в последнее время все больше и больше любил их) и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом... Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь, — жизнь моя была обычная дрянная жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, — производят ложно одностороннее впечатление и представляют... А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть.

Из них видно, по крайней мере то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен Богом и хоть под старость стал, хоть немного, понимать и любить Его... Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не всё и только то, что может быть полезно людям.

Право издания моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки прошу моих наследников передать обществу, т. е. отказаться от авторского права. Но только прошу об этом, а никак не завещаю. Сделать это хорошо. Хорошо это будет и для вас — не сделаете — это ваше дело, значит, вы не готовы это сделать. То, что мои сочинения продавались эти последние девять лет, было для меня самым тяжелым делом в жизни.

Еще и главное, прошу всех, и близких и далеких, не хвалить меня (я знаю, что это будут делать потому, что делали и при жизни самым нехорошим образом), а если уж хотят заниматься моими писаниями, то — вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня Божья сила, и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я чувствовал себя проводником воли Божией. Часто я был так не чист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай Бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий нечистый характер, который они получили от меня — могли питаться ими. В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них и никак не хвалить.

Вот и всё.

Лев Толстой».

В начале июня Толстые переехали в Ясную Поляну. Кузминские не приезжали уже теперь на лето во флигель. Между двумя, так дружно жившими прежде семьями — легла тень. Это произошло из-за старшего сына Миши, беспринципного и развращенного малого. Старшие, особенно Лёва, боялись, что Миша будет иметь пагубное

влияние на младших братьев Толстых — Андрюшу и Мишу. В так называемом Кузминском доме-флигеле жил теперь профессор московской консерватории, пианист и композитор С. И. Танеев.

Этим летом Чертков с женой и маленьким сыном Димой поселились в 4-х верстах от Ясной Поляны в небольшом домике, который отыскал для них Толстой. Друзья виделись почти ежедневно и для Толстого было большой радостью близость его друга. Чертков следил ежедневно за тем, что писал Толстой, помогал ему в переписке, отвечал за него на некоторые письма, целиком вошел в его жизнь. Софья Андреевна, вся семья, даже оба старшие сына отдавали Черткову должное, радовались, что отцу хорошо с ним, но не очень его любили. Вероятно, причиной этой была властность Черткова, который как бы овладевал всеми мыслями, писаниями Толстого, по-своему, по-чертковски, интерпретируя их, точно это было его собственностью.

В начале августа Толстого впервые посетил Антон Павлович Чехов, писавший как раз в это время свою «Чайку». Оба писателя сразу почувствовали друг к другу симпатию и им было обоим и легко и просто. «Он очень даровит, — писал Толстой сыну Льву в Швецию, — и сердце у него, должно быть, доброе, но до сих пор нет у него определенной точки зрения».[5])

В своем дневнике от 7 августа С. И. Танеев писал: «Лев Николаевич говорил о Чехове, очень одобрял его, как писателя. «Если бы можно было соединить Чехова с Гаршиным, то вышел бы очень крупный писатель, — говорил Л. Н. — У Чехова мало того, что было у Гаршина, который всегда знал, чего он хочет, а Чехов не всегда знает, чего он хочет».[6])

Повидимому, сам Чехов тоже остался доволен своим свиданием с Толстым.

«Я прожил у Толстого 1½ суток, — писал Чехов Суворину. — Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки»... И далее, в следующем письме: «Дочери

Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо, если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи: их на мякине не проведешь... Невесту и любовницу можно надуть, как угодно, и в глазах любимой женщины даже осел представляется философом, но дочери — другое дело».[7])

Иностранцы продолжали от времени до времени посещать Толстого: приезжали английский филолог Маршал и профессоор русского языка в Сорбонне Поль Буайэ — большой умница и блестящий собеседник, с которым Толстые сохранили дружбу на многие годы.

Но как ни интересны и приятны были некоторые гости, постоянное присутствие чужих в доме — было тяжело. Толстые были лишены семейной жизни. Ни за едой, ни вечерами за круглым столом в зале, под широким абажуром лампы, нельзя было посидеть одним, потолковать о том, что кто читает, кто в кого влюбился, как кто провел день, какие у кого обновки, одним словом, Толстые были лишены того, чем так дорожит всякая семья — личной жизни. Они жили на виду у всех, под стеклянным колпаком. Люди, окружавшие Толстого, записывали всё, что он делал, говорил. Толстой, со свойственной ему, почти юношеской, предприимчивостью и интересом ко всему окружающему, увлекся ездой на велосипеде. Это доставляло ему громадное удовольствие, но... этот незначительный факт — обсуждался. «Толстой ездит на велосипеде! Уместно ли это? Не противоречит ли взглядам христианина?» Чертков был обеспокоен...

Тетенька Мария Николаевна Толстая всё это прекрасно понимала. В ней была та же широта, чуткость и жизнерадостность, как и у ее брата. Ей не легко было, когда она приехала этим летом из своей тихой обители Шамординского монастыря и попала в это чуждое ей и разношерстное общество. Не легко ей было мириться со взглядами своего брата, отошедшего от православия и окруженного такими же, как он, отошедшими от право-

славия людьми. Но между братом и сестрой существовало другое: ничем не заменимая родственная близость и, несмотря на разные пути, — глубокое понимание смысла жизни. О расхождении своем они избегали разговаривать. Она знала, как сильно брат переживает смерть любимого мальчика, но об этом они не говорили, без слов понимая друг друга. Брат надеялся, что она поддержит Соню в ее горе, поможет ей через церковь и веру православную найти утешение. Софья Андреевна любила «Машеньку», как она ее называла, и Машенька бережно, с сочувствием подходила к ней. Постороннему человеку, вероятно, странно было видеть эту монахиню в толстовском окружении. Весь облик Марии Николаевны в черном одеянии, черной повязке, скрывавшей половину ее широкого, умного лба, с четками, которые она постоянно перебирала своими длинными с коротке остриженными ногтями пальцами, которые были так похожи на пальцы ее брата — был монашеский. Она строго соблюдала посты, подолгу молилась у себя в комнате. Но не было в ней и тени напускной монашеской строгости. Она интересовалась всем, с наслаждением слушала музыку, которую прекрасно знала, так как сама была прекрасной пианисткой. Она любила природу, цветы, понимала шутку, тонкий юмор, и все приходили в восторг, когда карие живые глаза тетеньки вдруг задорно загорались, беззубый рот расплывался в хитрую, лукавую улыбку и тетенька отпускала пресмешное, меткое замечание или острую шутку.

Мирная жизнь Толстого и его друзей этим летом была нарушена известием, глубоко их взволновавшим. Единомышленник Толстого, князь Хилков, сосланный на Кавказ, сообщал в письме к Толстому о массовом религиозном движении духоборов, об отказе духоборов отбывать воинскую повинность и о репрессиях правительства. Статья, присланная Хилковым, которую он просил Толстого напечатать в газетах в том духе, в котором она была составлена, не внушила доверия Толстому, и Поша Бирюков решил ехать на Кавказ, чтобы проверить факты и разузнать подробности.

В то время о секте духоборов было известно очень мало, хотя она и существовала уже с середины XVIII века. Преследовать их начали с 1792 года, когда их сослали в Сибирь, но в начале XIX века, в царствование Александра I, их переселили на Кавказ. Интересна мотивировка Екатеринославского губернатора, когда он в донесении своем в Петербург писал, что «все зараженные иконоборством не заслуживают человеколюбия, ибо ересь их особенно опасна и соблазнительна для последователей тем, что образ жизни духоборов основан на честнейших правилах и важнейшее их попечение относится ко всеобщему благу, и с п а с е н и е   о н и   ч а ю т   от благих дел».[8])

Главнейший догмат учения духоборов есть служение и поклонение Богу духом и истиною. Всякую наружность, яко ненужную в деле спасения, отвергают[9]).

Бога признают в трех лицах единого-неисповедимого. Веруют, что памятью мы уподобляемся Богу Отцу, розумом — Богу Сыну, волею — Богу Духу святому; также первое лицо — свет — Отец Бог наш; вторoе лицо — живот — Сын Бог наш, и третье лицо — покой — Свят Дух Бог наш.

Изображение Три-Ипостасного Бога в натуре: Отец — высота, Сын — широта, Дух Святый — глубина. Сие же берут и в нравственном смысле: Отец высок, и никто не может выше Его возглаголять; Сын широк разумом; глубины Духа никто не может исповедать.

...Семь небес означают у них семь евангельских добродетелей, таким образом:

Первое небо есть смирение; второе — разумение; третье — воздержание; четвертое — братолюбие; пятое — милосердие; шестое — совет; седьмое — любовь; там живет и Бог.

Подобно сему двенадцать христианских добродетелей изображаются у них в виде 12-ти друзей. Сии друзья суть:

1) Правда — человека от смерти избавляет.
2) Чистота — человека к Богу приводит.
3) Любовь — иде же любовь, тамо и Бог.

4) Труды — телу честь и душе вспоможение.
5) Послушание — скорый путь ко спасению.
6) Неосуждение — без труда человеку спасение.
7) Рассуждение — всей добродетели свыше.
8) Милосердие — от него — человека сам сатана трепещет.
9) Покорение — самого Христа Бога нашего дела.
10) Молитва с постом — она человека с Богом соединяет.
11) Покаяние — нет закона и заповеди выше его.
12) Благодарение — радость Богу и ангелам Его.

Духоборы не признают никого выше Бога и закона Его. Если власти приказывают им исполнять то, что противоречит закону Бога, они отказываются подчиняться. Христос сказал: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай; кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». И духоборы отказываются убивать или учиться убивать, отбывая воинскую повинность.

Спокон веков на Кавказе существовал обычай носить оружие — кинжалы, ружья — которые служили защитой от воинствующих племен, разбойников и диких зверей. Придя к убеждению, что всякое убийство грех, духоборы стали вегетарианцами и решили, что оружие им не нужно. В Елизаветпольской губернии, Карской области и Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии, где были главные поселения Духоборов, они собрали все свое оружие, сложили его в громадные костры и два дня сжигали и плавили, под торжественное пение псалмов. Одновременно последовал целый ряд отказов от воинской повинности.

Соседи в преувеличенном виде донесли властям о том, что произошло, власти решили, что это бунт и послали казаков «усмирять» духоборов. Духоборы были жестоко избиты нагайками, четверо убиты, около двухсот были арестованы и посажены в тюрьмы, имущество духоборов было разграблено, земля отнята и около 4.000 человек были расселены по глухим армянским и грузинским деревням.

Толстой был потрясен этими событиями. Только глубокая вера в Бога могла заставить людей с такой стойкостью и терпением вынести подобные страдания. В движении духоборов Толстой видел начало возрождения истинного христианства в русском народе. С другой стороны, он был глубоко возмущен тем, что в конце XIX века, в так называемом цивилизованном мире производятся такие жестокости по отношению к людям, которые были виноваты только в том, что хотели исполнить заветы Христа и старались жить так, как повелевала им их совесть.

Бирюков в своей книге «Духоборцы» рассказывает о поступке Федора Лебедева, брата Матвея Лебедева, который один из первых отказался от воинской повинности и подвергся тяжелому наказанию — поступок этот дает яркое представление об убеждениях духоборов.

«В духоборческое селение Родионовку пригнали арестанта этапным порядком, для препровождения его дальше. Очередь вести арестанта пала на Федора Лебедева, родного брата Матвея, отказавшегося от военной службы в Елизаветполе.

Федор Лебедев заявил старосте, что он не может сопровождать арестанта, так как он не может совершить над ним никакого насилия и, стало быть, будет бесполезен. И просил старосту так и доложить об этом начальству. Староста ответил: «Я не предатель ваш, дело твое, а я приведу тебе на двор арестанта, ты с ним и возись, как хочешь».

Федор Лебедев возвратился домой и сидел в своей хате, когда староста, действительно, привел арестанта к нему в дом и оставил, а сам ушел. Федор Лебедев обошелся с ним, как со странником; обогрел, напоил, накормил его, уложил спать. На другое утро, видя, что арестант человек бедный, дал ему на дорогу 1 рубль 50 коп. денег и предложил вывести из деревни; когда вышли за деревню, он показал ему две дороги, одну — направление его этапного пути, а другую — на волю, предоставив выбрать ему, что он хочет. Арестант выбрал

первое и дошел по назначению. Этот случай не имел дурных последствий».[10])

Разумеется, напечатать в русских газетах о преследовании духоборов было невозможно. Бирюков написал статью «Гонения на христиан в России» и она была напечатана в лондонском «Таймсе», под редакцией и с предисловием Толстого, и широко распространена в рукописях в России. О преследовании духоборов заговорили. В Америке и в Англии духоборами заинтересовались квакеры. В глазах правительства, которое несправедливо приписало Толстому все духоборческое движение, деятельность Толстого становилась все опаснее и опаснее. Говорили, что, узнав про статьи в «Таймс», Победоносцев страшно взволновался. Многие друзья Толстого, в том числе и Бирюков, попали под надзор полиции. А в Толстом, как всегда, когда преследовались его единомышленники, было два чувства — радость, «как радостны страдания родов, приближающихся к концу», как он писал в дневнике от 5 ноября 1895 года,[11]) подразумевая духовное возрождение людей, и — огорчение, что он сам был лишен этих страданий. «Иногда хочется нарочно вызвать чем-нибудь гонение», — писал он Хилкову 12 марта 1895 г.[12])

В апреле 1896 года, после ряда новых арестов, когда люди сажались в тюрьму только за чтение или передачу другому Толстовских запрещенных брошюр, Толстой не выдержал и написал министрам юстиции и внутренних дел, прося гонения на его единомышленников направить на него:

...«Если правительство хочет непременно не бездействовать, а наказывать, угрожать и пресекать то, что оно считает злом, то наименее неразумное и наименее несправедливое, что оно может сделать, состоит в том, чтобы все меры наказания, устрашения или пресечения зла направить против того, что считается правительством источником его, т. е. против меня, тем более, что я заявляю вперед, что буду не переставая, до своей смерти делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед Богом обязанностью».[13])

Влияние Толстого распространялось не только в России, но и заграницей. То в одной, то в другой стране появлялись сильные, проникнутые учением Толстого, люди. В Голландии, Англии, Америке, Германии, даже в Японии. В Австро-Венгрии друг Маковицкого, словак д-р Шкарван, один из самых искренних и морально чистых людей, пострадавший за отказ от военной службы, написал записки о своих мытарствах и прислал их Толстому.

В Англии — англичанин Кентворти, приезжавший к Толстому, автор нескольких работ о христианстве, организовал христианскую общину «Братская церковь» и занялся печатанием «Изложения и перевода 4-х Евангелий».

В Америке — Эрнест Кросби распространял взгляды Толстого. Истинное христианство в Америке, в разних его толкованиях так же, как и во всех европейских странах, во всех религиях — вырождалось, оставалась лишь оболочка без содержания, и люди, осмелившиеся будить умы, сонно дремлющие в своем буржуазно-сереньком материальном благополучии, и напоминать о христианском образе мышления и жизни — были беспокойны и даже вредны. Кросби писал Толстому, ища поддержки, и в конце декабря 1895 года Толстой написал Кросби длинное письмо, превратившееся в целую статью, с изложением того, как он понимает учение Христа, и о непротивлении злу насилием.

«Нет такого нравственного правила, — писал Толстой, — против которого нельзя было бы придумать такого положения, при котором трудно решить, что нравственнее: отступить от правила или исполнить его. То же с вопросом непротивления злу насилием: люди знают, что это дурно; но им так хочется продолжать жить насилием, что они все силы своего ума употребляют не на уяснение всего того зла, которое произвело и производит признание за человеком права насилия над другим, а на то, чтобы защитить это право».[14])

Существовало ошибочное мнение, что Толстой оказывал моральное давление на людей, уговаривая их жить так или иначе: раздавать имущество нищим, не жениться

и не выходить замуж, не есть мяса, не идти на военную службу. Многие, издевавшиеся над взглядами Толстого, говорили, что Толстой учит «непротивлению злу», умышленно опуская слово «насилием», что совершенно искажало смысл его учения.

На самом же деле Толстой, так тонко изучивший психологию человека и по опыту знавший, с каким трудом человек достигает каждой новой ступени в своем духовном развитии, боялся слишком горячих, необдуманных поступков, особенно молодых, которые, не рассчитавши своих сил, стараясь перескочить несколько ступеней сразу, падали и больно расшибались. Толстой удерживал их.

Из Голландии единомышленник Толстого обратился к нему с вопросом, что посоветовать юноше, которого призвали на военную службу.

«Я нахожу бесполезным и часто даже вредным, — ответил ему Толстой в длинном письме, — проповедывать известные поступки или воздержание от поступков, как отказ от военной службы и т. п. Нужно, чтобы все действия происходили не из желания следовать известным правилам, но из совершенной невозможности действовать иначе. И потому, когда я нахожусь в положении, в котором вы очутились перед этим молодым человеком, я всегда советую делать всё то, что от них требуют, — поступать на службу, служить, присягать и т. д., — если только это им нравственно возможно; ни от чего не воздерживаться, пока это не станет столь же нравственно невозможным, как невозможно человеку поднять гору или подняться на воздух. Я всегда говорю им: если вы хотите отказаться от военной службы и перенести все последствия этого отказа, старайтесь дойти до той степени уверенности и ясности, чтобы вам стало столь же невозможно присягать и делать ружейные приемы, как невозможно для вас задушить ребенка или сделать что-нибудь подобное. Но если это для вас возможно, то делайте это, потому что лучше, чтобы стал лишний солдат, чем лишний лицемер или отступник учения, что случается с теми, кто предпринимает дела свыше своих сил».[15])

В школе живописи и ваяния Таня познакомилась с очень милым, талантливым молодым человеком, Л. А. Сулержицким — Сулером, как его звали товарищи. Сулер был общим любимцем, он вносил веселье всюду, где бы он ни появлялся. Казалось, что у Сулера было столько талантов, что он сам не знал, что с ними делать. Он был и художник, и актер, и интересный собеседник, и чудесно пел заливчатым тенором малороссийские и цыганские песни. И Сулеру, и окружающим его бывало весело, потому что все его любили, и он любил всех.

Сулера призвали на военную службу. Но Сулер отказался, и его посадили в тюрьму. Все друзья Сулера, в том числе и сам Толстой, были, и не без основания, обеспокоены его поступком. В тюрьме Сулер дошел до состояния полного расстройства, и начальство перевело его в Московский военный госпиталь, на испытание. Толстой виделся с ним и уговаривал его надеть мундир. И когда Сулер согласился отбывать воинскую повинность во флоте и ушел в дальнее плавание, ни Толстой, ни Чертков, ни кто-либо другой из друзей Сулера, не осудили его за слабость, но особенно ласково и бережно отнеслись к нему. Толстой писал Сулеру: «Продолжайте так же любовно жить, как вы жили с окружающими, и смиренно, правдиво, — и всё будет хорошо». И к этому же письму приписка: «Несравненно больше люблю вас после перенесенного вами страдания».

В декабре Толстой задумал написать новую пьесу — «И свет во тьме светит». Драму эту он начал писать с увлечением, бредил ею по ночам, почти всю набросал, но она не пошла и он, не закончив, бросил ее. В ней было слишком много предвзятого, личного, своего — попытка изложения своих взглядов, отчасти своей собственной семейной драмы, и это не удалось.

Может быть, мысль писать драму пришла в голову Толстого вследствие успеха «Власти тьмы», которая была впервые разрешена к постановке императором Николаем II, и Толстой еще раз мог убедиться в том, какое сильное впечатление производит драматическая форма творчества.

Первым поставил «Власть тьмы» московский народный театр «Скоморох». В октябре и ноябре 1895 года драма была исполнена на сценах императорских театров, Александринского в Петербурге и Малого в Москве. В обоих случаях режиссеры, декораторы и костюмеры отнеслись крайне добросовестно к своим задачам: ездили в Ясную Поляну, зарисовывали избы, скупали бабьи наряды, делали фотографические снимки и учились правильному произношению народных слов.

Во всех театрах «Власть тьмы» прошла с громадным успехом. 29 ноября, после спектакля в Малом театре, толпа студентов собралась во дворе Хамовнического дома — и когда Толстой, которого не было, пришел домой, студенты вошли за ним в переднюю. Один из студентов вскочил на стул и в горячей речи благодарил Толстого за «Власть тьмы». Они устроили Толстому бурную овацию, целовали его руки, выражая ему свой восторг. Если бы Толстой мог, он убежал бы — все эти выражения восторга, овации, были ему невыносимы. Он взволновался так, что в первые минуты не мог произнести ни слова.

В то время среди студенчества шло непрекращающееся брожение против правительства, демонстрации, сходки. В Толстом они видели не только знаменитого писателя, но и революционера. Может быть, это была одна из причин, почему Толстому были тяжелы эти выражения восторга, эти овации. Революционная молодежь видела в Толстом союзника, как борца против ненавистного им царского правительства, угнетавшего рабочий народ. Путь мирный, через веру в Бога, постепенное совершенствование человечества, путь неподчинения насилию, которым шли духоборы — люди умышленно игнорировали, и не желали видеть, какая пропасть отделяла Толстого от революционеров.

---

1) Дневники С. А. Толстой. 1891-1897. Смерть Ванички, стр. 203.
2) Гусев. Летопись... стр. 513.
3) Там же, стр. 519.
4) Бирюков. Биография, т. III, стр. 418-420.

[5]) Там же, стр. 433.
[6]) Танеев, С. И. Дневник. Личность, творчество и документы его жизни. Музсектор, 1925, т. 2, стр. 62.
[7]) Чехов, А. П. Письма. Госизд. IV. т. 16, стр. 271, 273.
[8]) Бирюков. Духоборцы. Изд. Посредника, 1908 г.
[9]) Там же.
[10]) Там же.
[11]) Толстой и о Толстом. Изд. Толст. Музея. Вып. 2, стр 63.
[12]) Гусев. Летопись... стр. 513.
[13]) Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1914 г., т. 22, стр. 176.
[14]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 447.
[15]) Там же, стр. 439.

ГЛАВА L

«ПОМОГИ, ОТЕЦ!»

В мае 1896 года Толстые — Софья Андреевна, Миша и Саша — поехали в Москву на коронацию. Москва была неузнаваема: высшие правительственные и военные чины, придворные, весь петербургский «свет» — всё это переехало в Москву. Дома, квартиры, гостиницы — были переполнены. Некоторые москвичи перебирались в одну комнату или к знакомым, и сдавали свои особняки на время коронации приезжим за большие деньги. На улицах появились военные в гвардейских мундирах, город украсился трехцветными флагами, полиция усилила посты конными и пешими городовыми, около Красного Крыльца в Кремле были возведены трибуны для публики, откуда видна была вся церемония. Толпы народа приветствовали молодого царя, когда он проезжал по улицам Москвы. Весна стояла ранняя, солнечная.

Черным пятном легло на всё это торжество то, что случилось в этот день на Ходынском поле. Там предполагалось устроить народное гулянье с раздачей народу царских подарков — узелков, в которых, кроме гостинцев, была кружка с царским гербом и инициалами, и выигрышный билет.

Десятки тысяч людей заполнили Ходынское Поле. Никем не организованная, беспорядочная толпа бросилась к павильонам, где сначала раздавались, а потом швырялись в толпу подарки. Люди обезумели. Они лезли друг на друга, падали, задние напирали на передних, пробиваясь вперед и топча под ногами полуживых и мертвых. Они уже не думали о подарках, а лишь о спасении своих жизней. Некоторые из них спихивались толпой в канавы, на них наваливались всё новые и новые тела... Ругань, крики, стоны...

Говорили, что погибло около 3.000... омрачилось торжество коронации. Как в народе, так и в высших сферах говорили о «плохом предзнаменовании», о том, что царствование императора Николая II кончится трагично.

Оба младших, Андрюша и Миша, учиться не хотели. Андрюша совсем бросил гимназию и отбывал воинскую повинность вольноопределяющимся в Твери. Мать делала всё, что она могла, чтобы дотянуть Мишу хотя бы до экзамена зрелости.

Не меньше матери огорчался отец. То, кончит ли Миша лицей или нет, было не так важно. Отца огорчало отсутствие выдержки, дисциплины в его сыновьях, моральная распущенность, внутренняя пустота их жизни. Но никто не был в этом виноват. Так сложилась жизнь. Могли ли юноши — Андрюше было 18, а Мише 16 лет — пойти за отцом? Они остро чувствовали разлад в семье — два мировоззрения — и, не имея твердого отцовского руководства, они шли по линии наименьшего сопротивления, давая волю своим страстным, увлекающимся натурам, унаследованным от обоих родителей. Старшие дети выросли в нормальных условиях строгой дисциплины, порядка, когда отец занимался их воспитанием. Младшим было трудно, со всех сторон их влекли соблазны: богатые, ничего не делающие товарищи, кутежи, ночные поездки на лихачах за город к цыганам. Мальчики не знали счета деньгам, особенно Андрей. Он прокучивал все деньги у цыган, а на следующий день ходил мрачный, грубил матери и снова выпрашивал у нее денег.

Отец страдал. Мысли о мальчиках порой так угнетали его, что он не мог работать.

«Андрюшу целую, — писал он. — Помоги ему Бог найти путь, приближающий его к Нему. Пусть, главное, жалеет и блюдет свою душу бессмертную, Божескую, а не туманит ее».[1])

Но как он мог помочь им? Он знал, что безделье, вольные, незаработанные ими деньги, были для них гибелью. Трудовая дисциплина, необходимость работать — было единственное, что могло удержать их от всех тех

соблазнов, через которые он прошел сам — кутежи, увлечение крестьянскими девушками, цыганками.

Миша застрял в 6-м классе гимназии и мать перевела его в лицей, но она с ужасом видела, что в лицее Миша не занимался, пропускал классы, не готовил уроков. Это было тем более обидно, что Миша выделялся своим умом, способностями и музыкальностью. Он прекрасно, для своих лет, играл на скрипке. Его учитель, с которым он исполнял уже сонаты Бетховена и Моцарта, предсказывал ему блестящую будущность, но Миша предпочитал подбирать по слуху на фортепьяно аккорды к цыганским романсам, которые он вполголоса напевал верным, приглушенным тенорком в те редкие вечера, когда мать заставляла его сидеть дома.

В конце октября Толстой написал сыну длинное письмо.

«Главный и основной соблазн, против которого предостерегает учение Христа, состоит в том, чтобы верить, что счастье состоит в удовлетворении похотей своей личности. Личность, животная личность всегда будет искать удовлетворения своих похотей, но соблазн состоит в том, чтобы верить, что это удовлетворение доставит благо. И поэтому огромная разница в том, чтобы, чувствуя стремление к похоти, верить, что удовлетворение ее доставит благо, и потому усиливать похоть; или напротив, знать, что это удовлетворение удалит от истинного блага, и потому ослаблять стремление».

В том же письме отец предостерегает Мишу от увлечения крестьянской девушкой:

«Для того, чтобы влюбление было чисто и высоко, надо, чтобы оба влюбленные были на высокой, одинаковой степени духовного развития; кроме того, влюбление имеет благотворное влияние тогда, когда для достижения взаимности от предмета любви нужны большие усилия, подвиги со стороны влюбленного, а не тогда, как это в твоем случае, когда для достижения взаимности ничего не нужно, кроме гармонии и пряников и для уравнения себя с предметом любви нужно не под-

нятие себя до него, а принижение себя. Такое влюбление есть не что иное, как скотская похоть, усиленная прелестью первобытности жизни народа»...[2])

«Миша получил твое письмо, — писала Софья Андреевна, — Андрюша и он читали его, когда я вошла к ним. Андрюша искал старательно в письме, с чем бы не согласиться, и помнил одно, чтоб ему не унизиться согласием со всем. Миша этим немного заразился... Когда ушел Андрюша, и я попыталась с письмом в руках растолковать, разъяснить Мише твои мысли, то он уже иначе начал говорить и иначе на всё смотреть. Вообще он довольно мягкий материал, и если не покладать рук в его воспитании, то, влияя на него, можно сделать из него порядочного малого. А сегодня учитель его скрипичный говорит, что чем больше он его учит, тем больше убеждается, что у Миши большой талант музыкальный. Жаль будет, если Миша засорит и зароет все свои способности, — надо и надо помочь ему».

Не только младшие сыновья волновали родителей. Лёва хворал, жил в Швеции и лечился у знаменитого врача Вестерлунда. Илья всё больше и больше запутывался в материальных заботах. Имение не приносило достаточно дохода, чтобы прожить. Семья прибавлялась — у него уже было трое детей — Анна, Миша и младший Андрей, который постоянно болел, кашлял и не поправлялся.[3])

Несмотря на строгие принципы, руководившие их жизнью и их безграничную преданность отцу, обе старшие дочери томились потребностью личного счастья, желанием иметь свои семьи. Таня, кроме служения отцу, заполняла жизнь искусством, живописью, Маша — изучением медицины и помощью окружающим ее людям.

Большой радостью для всей семьи была женитьба Сергея на Мане Рачинской, дочери директора знаменитой сельскохозяйственной Петровской Академии,

Трудно было себе представить застенчивого, скрытного, стыдящегося выражения всяких чувств, некрасивого Сережу, ухаживающим за хорошенькой, привлекательной девушкой, Маней Рачинской. Танина подруга

была прелестна, умна, мила, образована (она окончила университет в Англии).

В апреле 1895 года Толстой писал жене:

«Я после завтрака вошел в Танину комнату. Там была Маня. Я думал, что она одевается и хотел затворить дверь. — Нет, вы не мешаете, — сказала она, и тут же выступил от стены Сережа сконфуженный, тоже заявляя, что я не мешаю. Они оба были так сконфужены, что я был уверен, что свершилось, но, к сожалению, когда я вернулся после велосипеда, Сережа сказал, что она едет нынче, и когда я спросил о том, что у них было с Маней, он сказал: «Щекотливый разговор». Она нынче уехала в Англию».[4])

Но Маня скоро вернулась и 10 июля свадьба была торжественно отпразднована в Петровско-Разумовском, под Москвой.

В октябре 1895 года между Толстыми чуть было не испортились отношения. Неустанной лаской и заботой Толстой старался удержать религиозный подъем, пробудившийся в жене со смертью Ванички. Он внимательно следил за ней. Со свойственным ему оптимизмом он надеялся, что она заполнит духовными, внутренними интересами, любовью к детям, к нему, к людям вообще, пустоту, оставшуюся после смерти Ванички. Он готов был на какие угодно жертвы, лишь бы сохранить с нею любовные и мирные отношения. Письмо жены от 12 октября вероятно огорчило и может быть в первые минуты возмутило его, но он подавил в себе эти недобрые чувства.

«Зачем ты в дневниках своих всегда, упоминая мое имя, относишься ко мне так злобно, — писала мужу Софья Андреевна. — Зачем ты хочешь, чтоб все будущие поколения и внуки наши поносили имя мое, как л е г к о м ы с л е н н о й, з л о й и делающей тебя несчастным — женой. Ведь если это прибавит тебе славы, что ты был ж е р т в о й, то насколько же это погубит меня! Если б ты меня просто бранил или даже бил за всё то, что я делаю по-твоему дурно, ведь и то мне было бы несравненно легче; — то прошло бы, — а это всё

останется... Ты обещал мне вычеркнуть те злые слова, относящиеся ко мне в твоих дневниках. Но ты этого не сделал; напротив. Или ты в самом деле боишься, что посмертная слава твоя будет меньше, если ты не выставишь меня мучительницей, а себя мучеником, несущим крест в лице жены.

Прости меня, если я сделала подлость и прочла твой дневник. Меня на это натолкнула случайность. Я убирала твою комнату и, обтирая твой письменный стол от пыли и паутины снизу, — я смахнула ключ. Соблазн заглянуть в твою душу был так велик, что я это и сделала. И вот я натолкнулась, приблизительно, на такие слова: «Приехала С. из Москвы. Вторглась в разговор с Боль, выставила себя. Она стала еще легкомысленней после смерти В. Надо нести крест до конца. Помоги Господи», и т. д...

Когда нас с тобой не будет в живых, то это легкомыслие будут толковать кто как захочет, и всякий бросит грязью в жену твою, благо ты всякого вызываешь на это своими словами.

И всё это за то, что я всю жизнь жила только для тебя и детей твоих, что любила тебя одного больше всех на свете (кроме Ванички), что легкомысленно (как ты это рассказываешь будущим поколениям) я себя не вела и что умру душой и телом только твоей женой...

... если тебе не очень трудно это сделать, — выкинь из всех дневников своих всё злобное против меня. Ведь это будет только по-христиански. Любить меня я не могу тебя просить, но пощадить мое имя, если не трудно, то сделай это, впрочем как хочешь и это. Еще раз пытаюсь обратиться к твоему сердцу. Пишу это с болью и слезами. Говорить никогда не буду в состоянии. Прощай. Всякий раз, как уезжаю, невольно думаю: увидимся ли.

Прости, если можешь.

С. Толстая».[5])

Вероятно, сама Софья Андреевна не ожидала того действия, которое произвело ее письмо.

«Все эти дни видел, что что-то мучает Соню, — записал Толстой в дневнике 13 октября 1895 года. — Нынче утром объяснилось. Она прочла мои злые слова о ней, написанные в минуту раздражения. Я как-то раздражился и тотчас же написал и забыл. В глубине души чувствовал, что что-то сделал дурное. И вот она прочла. И бедная, ужасно страдала и, милая, вместо озлобления, написала мне это письмо. Никогда еще я не чувствовал себя столь виноватым и умиленным. Ах, если бы это еще больше сблизило нас. Если бы она освободилась от веры в пустяки и поверила бы в свою душу, свой разум. Пересматривая дневник я нашел место — их было несколько — *в которых я отрекаюсь от тех злых слов, которые я писал про нее. — Слова эти писаны в минуты раздражения. — Теперь повторяю еще раз для всех, кому попадутся эти дневники.* — Я часто раздражался на нее за ее скорый необдуманный нрав, но, как говорил Фет, у каждого мужа та жена, которая нужна для него. Она, — я уже вижу как, была та жена, которая была нужна для меня. — Она была идеальная жена в языческом смысле — верности, семейности, самоотверженности, любви семейной, языческой и в ней лежит возможность христианского друга. Я увидал это после смерти Ванички. Проявится ли он в ней. Помоги, Отец. Нынешнее событие мне прямо радостно. Она увидала и увидит силу любви — ее любви на меня».[6])

... «Все эти два дня перечитываю дневники с тем, чтобы уничтожить, что там неправда, и нашел только одно место, и то далеко не такое гадкое, как то, которое огорчило тебя», — писал он ей 3 ноября.[7])

Никто из семьи, кроме Маши, не знал о том, что произошло. Маша была глубоко возмущена и мысль, что история в будущем ложно осветит жизнь отца с матерью, благодаря уничтожению документов, однобокому освещению отношений родителей, ее страшно мучила. Сам же Толстой об этом не думал. Он обвинил одного себя в том, что допустил по отношению к ней недобрые

чувства и продолжал в письмах поддерживать ее духовно.

«Чтобы не волноваться, надо молиться, — писал Толстой жене 4 октября 1895 г. в Тверь из Ясной Поляны, где жил с Машей. — Ты знаешь это, потому что сама теперь молишься. Только молиться я предпочитаю не по книжке, не чужими словами, а своими. Молиться я называю обдумывать положение не в виду каких-нибудь мирских событий, а в виду Бога и смерти, т. е. перехода к Нему или в другую обитель Его. Меня это очень успокаивает и утверждает, когда я живо пойму и сознаю то, что я здесь только на время, и для исполнения какого-то нужного для меня дела. Если я здесь делаю по силам своим это дело, то что же может со мной случиться неприятного. Ни здесь, ни там. Знаю я, что для тебя главное горе — разлука с Ваничкой. Но и тут всё то же спасенье и утешенье: сближение с Богом, — а через Бога — с ним. Оттого-то и обращаемся мы в горе потерь, смертей — к Богу, что чувствуем, что соединение с ними — только через Него».[8])

«Хотел тебе написать, милый друг, — писал он 25 октября 1895 г. из Ясной Поляны, — в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня, 25-го, пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость, и совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и своего с тобой уменьшают этот свет. Я всё надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный».[9])

Она немедленно ответила ему на это письмо:

«Те облачка, которые, как тебе кажутся, еще затемняют иногда наши хорошие отношения — совсем не страшны. Они чисто внешние, — результат жизни, привычек, лень их изменить, слабость, — но совсем не вытекают из внутренних причин. Внутреннее, самая основа наших отношений остается серьезная, твердая и согласная. Мы оба знаем, что хорошо и что дурно, и мы оба любим друг друга. Слава Богу и за это! И оба мы смотрим на одну точку, — на выходную дверь из этой жизни, не боимся ее, идем вместе, и стремимся к одной цели — божеской. Какими бы путями мы ни шли, это всё равно. — Радуюсь, что вы все здоровы и живете хорошо. Мне немножко завидно, что у вас нет обойщиков, типографщиков, гувернанток, экипажного шума, городовых и траты денег с утра до вечера. Трудно в этом хаосе оставаться в созерцании Бога и мирном, молитвенном настроении. Буду и так стараться выбиваться из земной коры, чтобы не погрязнуть совсем. А трудно!»[10])

Софье Андреевне было действительно трудно пробиваться в той земной коре, в которую зажала ее созданная ею самой жизнь.

Зимой 1895 года у Толстых гостила Елизавета Валерьяновна Оболенская, старшая дочь монахини Марии Николаевны Толстой. Софья Андреевна очень любила всех трех сестер и семьи часто видались, и одно время мальчики Оболенские, особенно старший, Колаша, жили в доме Толстых. Из трех сестер Лизанька была самая рассудительная и спокойная; Варенька — Варвара Валериановна Нагорнова — была общей любимицей. Люди невольно начинали улыбаться, когда Варенька подходила к ним, столько ласки и доброты светились в ее черных, похожих на материнские, глазах. Ее муж Нагорнов был человек небогатый, служил, и когда он умер, Вареньке, у которой была большая семья, приходилось очень трудно. Но она не унывала, как-то существовала и воспитывала своих детей. Про Вареньку Толстые любили рассказывать анекдоты об ее рассеянности. Сидит Варенька на званом обеде рядом со старым, в орденах, важным генералом. Зачесалась коленка у Вареньки; под

столом, незаметно, Варенька ее почесала, но облегчения не почувствовала. И вдруг с ужасом видит она, как побагровел сосед ее по столу, генерал, и смотрит на нее выпученными глазами. Оказалось, что почесывала она не свою, а генеральскую коленку.

Софья Андреевна рассказывала, что когда Толстой получил гонорар за «Войну и мир», он обеим племянницам подарил денежные билеты по 5.000 рублей. Приехала Софья Андреевна к Вареньке, видит разбитое окно заклеено странной какой-то бумагой. Вгляделась — 5.000-ый билет.

Третья дочь, Леночка, была гораздо моложе своих сестер. Она никогда не была счастлива. Отцом ее был швед, с которым Марья Николаевна познакомилась заграницей. Говорили, что он был прекрасный, чуткий человек. От него, вне брака, родилась Леночка, воспитанная заграницей. Марью Николаевну так мучил ее грех, что, вернувшись в Россию, она постриглась в монастырь.

Обе старшие сестры были очень привязаны к своему дяде, особенно Лизанька. Своим присутствием в доме ей хотелось помочь Софье Андреевне, но, прожив несколько дней в Хамовниках, она переехала к друзьям.

«Толстые очень милы, ласковы и родственны, — писала она своей старшей дочери М. Л. Маклаковой, — но они живут такой шумной, не семейной, беспокойной жизнью; с утра и до пяти часов никого дома нет; к обеду 2-3 человека чужих; вечером или опять никого дома нет или опять чужие. Таня много занята своей школой, тетя Соня подверглась какой-то большой и несимпатичной для всех нас перемене. Она стала беспокойна, никогда не бывает дома, стала наряжаться, то-есть, скорее, заниматься своей наружностью, стала ездить в театры и концерты, вообще производит впечатление человека, который страшно спешит жить и не теряет ни одной минуты. Она объясняет это тем, что после смерти Ванички не может вести прежнего образа жизни, и еще вдруг пробудившейся любовью к музыке. Но нам всем кажется, что это просто страх перед старостью и желание еще казаться не старухой, а женщиной. Я думаю, что это

чисто физиологический процесс. Это женщина, в которой физика всегда брала перевес перед душой Я бы отнеслась к ней строже, если бы со всем этим она не была жалка; она сама это сознает и говорит: «Я живу как-то беспорядочно и беспокойно, как потерянная, но не могу иначе». В другой раз я нарочно заговорила с ней про Ваничку, чтобы указать ей, как мелко и ничтожно всё то, чем теперь полна ее жизнь, в сравнении с тем горем, и раскаялась, что это сделала: она страшно разрыдалась и просила никогда с ней о Ваничке не говорить. Дочери с ней очень хороши; им, в особенности умной и чуткой Тане, очень тяжело видеть мать в таком настроении, но они с ней очень мягки и деликатны; конечно, немного сверху вниз, как с ребенком, но трудно требовать другого. Лев Николаевич кроток и мудр; как его ни осуждай, а всё-таки в этом человеке великий ум и дух. Машу я мало видала, но, сколько видела, она добра и кротка»...[11])

Та перемена в Софье Андреевне, которую все в доме замечали, не нравилась в семье Толстых. Никто не осуждал ее, все жалели, но незаметно она теряла уважение детей, которое они, несмотря на взрывы грубости и непослушания, всегда чувствовали к матери. Да казалось, и не за что было осуждать. Разве было что-нибудь плохое в том, что мать увлекалась музыкой, ходила по концертам, приглашала в дом музыкантов. Разве что-нибудь было предосудительного в том, что Софья Андреевна начала учиться музыке и что она всего охотнее проводила время с милым, талантливым композитором и пианистом С. И. Танеевым?

Ничего ни плохого, ни предосудительного в поведении матери не было, но и в любви ее к музыке и к Танееву чувствовалась неестественная наигранность, фальшь и от этого страдала вся семья Толстых, от мала до велика.

Заглянем на минуту в душу 12-ти летней Саши, наивной, мало развитой девочки, некрасивой, неуклюжей и болезненно застенчивой, с ярко выраженным, как англичане говорят, inferiority complex'ом, девочки заброшен-

ной почти всецело на попечение гувернанток и старой няни.

Когда вечером в Хамовническом доме бывало много гостей, чай подавался в парадных комнатах наверху, если же приходило несколько человек своих, чай накрывался в нижней столовой, где семья обычно завтракала и обедала. Это была большая комната с паркетным полом, громадным буфетом у стены, простыми дубовыми стульями, обклеенная темными обоями, с часами кукушкой.

Кончив уроки, Саша бежала в столовую, в надежде ухватить где-нибудь яблоко, конфету, вообще что-нибудь вкусное. Саша уже знала, что в те дни, когда мама уезжала днем в Охотный Ряд и из саней выгружались бесконечные рогожные, так вкусно пахнувшие кулечки и ленточками перевязанные коробочки от Трамблэ — что будут гости. И действительно, в нижней столовой был накрыт стол белой скатертью и на серебряном подносе пыхтел и плевался большой, с перехватом в середине, самовар, а на столе... чего только не было... и варенья разные, и печенья, фрукты, конфекты, бутерброды с анчоусами и крутыми яйцами и зернистой икрой.

— Гости сегодня? — спрашивала Саша экономку Дунечку, которая в вазочке несла обсыпанную сахаром смокву.

— А я почем знаю, графиня мне не докладует... музыкант этот толстый, должно быть... Не хватай смокву! А это кто сделал? Небось ты икрой скатерть запачкала! Уходи отсюда!

— А сладкий пирожок можно?

— Бери и уходи отсюда... грех один с вами...

К девяти часам, потирая зазябшие на морозе руки, приходил Танеев. Красное, блестящее, веселое лицо его сияло добродушием.

— Саша, пора спать, — говорила мать. — Иди, иди, слышишь?

Уходя, Саша сердито косилась на Танеева. «Мне даже конфекту не дали; а неужели всё это угощение для него!» Не спалось. Няня очень громко, с присвистом,

храпела. Почему-то раздражало присутствие этого человека в доме, его захлебывающийся на высоких нотах смех... и душу наполняла горькая обида... Неизвестно на кого...

Танеев был очень мил с Сашей. Превесело было играть с ним в воланы, вместе с ним смеяться над его неуклюжестью. Громадным удовольствием было слушать его игру, особенно когда он играл Шопена или Моцарта — от музыки его собственного сочинения клонило ко сну. Саша охотно ходила бы с матерью в концерты; музыка, доступная ей, переносила ее в воображаемый прекрасный мир чудесной фантазии и счастья, но всё это было отравлено. Чем? Она не сумела бы ответить. Только с годами чувство враждебности к матери выросло и приняло более определенные формы, бороться с этим чувством было трудно, оно мучило ее, отравляло ей ее отроческие и юношеские годы. С годами для Саши хождение по концертам превратилось в тягость, особенно когда кресла в шестом ряду, абонированные матерью на сезон, оказались рядом с Танеевым, и когда своими замечаниями во время исполнения сложной симфонии мать мешала, как Саше казалось, Танееву слушать музыку по-серьезному, по-ученому, не так, как слушала мама и обыкновенная публика.

Но Саша старалась не останавливаться на этих сложных, непонятных ей ощущениях. У нее были свои увлечения — главное — каток, который устраивался в саду Хамовнического дома. Саша с мальчишками артельщика поливала его сама, возила воду из колодца в тяжелой кадке на санках. Катались на коньках все, лучше всех Миша. Он крутился волчком, пистолетом, вытянув одну ногу спускался с ледяной горы, с невероятной ловкостью делал испанский прыжок, и Саша часами практиковалась, стараясь подражать Мише.

Софья Андреевна была нездорова и лечилась у профессора Снегирева. Ничего, повидимому, серьезного — недомогание, связанное с возрастом, и усилившее ее нервно-психическое состояние. Одиночество, углубление в себя — то, чем жил ее муж, ей становилось всё более и

более невыносимо. Ей хотелось движения, музыки, света, людей.

«Что тебе сказать, голубчик, о своей внутренней жизни? — писала она мужу в марте 1896 года из Москвы. — Не знаю и не смею признаться, потому что не хороша та суета, к которой я продолжаю стремиться, чтобы заглушить всё, что меня теперь в жизни мучает и что до сих пор больно. Пока говела, было лучше: а теперь опять или ищу развлечения и всяких ощущений — или чувствую наплыв тоски и нервности и тогда бегу куда-нибудь — вон из дому или вон из себя. Последнее время дела, слава Богу, всякого много. — Хотела написать Тане, и вот написала опять тебе. Все равно, я ее тоже люблю и помню, и целую крепко. Очень рада, если вам хорошо, но я уж не люблю тишины — увы! А еще меньше люблю одиночество».[12])

И снова Толстой внимательно, как всегда, отнесся к письму жены и сейчас же отвечает ей:

«...Хотел бы тебе сказать, что твое желанье забыться, хотя и очень естественно, — не прочно; что если забываешься, то только отдаляешь решение вопроса, а вопрос остается тот же, и всё так же необходимо решить его, не на этом свете, так в будущем, т.е. после плотской смерти... Решить вопрос жизни и смерти своей и близких надо неизбежно, и от этого не уйдешь. Хотел всё это сказать тебе, да не говорю потому, что надо всё это пережить и придти к этому. Одно скажу, что удивительно хорошо бывает, когда ясно не то, что поймешь, а почувствуешь, что жизнь не ограничивается этой, а бесконечна. Так сейчас изменяется оценка всех вещей и чувств, точно из тесной тюрьмы выйдешь на свет Божий, на настоящий».[13])

В середине мая 1896 года сын Лев, лечившийся в Швеции у знаменитого шведского профессора Вестерлунда, женился на его дочери Доре, и Таня и Миша поехали в Швецию на свадьбу. Сначала семья Толстых не знала, радоваться ли или огорчаться, но и Таня и Миша были в восторге и от Швеции, и от своей 17-ти летней восторженной, очень любящей Льва бель-сёр.

Насколько брак Льва на иностранке, не говорившей по-русски, с которой в начале Толстые объяснялись только по-английски, был удачен, настолько женитьба Сергея оказалась большим для всех огорчением. Никто не знал настоящей причины, почему неожиданно Маня, которую так ласково приняли в семью, которую Сергей так любил, неожиданно его бросила. Кругом делалось, как всегда, много предположений, обвиняли Маню, гадко сплетничали. Сергей молчал. Он уединился в свой маленький домик в Никольском-Вяземском, играл на фортепиано, сочинял, и в музыке изливал свое горе. У Мани родился сын Сергей. После родов она вскоре заболела туберкулезом и умерла.

Лето 1896 года во флигеле Ясно-Полянского дома жил Танеев со своей старой нянюшкой — старушкой с больными ногами, сморщенным, покрытым сплошь, с маленькими просветами, веснушками лицом. Танеев принимал участие во всем — прогулках, игре в крокет, вечером играл с Толстым в шахматы или услаждал всех первоклассной игрой. Вероятно, у него не было техники профессионального пианиста, но знание музыки, тонкость понимания, передача тех или иных музыкальных произведений — были поразительны. Стоило ему сесть за фортепиано, взять первый аккорд, как он совершенно преображался. Он никого и ничего не видел вокруг себя — он весь погружался в звуки, жил ими, увлекая всех вокруг себя. Особенно хорошо он играл Бетховена и свою любимую «сонату-пассонату», как говорила его нянюшка. И слушая его, трудно было думать, что только что этот человек дико и как-то бессмысленно хохотал во всю глотку, когда Саша нарочно запускала волан в его толстое брюхо.

Танеев ни одной минуты не подозревал об особом пристрастии к нему Софьи Андреевны. То внимание, которое она оказывала ему, он принимал как должное. Он привык к нему. Друзья его — три старые девы и их брат, старый холостяк, Масловы, окружали его такой же заботой. Танеев был настолько порядочный и добрый человек, что он немедленно порвал бы всякие сношения

с Софьей Андреевной, если бы ему могло прийти в голову, что его присутствие тяжело Толстому.

Летом 1896 года в Ясной Поляне гостила Лизанька Оболенская. 26 сентября она писала дочери своей Маше: «Последний день моего пребывания в Ясной приехала тетя Соня. Молода, весела, нарядна, красива. В первый раз, что она была мне не очень приятна. Ее странное отношение к Танееву (говорю: странное, потому что не знаю, как назвать это чувство у 52-х летней женщины) зашло так далеко, что Лев Николаевич, наконец, не выдержал и стал делать ей сцены: ревности, по-нашему, просто обиды, оскорбления и негодования. Тогда она стала бегать на Козловку будто бы кидаться под рельсы, пропадала целую ночь в саду, вообще скандалила страшно и измучила их вконец. Таня уехала к Олсуфьевым, а Маша совсем заболела от вечного напряжения нерв. Я понимаю, что нельзя уважать такой матери. Всё это было не теперь, а летом, в августе, после отъезда из Ясной этого «мешка со звуками», как я его называю. С нее всё, как с гуся вода; попрежнему весела и бодра, абонировалась на все концерты и знать ничего не хочет!»[14])

Лизанька была права. О ревности не могло быть и речи. Но Толстому было обидно, горько, что его жена, мать взрослых детей, могла поставить себя в такое унизительное, неестественное положение.

В письме от 1 февраля 1897 года Толстой писал жене по поводу ее поездки в Петербург, где впервые давали оперу Танеева:

«Ты мне говорила, чтоб я был спокоен, потом сказала, что ты не поедешь на репетицию. Я долго не мог понять: какую репетицию. И никогда не думал об этом. И всё это больно. Неприятно, больше чем неприятно... мне было узнать, что несмотря на то, что ты столько времени рассчитывала, приготовлялась, когда ехать в Петербург, кончилось тем, что ты едешь именно тогда, когда не надо бы ехать... Знаю, что и ничего из того, что ты едешь теперь, не может выдти, но ты невольно играешь этим, сама себя возбуждаешь; возбуждает тебя и мое отношение к этому. И ты играешь этим. Мне же эта

игра, признаюсь, ужасно мучительна и унизительна и страшно нравственно утомительна. Ты скажешь, что ты не могла иначе устроить свою поездку. Но, если ты подумаешь и сама себя проанализируешь, то увидишь, что это неправда, во-первых, и нужды особенной нет для поездки, во-2-х, можно было ехать прежде и после — постом. Но ты сама невольно это делаешь. Ужасно больно и унизительно стыдно, что чуждый совсем и не нужный и ни в каком смысле не интересный человек (Танеев) руководит нашей жизнью, отравляет последние года или год нашей жизни, унизительно и мучительно, что надо справляться, когда, куда он едет, какие репетиции когда играет. Это ужасно, ужасно отвратительно и постыдно».[15])

Да и Софья Андреевна прекрасно чувствовала, что что-то не то происходит с ней и по-своему мучилась. 18 июля 1897 года она писала: «Знаю я это болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет Божий мир, когда это дурно, нельзя — а изменить нет сил».[16])

Изменить она не могла. А между тем Толстые с каждым годом всё больше и больше удалялись друг от друга.

---

1) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 530, стр. 491.
2) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. Изд. Academia, 1936 г., прим. к № 325, стр. 629.
Бирюков. Биография, т. III, стр. 438.
3) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 325, стр. 628.
4) Письма Л. Н. Толстого к жене. Изд. 1913 г., стр. 488.
5) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. № 319, стр. 617.
6) Там же, прим. к № 319, стр. 618.
7) Письма Л. Н. Толстого к жене. № 534, стр. 493.
8) Там же, № 530, стр. 491.
9) Там же, № 532, стр. 492.
10) С. А. Толстая. Письма... № 322, стр. 624.
11) Летописи. Кн. 12. Гос. Лит. Музей. Л. Н. Толстой. К 120 летию со дня рождения, т. 2, Москва, 1948.
12) С. А. Толстая. Письма... № 333, стр. 642.
13) Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 501.
14) Летописи. Кн. 12. Гос. Лит. Музей. Л. Н. Толстой. К 120 летию... том 2.
15) С. А. Толстая. Письма... Прим. к письму 348, стр. 669.
16) С. А. Толстая. Письма... Предисловие к письмам П. Попова, стр. XXII.

ГЛАВА LI

«НАГРАДА» И ДЕЛО СОВЕСТИ

«Я всё занят своей работой, — писал Толстой жене в сентябре месяце 1896 года, — всё бьюсь над одним местом о грехах: вчера как будто уяснил, нынче опять все искромсал и спутал. Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим, и думаю, что не ошибаюсь по спокойствию совести, когда этим занят и по неспокойствию, когда позволяю себе другое. Это большое благо, иметь дело, в котором не сомневаешься. Если кончу, то в *награду* (курсив мой. А. Т.) займусь тем, что начато и хочется».[1])

Толстой заканчивал статью «Как читать Евангелие» и «Письмо к либералам», которое было написано Толстым по поводу закрытия Комитета Грамотности, деятельность которого — распространение образования среди широких масс — развивалась параллельно с книгоиздательством «Посредника». Это письмо разрослось в целую статью.

Как обычно за последние годы, Толстой считал роскошью писание художественного, это было не дело, но он это любил и он позволял себе писать художественное после того, как было исполнено то, что он считал своим долгом. К исполнению этого долга поощрял его Чертков. Софья Андреевна, Стаховичи, Стасов и другие светские друзья его радовались, когда из-под пера Толстого выходило художественное. Особенно громко и восторженно выражал свое восхищение В. В. Стасов: «Великий Лев, маститый, недосягаемый», — кричал он. Один только обожающий Толстого Н. Н. Страхов всегда с одинаковым интересом принимал всё, что писал Толстой. Но Толстой лишился своего друга — тонкого, умного критика: Страхов умер в начале года в страшных мучениях от рака языка.

То, что Толстой называл «наградой» и над чем он не позволял себе работать, была повесть «Хаджи Мурат».

«Вчера иду я по передвоенному черноземному пару, — писал он в дневнике июля 18, когда он гостил в имении своего брата Сергея Николаевича. — Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли — ни одной зеленой травки; и вот на краю пыльной, серой дороги куст татарника (репья). Три отростка: один сломан и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего и один среди всего поля хоть как-нибудь да отстоял ее».[2])

Картины Кавказа с его величественной красотой, нравами его полудиких, самобытных и лихих племен, в покорении которых он сам участвовал, и образ столь привлекательного, могучего чеченца джигита, молодца Хаджи Мурата, пронеслись в его голове. Татарник трудно было сорвать: «мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, — писал Толстой в предисловии, — он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна»... «Какая, однако, энергия и сила жизни, подумал я вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».[3])

И он набросал историю Хаджи Мурата.

«За это время была поездка с Соней в монастырь, — писал он в дневнике. — Было очень хорошо, — написал о Хаджи Мурате очень плохо, начерно. Все продолжаю свою работу изложения веры».[4])

История Хаджи Мурата относится к началу 50-х годов. В конце декабря 1852 года, когда Толстой был на Кавказе, он упоминает в письме к брату Сергею о «первом лихаче (джигите) и молодце во всей Чечне»[5]), Хаджи Мурате. Во время завоевания Кавказа Хаджи Мурат, обуреваемый чувством мести к имаму (высшему руководителю духовной и общественной жизни народа) Шами-

лю, убившему его отца и братьев — передался русским. Хаджи Мурат заявил Наместнику Кавказа князю Воронцову, что он готов служить русским верой и правдой с одним условием — чтобы русские отбили его семью у Шамиля. Хаджи Мурат знал, что если сын его останется в плену, Шамиль или убьет его или выколет ему глаза.

Время шло. Ничего о семье не слышно было.

И Хаджи Мурат решил уйти от русских. Перебив стражу, он с пятью мюридами поскакал в горы. Сотня милиционеров настигла их, они были окружены, но Хаджи Мурат и его мюриды решили не сдаваться живыми. С смертельной раной в боку Хаджи Мурат еще сражался — «вылез из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом туловище и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался...»

В 1902 году Толстой получил письмо от некоего Карганова, сына полковника, под надзором которого находился Хаджи Мурат. Толстой немедленно написал ему письмо с рядом вопросов: «1) Жил ли Хаджи Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца? Устройство дома. 2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев? 3) В день, когда он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за плечами или без них? — Много бы хотелось спросить, но боюсь утруждать вас...»[6])

Но хотя Толстой до 1904 года периодически возвращался к «Хаджи Мурату», повесть, как он считал, осталась незаконченной.

Кроме статьи «Как читать Евангелие», “Carthago delenda est”, еще в конце сентября 1896 года Толстой начал статью «Что такое искусство».

Гостивший летом в Ясной Поляне С. И. Танеев часто и много играл. Толстой любил классическую музыку, особенно Шопена, Моцарта, Гайдна. Но когда Танеев играл современных композиторов, Толстой возмущался и ожесточенно спорил с Танеевым о музыке и искусстве вообще, доказывая, что оно только тогда настоящее, когда понятно и доступно всем. Возможно, что эти споры отчасти и побудили Толстого писать об искусстве. Когда весной этого же года он слушал в Большом Театре оперу «Зигфрид», он выскочил, как он писал брату Сергею, «оттуда, как бешеный». «Глупый балаган с претензией, притворством сплошным, и музыки никакой».[7]) Толстой быстро закончил статью вчерне и окончательно отделал ее в конце 1897 года.

Другие заботы отвлекали Толстого от писания. Гонения на духоборов усиливались.

Октября 31 Толстой писал жене: «Вчера получил от Черткова и Трегубова письма с описанием бедствий, претерпеваемых духоборами. Одного, они пишут, засекли до смерти в дисциплинарном батальоне, а семьи их, разоренные, вымирают, как они пишут, от бездомности, холода и голода. Они написали воззвание за помощью обществу, и я решил послать им из наших благотворительных денег 1000 рублей».[8])

В конце этого же письма Толстой приписывает: «Это известие было для меня главным событием за это время».

И. М. Трегубов познакомился с Толстым еще в 1891 году и с тех пор твердо следовал учению Толстого. Это был маленький человек с мелкими чертами лица, круглой бородкой, носил синие очки, был скромен, тих, несколько склонен к мистицизму, по поводу чего часто спорил с Толстым, и имел золотое сердце. Он принимал горячее участие в деле помощи духоборам и до конца жизни остался убежденным христианином. После революции он, по слухам, подвергся гонениям со стороны советского правительства, был сослан в один из лагерей на север России, где и умер, не перенеся тяжких лишений.

Чертков, Бирюков и Трегубов написали воззвание к обществу — «Помогите!», Толстой проредактировал его

и написал к нему предисловие. Воззвание было размножено и разослано влиятельным правительственным чиновникам, общественным деятелям, и напечатано за границей.

«Ведь Пилату и Ироду можно было не понимать значения того, за что был приведен к ним на суд возмущавший их область Галлилеянин, — писал Толстой; — они даже не удостоили узнать, в чем состоит Его учение... но ведь нам нельзя не знать ни самого учения, ни того, что оно не исчезло в продолжении 1800 лет и не исчезнет до тех пор, пока не осуществится... Среди духоборов, или скорее, христианского всемирного братства, как они теперь называют себя, происходит ведь не что-нибудь новое, а только произрастание того семени, которое, посеяно Христом 1800 лет тому назад, — воскресение самого Христа»...[9])

Со свойственным ему оптимизмом Толстой утверждал, что «Воскресение это ведь должно совершиться, и нельзя закрывать глаза на то, что оно совершается»...

Чем больше были гонения, тем сильнее разгорался духовный подъем среди духоборов. Жестокие мучения, которым они подвергались, не только не пугали их, но, наоборот, они, как первые христиане, с радостной стойкостью переносили страдания за веру Христову. В своей статье «Где брат твой?» Чертков рассказывает, как, отвечая начальнику, который спрашивал их, в чем они согласны подчиняться начальству и в чем нет, один из духоборов сказал: «Дайте нам в руку самый маленький камушек и велите бросить его в человека — мы не сможем этого сделать, но велите нам перенести с одного места на другое самый тяжелый камень, и мы это охотно сделаем».

В квартире Черткова был произведен обыск, за Толстым и всеми его последователями был установлен полицейский надзор, статья «Помогите!» вызвала ряд репрессий против толстовцев.

31 января 1897 г. Толстой с дочерью Таней уехал в имение Олсуфьевых, где в тишине, окруженный заботой и любовью своих друзей, отдыхал душой и писал. 5

февраля приехала в Никольское Софья Андреевна, а на следующий день Горбунов-Посадов привез Толстому грустную весть о немедленной ссылке В. Г. Черткова за границу, а Бирюкова в Курляндскую губернию. В тот же день Толстой, вместе с Софьей Андреевной, выехал в Петербург, чтобы проститься со своими друзьями.

Если бы поводом к поездке в Петербург не было расставание с друзьями, и тяжелое сознание исключительности своего положения, Толстому было бы приятно его пребывание в Петербурге, где он не был уже 15 лет. Он с интересом ходил по улицам сильно разросшегося города, с трудом узнавая некоторые улицы.

Весть о приезде Толстого молниеносно разнеслась по городу, друзья наперебой приглашали Толстого к себе, — все хотели с ним повидаться. А. Ф. Кони в своих воспоминаниях рассказывает о посещении Толстого:

«Часов в 11 вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу... Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я «мужика» в кабинет и мы пробеседовали целый час, при чем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир».[10])

Толстой заходил в Публичную Библиотеку, Художественным отделом которой заведывал В. В. Стасов. Навестил и своего старого товарища по перу Григоровича; зашел и в мастерскую Репина. В своих воспоминаниях последний описывает это посещение:

«В моей огромной мастерской собралась группа близких, преданных Льву Николаевичу. Посетители ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней Лев Николаевич прослезился и

много говорил о ней и восхищался. Все смотрели картину и ловили каждое его слово. После осмотра целой гурьбой по академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже порядочная толпа. Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к Большому проспекту, к конкам. Кондуктор конки, уже немолодой человек, при виде Льва Николаевича, как-то вдруг оторопел, широко раскрыл глаза и почти крикнул: «Ах, батюшки, да ведь это ж, братцы, Лев Николаевич Толстой!» — и благоговейно снял шапку».[11])

В дневнике наблюдений С. Петербургского Охранного Отделения описаны каждый шаг, и даже одежда Толстого.[12])

В первый день: «Граф Толстой был одет в некрытый дубленный с несколькими заплатами полушубок, подпоясанный серым кушаком, в брюках темного цвета на выпуск, на голове вязаная темносерая круглая шапка, и с палкой в руке».

В таком-то часу «Л. Толстой, Бирюков и помянутый мужчина отправились к Аничкову мосту, оттуда конно-железной дорогой поехали в Академию Художеств, причем граф Толстой сел на империал, а у Казанского Собора переместился внутрь вагона. Находившиеся в вагоне несколько студентов университета тотчас же подошли к нему и в разговоре стали усиленно просить его посетить их университетский акт, на что граф Толстой изъявил свое согласие; при этом один из студентов тут же поцеловал графу руку. После Академии с теми же лицами и состоящим под особым наблюдением отставным гвардии штабс-ротмистром Владимиром Чертковым все поехали к матери Черткова...»

Для Зимнего Дворца Толстой заменил заплатанный полушубок более приличной одеждой и в донесении сказано: «Отправляясь в Зимний Дворец, Толстой был одет в драповое пальто с барашковым воротником, брюки темносерого цвета и серую поярковую шляпу».

Из этого описания полиции мы знаем, что Толстой заходил с «состоящим под особым наблюдением отставным коллежским секретарем П. И. Бирюковым» в конди-

терскую на Невском проспекте, был в нескольких книжных магазинах, подстриг волосы и бороду в парикмахерской...

За свое пребывание в Петербурге Толстой разошелся с «бабушкой» Александрой Андреевной. «Бабушка» на этот раз не поняла своего старого друга.

Толстой был под впечатлением рассказов о духоборах, пострадавших за веру Христову. Он приехал проводить сосланных на многие годы самых близких друзей своих, пострадавших за помощь духоборам. Вся эта жестокость совершалась правительством именем царя, которому была так предана Александра Андреевна. Роскошь Зимнего Дворца, где жила «бабушка», придворная атмосфера, ее желание «спасти его», все это раздражало Толстого. Встретившись с «бабушкой» у Шостак, он резко высказал свои суждения. А когда «бабушка», промучившись бессонной ночью, решила при следующем свидании спасать «бедного Льва» и открыть ему истину, он еще больше расстроился.

«Страшно выговорить, — писала «бабушка» в своих воспоминаниях. — С одной стороны любовь к правде, любовь к людям, любовь к Богу и даже к тому Учителю, всё величие которого он не хочет или не может познать, с другой стороны гордость, тьма, неверие, пропасть...»[13])

А Толстой нашел «бабушку» — «мертвой, недоброй и жалкой» и, как ему казалось, «одержимой ужасной гордостью».

Из Петербурга Толстой вернулся в Никольское, имение графа Адама Васильевича Олсуфьева, в доме которого он останавливался, и продолжал писать статью «Что такое искусство».

Несмотря на то, что Олсуфьевы принадлежали к высшему аристократическому кругу — их простота, сердечность и общительность привлекали к ним всех окружающих их людей. К ним в дом стекались люди всех классов и профессий: доктора, учительницы, фельдшерицы. Устраивались музыкальные вечера, маскарады, спектакли, танцы. Маленький, всегда сияющий добротой граф сам отплясывал мазурку со своими служащими

и Толстой признавался, что, глядя на это веселье, его самого подмывало пуститься в пляс.

В Москве Толстой снова попал в водоворот городской суеты, бесчисленных посетителей и забот.

Из Англии приехал англичанин, Алмер Моод, член английской земледельческой общины, прекрасно говорящий по-русски, заинтересовавшийся взглядами Толстого, впоследствии один из лучших переводчиков его книг.

Как раз в это время шли разговоры о Нобелевской премии. Распространился слух, что она будет присуждена Толстому, как поборнику всеобщего мира. С точки зрения Толстого никто не сделал для всеобщего мира больше, чем духоборы, отказавшиеся от военного дела и так жестоко поплатившиеся за свои убеждения. По справедливости Нобелевская премия должна быть присуждена им. Толстой написал об этом статью и послал ее в шведские газеты.

А между тем с Кавказа продолжали приходить тревожные известия: арестовали Ив. Мих. Трегубова, и сослали на пять лет в Курляндскую губернию.

Весной в Ясную Поляну приехали молокане из того самого уезда Самарской губернии, где живал когда-то Толстой, лечась кумысом и наслаждаясь примитивной степной жизнью. Власти силой отняли у молокан детей за то, что они не были крещены и отправили их на воспитание в монастыри. Молокане просили заступиться за их детей. Как и в большинстве русских крестьян-сектантов, в этих ходоках-молоканах Толстой чувствовал внутреннюю силу, спокойную твердость и веру в свою правоту и тем большее впечатление производили их рассказы.

На другой же день, 11 мая 1897 года, Толстой писал царю:

«Государь, — читая это письмо, я очень просил бы вас забыть про то, что вы, может быть, слышали про меня и, оставивши всякое предубеждение, видеть в этом письме только одно выражение желания добра безвинно страдающим людям, и еще более сильное желание добра

вам, тому человеку, которого так естественно обвинять в этих страданиях.

Месяц тому назад в селе Землянке, Бузулукского уезда, к крестьянину Чипелеву, молоканину по вере, в 2 часа ночи явился урядник с полицейскими и велел будить детей с тем, чтобы увести их от родителей. Ничего не понимающих испуганных мальчиков — одного 13 лет, другого 11 лет, одели и вывели на двор, но когда урядник хотел взять двухлетнюю девочку, мать схватила дочь и не хотела отдать ее. Тогда пристав сказал, что велит связать мать, если она не пустит дочь. Отец уговорил жену отдать ребенка, потребовал от пристава расписку, в которой бы было объяснено, по чьему распоряжению взяты дети...

Через несколько дней после этого в другой деревне... пришли урядник с полицейским и велели собирать в дорогу двух девочек, одну 12 лет, другую 10 лет...

То же самое и в ту же ночь произошло в семье крестьянина той же деревни... у которого отняли единственного пятилетнего сына. Отнятие этого ребенка особенно поразительно своей жестокостью. Мальчик этот составлял радость и надежду семьи, так как после многих лет это был единственный сын, оставшийся в живых. Когда брали этого ребенка, он был болен и в жару. На дворе было свежо. Мать упрашивала оставить его на время. Но пристав не согласился и сообразно с мнением доктора, решившего, что для жизни ребенка нет опасности в переезде, велел уряднику взять ребенка и вести его, но мать упросила пристава позволить ей самой ехать с сыном до города Бузулука. В городе же мальчика отняли от матери и она больше уже не видала его...

Говорят, что это делается для поддержания православия, но величайший враг православия не мог бы придумать более верного средства для отвращения от него людей, как эти ссылки, тюрьмы, разлуки детей с родителями...

Государь, отстраните от себя хоть на время тех, не скажу злых, но заблудших людей, которые вводят вас в обман о необходимости преследований людей за веру и

сами своим добрым сердцем и прямым умом решите, как надо исповедывать ту веру, которую считаешь истиной, и как надо относиться к людям, которые исповедуют иную веру...

Воспользуйтесь случаем сделать то доброе дело, которое вы одни можете сделать и которое очевидно предназначено вам.

Случаи не всегда представляются и не возвращаются, когда пропущена возможность воспользоваться ими. Сделав это дело, вы не только сделаете одно из тех добрых дел, которые предоставлено делать только государям, и займете высокое место в истории и памяти народа, но что важнее всего, вы получите внутреннее удовлетворение сознания исполненной воли Бога и предназначенного вам Богом дела...»[14])

Вызвался лично свести это письмо в Петербург П. А. Буланже, часто приезжавший к Толстому и за последнее время все больше и больше интересовавшийся учением Толстого.

Насколько известно, письмо это было передано в собственные руки Государя, благодаря хлопотам друзей Толстого — Кони, Олсуфьева и А. А. Толстой. Прочел ли его царь? Понял ли он, что в Толстом не было ни чувства злобы, ни раздражения, а желание помочь открыть глаза царю на те жестокости и глупости, которые делались его именем. Кто знает...

В продолжение 4-х месяцев детей не возвращали 16-ти семьям. Толстой бесплодно писал своим друзьям в Петербург, прося их помощи. В начале 1898 года Таня Толстая, гостившая у друзей в Петербурге, получила телеграмму от отца. Он сообщал ей, что молокане поехали в столицу хлопотать о своих детях, и просил Таню помочь им.

Таня пошла к Победоносцеву. Получил ли Победоносцев распоряжение от Государя о возвращении детей, или он испугался слишком большой огласки — неизвестно. Хотя русские газеты молчали, боясь репрессий, кроме одной ультра-консервативной газеты «Гражданин», выразившей возмущение против этих мер борьбы с сек-

тантством, но зато в заграничной прессе широко распространились сведения о зверском отнятии детей у молокан. Какие бы ни были к тому причины, но Победоносцев любезно принял Таню, обещав ей, что дети будут возвращены родителям и, по возвращении домой, Таня получила от него следующее письмо:

«Милостивая Государыня, Татьяна Львовна,

Я советовал бы молоканам не проживаться здесь в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле разве в Самаре у губернатора, которому написал о них сегодня же и думаю, что по всей вероятности детей возвратят им.

Покорный слуга К. Победоносцев».[15])

Победоносцев сдержал свое слово и детей возвратили родителям.

Эта неперестающая защита угнетенных отнимала много сил у Толстого. Но служение людям так же, как и его религиозно-философские статьи, было, как он считал, главным делом его совести.

---

1) Письма Л. Н. Толстого к жене. Изд. 1913 г., стр. 503.
2) Бирюков. Биография, т. III, стр. 469.
3) Там же, стр. 470.
4) Предисловие к «Хаджи Мурату».
5) Бирюков. Биография, т. I, стр. 199.
6) Литературное Наследство 37/38, стр. 633.
7) Гусев. Летопись, стр. 534, 18 апр. 1896 г.
Ежегодн. Имп. Театр. Сезон 1895-96 г. стр. 23-24. СПб. 1897 г.
8) Письма Л. Н. Толстого к жене, стр. 514.
9) Предисловие к «Помогите!»
10) Кони, А. Ф. «На жизненном пути», т. 2, стр. 38.
11) Репин, И. Е. «Далекое-близкое». Изд. «Искусство» 1937, стр. 494.
12) Памятники жизни и творчества. Наблюдения Охранного Отделения. № 4, стр. 192-195.
13) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, стр. 73.
14) Бирюков. Биография, т. III, стр. 497.
15) Там же, стр. 509.

ГЛАВА LII

«ВИДНО ТАК НАДО»

Никто не знал, что переживал Толстой, какая горечь, боль, может быть, подобие ревности, терзали его одинокую, гордую душу...

Потеря близких друзей, Черткова, Бирюкова, было ничто в сравнении с тем, что он переживал теперь. Маша... Маша, бесшумно каждое утро проскальзывающая в его кабинет, со свеже переписанным писанием отца, ловящая на лету каждую его мысль, живущая его жизнью, его интересами, Маша, так хорошо понимавшая радость служения людям, убивающая свою плоть вегетарианством, спаньем на досках, покрытых тонким тюфячком, Маша... чуткая, одухотворенная... Что с ней случилось? Почему рядом с ней появилось это пропитанное барством, красивое, внешне привлекательное существо — князь Николай Леонидович Оболенский? Что было между ними общего?

Коля был сын Лизаньки Оболенской, родной племянницы Толстого, на два года моложе Маши, жил у Толстых, потому что Лизанька была бедна, с трудом содержала свою семью и Софья Андреевна предложила Коле жить у нее в доме. Коля кончал университет по юридическому факультету, лекций не посещал, занимался постольку, поскольку было нужно, чтобы сдавать экзамены. Это был милый, честный, неглупый малый, не пьяница и не игрок. Вставал поздно, к завтраку, курил медленно, со вкусом, пуская в воздух колечки, красиво отставляя холеную руку с длинным загнутым ногтем на мизинце, любил поесть, по-барски широко давал на чай, хотя денег у него никогда не было, по-аристократически катал «р» — Коля был барин с княжескими замашками, сибарит. И Маша потерялась для отца, для окружающих. Теперь она часами сидела с Колей, и они разговаривали,

и в ее серых, вдумчивых глазах появился мягкий и теплый свет и новая, точно виноватая, улыбка. Маша влюбилась в Колю Оболенского, влюбилась страстно, безрассудно, и ничего не могло удержать ее от этого замужества: ни бурные протесты матери, ни страдальческое недоумение отца. Но он и не отговаривал ее. Его личное горе — потеря Маши, как помощника и друга, было слишком остро, оно могло повлиять на его отношение к ее замужеству, а он желал ее счастья, не своего.

«Маша... — писал он ей — ничего не имею сказать против твоего намерения, вызванного непреодолимым, как я вижу, стремлением к браку... И по твоей жизни в последнее время, рассеянной и роскошной более, чем прежде, — и по жизни и привычкам и взглядам Коли, — вы не только не будете жить по-Марии-Александровски*), — но вам нужны порядочные деньги, посредством которых жить... Одной из главных побудительных причин для тебя, кроме самого брака, т. е. супружеской любви — еще дети. Дети и нужда. Это очень трудно и уже слишком явно — перемена независимости, спокойствия, — на самые сложные и тяжелые страдания. Как вы об этом судите? Что он думает об этом?.. Намерена ли ты просить дать тебе твое наследство? Намерен ли он служить и где? И пожалуйста откинь мысль о том, чтобы государственная служба твоего мужа могла изменить мое отношение к нему, и твое отступление от намерения не брать наследства могла изменить мою оценку тебя. Я тебя знаю и люблю дальше, глубже этого и никакие твои слабости не могут изменить мое понимание тебя и связанную с ним любовь к тебе. Я слишком сам и был и есть полон слабостей и знаю поэтому, как иногда и часто они берут верх. Одно только: лежу под ним, под врагом, в его власти и все-таки кричу, что не сдамся и дай справлюсь опять, буду бороться с ним. Знаю, что и ты так же будешь делать. И делай так. Только «думать надо, большой думать надо».[1])

---

*) Мария Александровна Шмидт — последовательница Толстого, близкий друг всей семьи Толстых.

Не успела еще Маша выйти замуж, как ей пришлось столкнуться с рядом трудностей. Священник не хотел ее венчать, так как требовалось свидетельство об исповеди и причастии, а Маша уже много лет не говела. Коля хотел подкупить священника и Маша сообщила отцу об этом намерении. В мае, накануне Машиной свадьбы, отец определенно высказал свое мнение по поводу ее решения:

«Венчаться, не веря в таинство брака, так же дурно, как говеть не веря; не говоря о том, что для того, чтобы себя избавить от лжи, надо заставить лгать, да еще с подкупом, другого человека... священника; не говоря об этом, швыряние 150 рублей для подкупа и для избавления себя от неприятной процедуры — очень нехорошо. Ведь можно не говеть, когда это нужно сделать, потому что не можешь. А если можешь и венчаться и даже подкупать, то нет причины не говеть».[2])

И Маша пошла на исповедь.

Второй компромисс был не легче. Во время раздела Маша отказалась от своей части имущества. У Коли Оболенского ничего не было, работать он не умел и не хотел, и молодым не на что было существовать. Пришлось тем, у кого имущество оказалось более ценным — Софье Андреевне, Сереже — выделить из своих частей долю Маши деньгами, что было очень сложно. Мать и братья Толстые старались не показывать своего недовольства «фокусами», как они говорили, которые выкидывала Маша, но горький осадок у семьи от всей этой истории — остался.

2 июня 1897 года Маша перевенчалась с Колей Оболенским. На свадьбе было только два шафера — Миша Толстой и брат Коли. Пошли пешком в церковь в чем были, в простых будничных платьях. Маша уехала.

А Таня? Толстой, со своей исключительной душевной чуткостью чувствовал, что и Таня постепенно отходила, но причину ее метанья, постоянных отъездов, потери интереса к его внутренней жизни, к его друзьям, к красавцу-толстовцу с бараньими глазами, Е. И. Попову,

с которым у нее многие годы было то, что называют amitié amoureuse, — отец боялся предугадывать.

Что привлекло Таню к М. С. Сухотину? Вероятно, она бы не смогла объяснить этого и сама. Окружающие же просто не допускали мысли о том, что Таня, имевшая такой громадный выбор среди молодых людей, наперебой за ней ухаживавших, могла бы так серьезно, неизлечимо, полюбить этого, как Саша его называла, старика.

Сухотин был женат, у него было шесть человек детей и старший из них, Лев, был ровесник Миши Толстого. Слухи ходили, что чета Сухотиных жила недружно, они изменяли друг другу. Некоторые называли Сухотина развратником. На самом деле Сухотин был одним из тех мужчин, к которым, неизвестно почему, тянутся женщины. Встречаясь взглядом с его умными, серыми, хитро прищуренными глазами, собеседник уже знал, что этот человек не скажет глупости, банальности, и сразу делалось интересно. Но в то время не было ни одного человека в семье Толстых, который не отнесся бы к нему враждебно.

Когда умерла жена Сухотина, Таня мучилась угрызениями совести. Она мучилась тем, что еще при жизни жены Сухотина говорила с ним об их любви, хотя она не допускала никогда никакой близости, никогда не разрешила бы даже поцелуя. Таня долго скрывала чувство свое от отца, а отец был рад не замечать, не верить, что его кристально чистая, талантливая, всё понимающая, чуткая Таня, попадет в объятия этого истрепанного, пожившего старого вдовца. Мысль эта причиняла ему острую, почти физическую боль.

Узнав про смерть жены Сухотина, Таня заметалась. Что было делать? Любимый ею человек был свободен. Свое гнездо, может быть, свои дети, о которых она всегда мечтала, и... с другой стороны — отец и враждебность всей семьи к Сухотину, шесть человек детей — пасынков.

Софья Андреевна рвала и метала. В письме от 6 мая 1897 года она писала мужу: «Противный Сухотин, даже как человека ему не жаль жены. Сухая, подлая душа!

Только бы за барышнями ухаживать!»[3]) Она его ненавидела.

Даже кроткая Мария Александровна Шмидт, обожавшая «милую, голубушку Таничку», как она ее называла, ни минуты не принимала в серьез Танино увлечение. «Отвяжитесь, душенька, — говорила она, когда Таня поведала ей о своем чувстве к Сухотину. — Отвяжитесь, ерунду выдумали, ну какая там любовь, разве он вам пара».

10 июля 1897 года Софья Андреевна записала в дневнике:

«Пережила тяжелые, тяжелые испытания. То, чего я так страшно боялась с Таней — получило определенность. Она влюблена в Сухотина и переговорила с ним о замужестве. Мы случайно и естественно разговорились с ней об этом. Ей, видимо, хотелось и нужно было высказаться. С Львом Николаевичем тоже был у ней разговор. Когда я ему это впервые сообщила, то он был ошеломлен, как-то сразу это его согнуло, огорчило, даже не огорчило, а привело в отчаяние. Таня много плакала эти дни, но она, кажется, сознает, что это будет ее несчастье и написала ему отказ»...[4])

Тяжелое было лето. Толстой был очень одинок. Маши не было, а она одна умела и решалась давать ему простую, согревающую душу ласку.

С женой было также смутно, неспокойно... «Наша жизнь больная, — читаем мы в дневнике Софьи Андреевны от 2 июня 1897 года. — Да и в прямом значении Лев Николаевич что-то меня пугает: он худеет, у него голова болит — и эта наболелая ревность! Виновата ли я, я не знаю. Когда я сближалась с Танеевым, то мне представлялось часто, как хорошо иметь такого друга на старости лет: тихого, доброго, талантливого. Мне нравились его отношения с Масловыми, и мне хотелось таких же... И что же вышло!»[5])

Странное, неестественное отношение к Танееву продолжалось. 3 июня Софья Андреевна испытывает, как она выразилась в дневнике: «Мучительный страх перед неприятностями по случаю приезда Сергея Ивановича».[6])

«Танеев сыграл две песни без слов Мендельсона и перевернул всю душу, — писала Софья Андреевна в дневнике от 4 июня. - Ох, эти песни! Особенно одна из них так и врезалась в мое сердце».[7])

Часами Софья Андреевна с каким-то упрямым отчаянием играла гаммы, экзерсисы Ганона, надеясь упражнениями развить пальцы, что было немыслимо для 53-х летней женщины. Саша, у которой был хороший слух и которая тоже училась музыке, знала мелодии «песен без слов» наизусть, она знала, в каком месте мать задержит темп, стараясь придать нотам особую певучесть, где спотыкнется... Ох, эти песни! Саша их ненавидела!

И в дополнение ко всему этому, Софья Андреевна упрекала мужа, требовала передачи прав на все его сочинения. Она не подозревала, как близок он был к тому, чтобы бросить всё и начать жить так, как он считал нужным, быть последовательным до конца. Она постоянно подчеркивала, что она чистая, невинная, пожертвовала ему и семье свою молодость, свои таланты к живописи, музыке, даже к литературе, которые она не имела возможности развить. Она не понимала, что настоящая, радостная жертва ценна только тогда, когда она приносится добровольно и о ней не говорят. Она настойчиво подчеркивала свою правоту, жертвенность, он же — никогда не говорил о том, что отдал семье все свое состояние, продолжал ради нее жить в противной его убеждениям обстановке, он считал себя виноватым перед нею, перед людьми и Богом, и с радостью в этом признавался.

Толстой сильно постарел за этот год, согнулся под тяжестью событий: смерть Ванички, замужество Маши, ссылка его друзей, перемена, в смысле духовного перерождения, которую Толстой так надеялся видеть в жене, приняла неестественные, уродливые формы. Сомнения мучили его: что делать? Продолжать нести тяжесть во всех смыслах противной ему жизни ради жены, семьи, ненарушения любви, или уйти...

8 июля он написал письмо, которое Софья Андреевна получила только после его смерти. Его хранила у себя Маша, а после ее смерти муж ее, Коля Оболенский.

«Дорогая Соня! — писал он — Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не могу; уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хотя того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас; продолжать же жить так, как я жил 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти: во-первых, потому, что мне с моими увеличивающимися годами всё тяжелее и тяжелее становится эта жизнь и всё больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое в доме уже не нужно и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие. Главное же то, что, как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-ый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью. Если бы я открыто сделал это, были бы просьбы, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь изменить своей жизни и приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, со свойственным твоей натуре материнским самоотвер-

жением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать: дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни — последние 15 лет — мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому что не мог иначе. Не могу и тебя обвинить, что ты не пошла за мной, а благодарю тебя и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.

Прощай, дорогая Соня.

Любящий тебя Лев Толстой.»[8])

Но уйти он не решился.

В августе Толстой писал Черткову в Англию:

«Как бы я счастлив был, если бы мог кончить мои дни в уединении и, главное, в условиях не противных и мучительных для совести. Но видно, так надо. По крайней мере я не знаю выхода».[9])

Первую половину лета Маша жила с мужем в Овсянникове, но в августе она заболела брюшным тифом и ее перевезли в Ясную Поляну. А осенью Оболенские уехали в Крым и туда же поехала Таня с маленьким трехлетним Андреем Толстым, сыном Ильи, который совсем захирел, температурил и у которого, повидимому, было начало туберкулеза.

В октябре Толстой писал дочери Маше, в Ялту: «Очень уж я привык тебя любить и быть тобой любимым... Чувствую ли я разъединение после твоего замужества. Да, чувствую, но не хочу чувствовать и не буду»...[10])

Толстой не имел возможности в тишине, без вечно толпящихся в доме чужих, иногда чуждых людей, пережить свое горе. Гости продолжали посещать Ясную Поляну. Знаменитый психиатр Ломброзо приехал из Москвы, где был съезд врачей.

«Ограниченный и мало интересный болезненный старичок», — писал Толстой Бирюкову.

Софья Андреевна записывает 11 августа: «Утром приехал Ломброзо. Маленький, очень слабый на ногах старичок... Я вызвала его на разговоры, но он мало дал

мне интересного. Говорил, что преступность везде прогрессирует, исключая Англию, что он не верит статистическим сведениям России о преступности, так как в России нет свободы печати».[11])

Ломброзо рассказывал, что когда он собирался к Толстому, «бравый генерал-полицийместер» Москвы предупредил его, что у Толстого в голове не всё в порядке, и когда Ломброзо вернулся обратно, он спросил Ломброзо, как он нашел Толстого.

«Мне кажется, — ответил Ломброзо — что это сумасшедший, который гораздо умнее многих глупцов, обладающих властью».[12])

В это лето Толстой заканчивал свою статью «Об искусстве». Таня, которая завела себе новшество — пишущую машинку Ремингтон, и Софья Андреевна бесконечное число раз переписывали статью. 19-го июня Софья Андреевна писала в дневнике, что «Лев Николаевич лихорадочно пишет «Об искусстве», уже близок к концу и ничем больше не занимается».[13])

И в то время, как он писал «Об искусстве», искусство во всех видах процветало в Ясной Поляне. В Таниной мастерской, где одно время работал Репин и стояли знаменитые картины дедушки Ге, теперь лепил статуэтку Толстого скульптор Гинцбург, писали картины Касаткин, Пастернак. Эта мастерская Тани превратилась в нечто вроде клуба, где днем собирались гости — художники, пианисты, члены семьи Толстого. А по вечерам, в зале, играли Танеев, Гольденвейзер, часто на двух роялях. Иногда, после вечернего чая, Толстой читал вслух свою статью об искусстве.

Статью хвалили, но без энтузиазма. Новое течение в музыке, литературе, изобразительном искусстве, распространялось как зараза. Как могли люди из мира искусства принять революционные взгляды Толстого, утверждавшего, что как только искусство стало искусством не для всего народа, а для класса богатых людей, так оно превратилось в профессию.

«Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей».

«Настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка, как плод предшествующей жизни, точно так же, как зачатие ребенка матерью. Поддельное же искусство производится мастерами, ремесленниками безостановочно, только бы были потребители».

«Причина появления настоящего искусства есть внутренняя потребность выразить накопившееся чувство. Причина поддельного искусства есть корысть, точно так же, как и проституция».

«Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно. Задача христианского искусства — осуществление братского единения людей».[14])

Софье Андреевне было скучно переписывать рассуждения Лёвочки; если бы он писал художественное, тогда другое дело. 4-го сентября она записала в дневнике: «Я стала искать, чем занять свою духовную жизнь, стала любить музыку, читать о ней и, главное, угадывать все те сложные человеческие чувства, которые в нее вложены; но музыке не только не сочувствовали дома, но на меня напали за нее с ожесточением, и вот я опять очутилась без содержания жизни и, согнув спину, часами, по десять раз переписываю скучную статью об искусстве, стараюсь найти радость в исполнении д о л г а, но моя живая натура возмущается, ищет личной жизни»...[15])

При таком внутреннем отношении Софьи Андреевны к мужу, достаточно было малейшего повода, чтобы возникали ссоры — из-за отосланной «Северному вестнику», «без разрешения» Софьи Андреевны, статьи (Предисловие к Современной науке Карпентера), из-за откровенной записи Толстого в дневнике. Софья Андреевна сердилась, упрекала мужа, уезжала, никому не сказав куда, из дому.

«Сегодня в его дневнике написано, что я с о з н а л а с ь в с в о е й в и н е в первый раз, — писала Софья Андреевна в своем дневнике, — и что это радость! Боже мой! Помоги мне перенести это! опять перед буду-

щими поколениями надо сделать себя мучеником, а меня виноватой! А в чем вина? Л. Н. рассердился, что я с дядей Костей зашла месяц тому назад навестить Сергея Ивановича, лежащего в постели по случаю больной ноги. По этой причине Л. Н. страшно рассердился, не ехал в Москву и считал это виной».[16])

В конце декабря Толстой получил письмо, взволновавшее Софью Андреевну. Она всем показывала его, просила Дунаева не покидать Толстого.

«Граф Лев Николаевич! — писал анонимный корреспондент. — Бесспорно, что секта ваша растет и глубоко пускает корни. Как ни беспочвенна она, но при помощи дьявола и по глупости людей Вам вполне удалось оскорбить Господа нашего Иисуса Христа, который должен быть нами отомщен. Для подпольной борьбы с вами, подпольными же, мы образовали тайное общество «Вторых крестоносцев», цель которых — убить вас и всех последователей — вожаков секты вашей... Жребий пал на меня недостойного: я должен убить Вас! Назначаю для Вас этот день: 3 апреля 1898 года...

Легко, может быть, Вы поставите мне логично вопрос: почему агитация эта только против Вашей секты? Правда, все секты — «Мерзость перед Господом!», но законоположники их жалкие недоумки — не чета, граф, Вам; во-вторых: Вы — враг нашего царя и отечества!.. И так до «3 апреля».

Второй крестоносец жребьевой Жребий 1-й. Декабрь 1897. Село Смелое».[17])

Толстой остался совершенно равнодушен к этим угрозам. «На все воля Бога», — сказал он жене.

Иногда Толстой ездил верхом к старушке Шмидт в Овсянниково.

Сокращая расстояние по лесным тропинкам, где то и дело ему надо было пригибаться, чтобы не задеть ветки, мимо глубокого оврага, станции Козловки-Засеки, стараясь миновать дачи, выстроившиеся по обеим сторонам большака, мимо деревни Овсянниково, по полям, через плотину небольшого пруда, Толстой рысью подъезжал на темно-сером кабардинце Мальчике к владениям

старушки Шмидт. Еще издали увидя его развевающуюся на две стороны бороду, его спокойную слитую с лошадью широкую, в белой блузе, фигуру, старушка Шмидт бежала его встречать.

«Голубчик, Лев Николаевич»... и большие, серые, глубоко сидящие глаза ее сияли радостью. Загорелая, костлявая, с гладко причесанными на рядок светлыми волосами, выдающимися на изможденном, худом лице скулами, в простом сером холщевом платье, вся она была цельная, чистая и горящая внутренним духовным огнем.

Марья Александровна целый Божий день работала. Главными источниками ее дохода была ее корова Манечка и клубника. Был у нее и небольшой огород, но овощи она разводила только для собственного питания. Клубника же была статьей дохода. Плантация клубники была в полном порядке, чисто выполота и устлана соломой. Каждый день летом сторож Мироныч, которого Таня нанимала для охраны усадьбы, запрягал в телегу вороного мерина, который почему-то назывался Пятачок, Марья Александровна аккуратно ставила жбаны с молоком, корзиночки с клубникой в телегу и ездила на Козловские дачи продавать свой товар. Дачники принимали ее за простую крестьянку, говорили ей «ты», иногда обращались с ней грубо. Козловка была всего в 2½ верстах от Овсянникова, но путешествие Марии Александровны занимало много времени и требовало много энергии. Пятачок был необыкновенно флегматичное существо и, несмотря на длинную хворостину, которой угрожающе размахивала Марья Александровна и на ее словесные уговоры, Пятачок плелся медленным шагом. Он раз навсегда понял, что Марья Александровна принципиально против насилия и не ударит его, и он только отмахивался редким, связанным репьями хвостом, и ни на иоту не прибавлял шагу. Весь день Марья Александровна работала, а вечером садилась переписывать от руки запрещенные сочинения «дорогого Льва Николаевича», которые она раздавала своим друзьям.

Пожалуй, из всех толстовцев, Марья Александровна была единственной настоящей его последовательницей.

Несмотря на то, что она была физически измождена, «в чем только душа держится», «кости да кожа», как говорили про нее крестьяне-соседи, — она была счастлива. В избушке ее, которую она называла «мой дворец», было очень чисто и уютно. По стенам — полки с книгами, портреты Толстого, жесткая кровать, аккуратно накрытая с всегда чистым бельем, посередине стол, в углу русская печь, где она пекла большие ковриги черного кисло-сладкого хлеба.

Все любили Марью Александровну: и соседи-крестьяне, на которых она имела большое и благотворное влияние, и их ребята, приходившие к ней за книжечками, и темные, и светские друзья Толстого. Со всеми она была ласкова, приветлива.

В «старушке Шмидт» не было элемента проповедничества, святошества, она ничего из себя не изображала. Ее старая манера институтства, возгласы восхищения, омерзения, только смешили, но нисколько не раздражали. Она сама смеялась над своими слабостями. Будучи строгой вегетерианкой, она не могла устоять от соблазна съесть кусочек селедки, которую она обожала. «Душечка, Софья Андреевна, отвяжитесь, — восклицала она. — Опять соблазнили. Ах, грех какой!» Или каялась Толстому: «Ох, голубчик, Лев Николаевич, так сердилась, так сердилась, мальчишки клубнику оборвали, дрянные такие, бессовестные»...

Здесь, во «дворце» старушки Шмидт, находил Толстой простоту жизни, душевный отдых и внутреннее тепло, которого он был лишен в своей домашней обстановке.

---

1) Письма Л. Н. Толстого к М. Л. Толстой. «Совр. Зап.» 1926, т. 27, стр. 242.
2) Там же, стр. 244.
3) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. Изд. Academia, стр. 676.
4) Дневники С. А. Толстой, т. 2, стр. 135.
5) Там же, т. 2, стр. 111.
6) Там же, т. 2, стр. 111.
7) Там же, т. 2, стр. 112, 115.
8) Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862-1910. Ред. Грузинского. 1913 г., стр. 524.

[9]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 517.
[10]) «Совр. Зап.» 1926, т. 27, стр. 245.
[11]) Дневники С. А. Толстой, т. 2, стр. 157.
[12]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 519.
[13]) Дневники С. А. Толстой, т. 2, стр. 125.
[14]) «Что такое искусство». Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 19.
[15]) Дневники С. А. Толстой, т. 2, стр. 169.
[16]) Там же, т. 3, стр. 6.
[17]) Там же, т. 3, стр. 11.

ГЛАВА LIII

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛСТОГО. «ВОСКРЕСЕНЬЕ» — ДЛЯ ДУХОБОРОВ

Если бы Толстому сказали, что он «общественный деятель», то он вероятно резко возразил бы против такого определения — он терпеть не мог штампов: общественный деятель, прогрессист, либерал... Но на самом деле Толстой постоянно был занят вопросами «общественными». Школа, посредничество, голод, участие в духоборческом движении, в судьбе молоканских детей и самих молокан, обращавшихся к нему с просьбой помочь им переселиться в Канаду.

Весной 1898 года в России снова свирепствовал голод в Тульской, Орловской, Самарской, Уфимской и Казанской губерниях, и к Толстому посыпались просьбы о помощи. Организация помощи голодающим была для Толстого делом не новым. Ему, как всегда, хотелось скорее вырваться вон из ненавистного ему города, и он решил, вместе с Софьей Андреевной, которая хотела проведать своих внуков, ехать к сыну Илье, имение которого было как раз в центре голодных мест.

Первое, что надо было сделать, это определить степень нужды крестьян. Была ранняя весна — любимая пора Толстого. Отец с сыном, оба в прекрасном, бодром настроении, верхом поехали по окрестным деревням. Невольно Толстого потянуло в знакомые ему места — в тургеневское Спасское. Илья рассказывал, что отец был видимо сильно взволнован при виде старой усадьбы, парка, тургеневского дома, где они так горячо спорили и где Тургенев читал ему свои произведения. «Очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет», — писал Толстой Я. П. Полонскому.

В Спасском особой нужды не оказалось, но в более глухих деревнях нужда была большая. На пожертвован-

ные деньги удалось открыть около 20-ти столовых. Софья Андреевна писала в дневнике: «Лев Николаевич тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать, где голод. Хуже всего в Никольском, и еще к Мценскому уезду. Хлеб едят раз в день и то не до сыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худа. Болезней нет. Лев Николаевич устраивает столовые»...[1])

Но Толстого не могла удовлетворить эта временная помощь небольшой части населения. Его мучил вопрос, во всей широте его, почему в России так часто повторяется голод? Воззвание его о помощи постепенно превратилось в статью «Голод или не голод», где Толстой старался дать ответ на этот вопрос.

«Есть ли в нынешнем году голод или нет его? — спрашивает он. — Отчего повторяется так часто нужда народная? И как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особых мер для ее покрытия?»

Толстой не видит духовных интересов в народе, наоборот — равнодушие к церковной вере, к труду. Работать сохой на худой, едва влачащей ноги лошади, всё равно, что черпать воду из колодца дырявым ведром. Как же помочь крестьянину? Как поднять его дух? Надо устранить всё, что подавляет его, надо признать его человеческое достоинство.

Надо «перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним как с животным», отвечает Толстой на третий вопрос; нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, надо дать ему свободу учения, передвижения... «Если освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми он связан, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы желали бы вознаградить их, и гораздо еще больше того».[2])

Таковы были «революционные», как выражался Победоносцев, рассуждения Толстого, знавшего и любившего народ больше, чем кто-либо из людей его круга. Победоносцев не понимал, что своими писаниями, поступками Толстой старался предупредить, а не раздувать

революцию, предвестники которой уже носились в воздухе.

Статья «Голод или не голод» была напечатана в газете «Русь», за что газета получила первое предостережение от министра внутренних дел.

К сожалению, правительства обычно слепы и менее, чем кто-либо, знают о том, что происходит среди управляемого ими народа. Не знал и государь того, что делалось его именем мелкими чиновниками на местах.

В Ясную Поляну приехали шесть мальчиков-гимназистов и вручили Толстому собранные ими на голодающих 100 рублей.

«Лев Николаевич послал их к священнику, попечителю здешних мест, — записывает Софья Андреевна в своем дневнике, — и священник указал на особенно бедных. Гимназисты купили... муки, которая и выдавалась беднейшим. Явились становой и урядник, и строго запретили купцу в Ясенках выдавать мужикам по запискам от нас или гимназистов. Просто безобразие! Не смей никто в России милостыню подавать бедным — становой не велит. Мы с Таней глубоко возмущались и обе охотно бы поехали прямо к царю или его матери и предостерегли бы их от того возмущения, которое может подняться в народе от озлобления к подобным мерам».[3])

В Чернском уезде было еще хуже. Не успел Толстой развернуть столовые, как приехал становой. Две помогавшие в работе барышни были сняты с работы и становой угрожал закрыть столовые. В некоторых деревнях полиция запретила крестьянам посещать столовые и, на всякий случай, чтобы не было соблазна, разломала все лавки и столы. Илья Толстой отправился за разъяснениями к Тульскому и Орловскому губернаторам. Разрешено было сохранить имеющиеся столовые, но было запрещено открывать новые.

«Что происходит в головах и сердцах других — тех людей, которые считают нужным предписывать и исполнять такие мероприятия, т. е. воистину не зная, что тво-

рят, отнимать изо рта хлеб милостыни у голодных стариков и детей!» — восклицает Толстой.[4])

Деятельность Толстого в деле помощи голодающим завершилась лишь в начале 1899 года. Толстой получил письмо от известного писателя и общественного деятеля, специализировавшегося на изучении сектантства в России, А. С. Пругавина, описывавшее бедственное положение крестьян Казанской, Уфимской и в особенности Самарской губерний. Ужасающая нищета, заразные болезни на почве недоедания, цынга... Письмо это, с добавлением Толстого, было напечатано в «Русских ведомостях» и снова, как и в первую голодовку, щедрым потоком полились пожертвования. Самарский кружок, в котором состоял Пругавин, собрал около 250 тысяч рублей, на которые они смогли открыть целую сеть столовых.

28 августа 1898 года Толстому исполнилось 70 лет. Празднование семидесятилетия, гости, телеграммы, поздравительные письма тяготили Толстого. Он и так с трудом справлялся со всё увеличивавшейся корреспонденцией. Бывали серьезные вопросы, на которые, волей неволей, Толстому надо было реагировать.

Что думает Толстой по поводу манифеста Государя о всеобщем разоружении? От "The Sunday World" получена была телеграмма следующего содержания:

«Поздравляем по поводу результатов вашей борьбы за всеобщий мир, достигнутый рескриптом Царя. Будьте добры ответить».

На что Толстой ответил:

«Последствием этого манифеста будут слова. Всеобщий мир может быть достигнут только самоуважением и неповиновением правительству, требующему податей и военной службы для организованного насилия и убийства».[5])

Толстому надо было закончить дело с духоборами.

С Кавказа продолжали приходить тревожные вести. Писали, что друга и последователя Толстого, английского капитана Ст. Джона, помогавшего духоборам, хотят выслать из России, арестовали еще одного единомыш-

ленника Толстого Накашидзе, работавшего с духоборами.

«Извещаю вас о том, что мы подавали прошение на имя Ее Императорского Величества Императрицы Марии Феодоровны, — писал Толстому один из духоборов. — Она его передала в Сенат, Сенат решил и передал на распоряжение князя Голицына... Я 10 февраля ездил в г. Тифлис и виделся там с братом Синджоном, но свидание наше было очень краткое, — сейчас же арестовали меня и его. Меня посадили в тюрьму, а его сейчас же отправили обратно в Англию... Полицеймейстер сказал: «Пока посадим в тюрьму, а потом доложим губернатору.»... Губернатор со мной хорошо разговаривал и советовал нам переходить в самом кратком времени за границу»...[6])

Наконец, пришло официальное разрешение на выезд духоборов за границу. Надо было решать, в какую страну им переселяться, откуда достать денег для переезда.

Толстой вел переписку с целым рядом людей по этому вопросу. Поступило несколько предложений: переселить духоборов на остров Кипр, в Америку в штат Техас, в Китайский Туркестан, на Гавайские Острова. В Лондоне квакеры, близкие по взглядам духоборам, заинтересовались их судьбой и взялись помочь им эмигрировать. Надо было собирать деньги, но произвести сбор через печать было невозможно. Единственная газета, решившаяся напечатать о сборе пожертвований для духоборов, «Русские ведомости», была приостановлена властями на два месяца.

В апреле 1898 года Толстой писал Черткову в Англию:

«Здесь до такой степени дурно настроено правительство против духоборов, что третьего дня было напечатано пожертвование Моода, Сергеенко и неизвестного в «Русских ведомостях» и в тот же день пришла бумага от (увы) Трепова*), требующая названия жертво-

---

*) Д. Ф. Трепов, градоначальник города Москвы, товарищ по полку В. Г. Черткова.

вателей и доставления денег в казначейство. «Русские ведомости» ответили, что деньги уже переданы мне и представили в этом расписку».[7])

Толстой, хотя ему это было неприятно, лично писал богатым людям, прося их пожертвовать деньги. Некоторые посылали по 500, другие 1000 рублей, а купец Солдатенков лично привез Толстому 5000 рублей. Призыв о помощи духоборам был напечатан за границей, квакеры собирали средства в Англии, присылали деньги из Америки. Но всего этого было мало. Тогда Толстой решил сам заработать недостающие деньги.

«Так как выяснилось теперь, — писал Толстой Черткову в середине июля, — как много еще недостает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать. У меня есть неоконченные повести, «Воскресение» и другие. Я последнее время занимался ими. Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские и американские газеты и употребить вырученное на переселение духоборов... Повести, сами по себе, если не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства, — не общедоступны по форме, — то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям. И потому думаю, что, продав их как можно дороже, напечатать теперь, не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет по переселению духоборов».[8])

Толстой сам повел переговоры с издателем журнала «Нива», Марксом, о продаже «Воскресения» и даже торговался с ним. Маркс обещал уплатить тысячу рублей с листа за право первого напечатания романа «Воскресение», с тем, что после появления романа в журнале «Нива», свободная перепечатка «Воскресения» разрешалась всем издателям.

Софья Андреевна не сочувствовала всему происходящему.

«Не могу вместить в свою голову и сердце, — писала она в дневнике от 13 сентября 1898 года, — что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и отдать эти

деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети черного хлеба поедят!»[9])

«Я не знаю, хорошо или дурно — очень пристально занят «Воскресением», — писал Толстой Черткову осенью 1898 года. — Многое важное надеюсь высказать. Оттого так и увлекаюсь. Мне кажется иногда, что в «Воскресении» будет много хорошего, нужного, а иногда, что я предаюсь своей страсти. Я теперь решительно ничем не могу заниматься, как только «Воскресением». Как ядро приближается к земле всё быстрее и быстрее, так и у меня теперь, когда почти конец: я не могу ни о чем, — нет, не не могу, — могу и даже думаю, — но не хочется ни о чем другом думать, как об этом».[10])

Но писать к сроку было мучительно. Журнал «Нива» должен был еженедельно печатать роман, а Толстой не мог не переправлять своего писания бесконечное число раз. Бывали случаи, когда, получив гранки последней корректуры, он уносил их в кабинет, как он говорил, «на минутку», чтобы еще раз просмотреть, и с виноватым видом приносил их обратно через несколько часов. В корректурах не оставалось ни одного живого места, целые строчки были зачеркнуты, между ними, на полях, всё было исписано, на обороте гранок появлялся совершенно новый текст.

Маркс приходил в отчаяние, телеграммы летели к заграничным издателям. Нередко новый, исправленный текст запаздывал и в первом издании текст русский и заграничный расходились. Переписывали все, кто только мог: Таня, Маша с мужем, гости, Александр Петрович Иванов.

Иванов, поручик в отставке, уже многие годы был переписчиком Толстого. Толстой откопал Иванова на Хитровом рынке в то время, как он в трущобах Москвы участвовал в переписи города. Иванов — запойный пья-

ница — периодами живал у Толстых. Приходил он грязный, заросший, в лохмотьях, стоптанных и дырявых башмаках. Его одевали, обували, откармливали, и Иванов торжественно завлял, что он уже больше не пьет и пить не будет. Надвинув очки на самый нос, Иванов аккуратным, писарским почерком переписывал рукописи Толстого. Он сразу приобретал важный, надменный вид и уверял, что он лучше всех разбирает трудный почерк Толстого. Бывали случаи, когда Толстой робко спрашивал Иванова: «Александр Петрович, дайте мне мой черновик, пожалуйста, здесь как будто что-то не то, ошибка»...

Отыскав черновик и сердито тыкая в него грязным пальцем, Александр Петрович вскидывал сверх очков свои мутные серые глаза на Толстого:

«Ошибка... какая тут ошибка, — кричал он тонким, колючим голосом. — Никакой тут ошибки не может быть, а у вас тут Бог знает что написано, мне пришлось всё исправлять».

Но Иванов не долго выдерживал добродетельную жизнь. Получив плату за свою работу, Иванов исчезал. Кто-то видел его пьяным на деревне. Пропивались деньги, новая одежда, сапоги, и несчастный поручик в отставке снова пускался в свое одинокое странствование по большим дорогам, побираясь и останавливаясь в грязных ночлежках.

Казалось бы, члены семьи Толстого должны были с большой осторожностью подходить к писательскому делу. Дюма-отец, Дюма-сын, не так-то часто встречаются в истории литературы. Но... пример заразителен. Первым дерзнул Лев Львович, которого один остроумный литератор назвал Тигром Тигровичем. Он, в pendant к «Крейцеровой сонате» написал «Прелюдию Шопена». Произведение это, да и все остальные его вещи, оказалось слабым и никакого успеха не имело. Софья Андреевна писала повесть «Песня без слов» и, неожиданно, Таня начала писать драму, вместе с бездарным писателем Сергеенко, зачастившим к Толстым, с целью написать биографию «великого» писателя. Но «Сандра» —

так называлась драма — не удалась. Отец молчал, но хмурился при упоминании о литературных попытках своей семьи.

К концу 1899 года «Воскресение» было напечатано в «Ниве» с цензурными пропусками и полностью в издательстве «Свободное слово», организованном Чертковым и Бирюковым за границей.

Появление романа «Воскресение» после большого перерыва (последний роман Толстого «Анна Каренина» был написан в 70-х годах), вызвало большой интерес. Как всегда, появились и хвалебные и отрицательные критические отзывы. Упрекали Толстого за морализирование, проведение своих взглядов о земельной собственности — теории Генри Джорджа, за нападение на церковь, милитаризм и проч. Заграницей «Воскресение» было также встречено с большим интересом и по-разному. Как это ни странно, но оно подверглось даже цензурным исправлениям издательств. Так, в Америке было пропущено всё, касающееся земельной собственности и пацифизма, во Франции, в первом издании переводчик, боясь оскорбить католиков, пропустил всё, касающееся церкви. В Англии и Германии текст «Воскресения» был опубликован целиком. Рассказывают, что один благочестивый квакер в Англии, прочитав сцену падения Катюши, с возмущением уничтожил эту «развратную» книгу. В Японии «Воскресение» имело громадный успех и сделалось самой популярной книгой Толстого. Японцы даже сложили песню «Катюша».

Тема «Воскресения», сообщенная Толстому А. Ф. Кони, долго лежала в копилке Толстого без движения, хотя история, сообщенная Кони, произвела на Толстого глубокое впечатление и он уговаривал Кони записать ее. Но прошло много лет и Толстой решил сам использовать «Коневскую», как она вначале называлась, повесть.

Что же такое рассказал Кони Толстому, что так растрогало его?

Молодой человек из хорошего общества, будучи присяжным заседателем в суде, узнал среди подсудимых

в проститутке, судившейся за кражу, девушку, воспитанную в доме его родственницы. Он когда-то соблазнил эту девушку и она забеременела от него. Узнав об этом, ее благодетельница выгнала ее на улицу. Девушка, родив ребенка, отдала его в воспитательный дом, а сама стала постепенно скатываться всё ниже и ниже, пока не попала в дом терпимости самого низшего разряда.

Узнав в проститутке погубленную им девушку, молодой человек этот пришел к прокурору суда, Кони, и сообщил ему о своем намерении жениться на этой проститутке. Кони с большим вниманием отнесся к молодому человеку, но отговаривал его от этого шага. Молодой человек стоял на своем. Незадолго до свадьбы проститутка заболела сыпным тифом и умерла.

Рассказ этот и послужил основной темой для «Воскресения».

Первая партия духоборов выехала на остров Кипр в начале августа 1898 года. Переселение это было неудачным — земли мало, нездоровый климат, люди заболели лихорадкой, многие умирали. Между тем выяснилось, что Канадское правительство согласно дать землю в провинции Ассинабое, в 40 верстах от г. Иорктона.

Первый пароход, отплывший в Канаду, провожал в качестве помощника и переводчика Сулер. Второй — Сергей Толстой, и третий, отплывший в апреле 1899 годо — Владимир Бонч-Бруевич.*)

Массовое переселение духоборов закончилось. Но оставалась еще забота о тех, которые томились в тюрьмах, ссылке и арестантских ротах. Англичанин Синджон и Сулержицкий еще жили на Кавказе и сообщали Толстому сведения о духоборах. Но не только судьба заключенных волновала Толстого.

Он далеко не был уверен в том, что духоборы сумеют наладить свою жизнь в новой стране, установить хо-

*) Вл. Бонч-Бруевич много писал о сектантстве в России. Впоследствии был управляющим делами ВЦИК'а, ближайшим помощником Ленина.

рошие отношения с народом и правительством, давшим им возможность иммигрировать. Толстой писал духоборам в Канаду: ... «вместо того, чтобы возбуждать в окружающих вас людях зависть и враждебность, вызовите в них к себе уважение и доброжелательство... Сказано: «Ищите Царствия Божия и правды Его, и приложатся вам сторицею все блага». Каждому человеку дано проверить истину этих слов. Вы знаете, что они истинны, а между тем вы начинаете искать благ и радостей мира сего: однако вы не обрящете их, а потеряете Царство Небесное».*)[11])

---

*) К сожалению, опасения Толстого до известной степени оказались пророческими. Хотя отношение к войне и убийству у духоборов осталось прежнее, но в молодых поколениях постепенно изживаются старые традиции духоборов: они пьют, курят, перестали быть вегетарианцами. Группа духоборов «независимые» причиняла много хлопот Канадскому правительству: устраивали демонстрации, появлялись голыми на улицах, отказывались посылать своих детей в школы, — были случаи, когда они сжигали школы. Многие духоборы заражены советской пропагандой и даже мечтают попасть на Родину, где, наконец, — «свобода».

[1]) Дневники С. А. Толстой. Изд. Север. 1932 г., стр. 51, т. 3.
[2]) «Голод или не голод». Полн. собр. соч. Изд. 1913 г. т. 18, стр. 86.
[3]) Дневники С. А. Толстой, т. 3, стр. 63.
[4]) «Голод или не голод»... стр. 88. Полн. собр. соч. Изд. Сытина 1913 г., т. 18.
[5]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 556.
[6]) Бирюков, П. И. «Духоборцы». Изд. Посредника, 1908 г., стр. 79.
[7]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 532.
[8]) Там же, стр. 548.
[9]) Дневники С. А. Толстой... т. 3, стр. 82.
[10]) Бирюков. Биография, т. III, стр. 550.
[11]) Бирюков, П. И. «Духоборцы». Изд. Посредника 1908 г., стр. 157

ГЛАВА LIV

СЕМЕЙНЫЕ ГОРЕСТИ

Толстовское гнездо, между тем, постепенно пустело. С родителями — оставались Таня и двое младших, «трудный Миша», как выразилась Софья Андреевна в дневнике, и «плохая Саша». Младшие огорчали мать — Миша кутежами и нежеланием учиться — он пошел добровольцем в Сумской полк — а Саша своим отчуждением от матери, грубостью, непослушанием гувернанткам, которые всё время менялись и из которых только одна англичанка, Мисс Вельш, справлялась с Сашей своей добротой и мягкостью, но мисс Вельш приезжала только на лето в Ясную Поляну, у нее в Москве была музыкальная школа.

Андрей женился в начале 1899 года на Ольге Дитерихс, сестре Гали Чертковой. За последнее время в нем, под влиянием Ольги, произошла большая перемена к лучшему. Он не кутил, не ездил к цыганам, сидел дома. Ольга, с здоровыми принципами девушка, взяла на себя тяжелую задачу исправить Андрея, привести его ближе к отцу. Она была года на четыре старше Андрея, была прехорошенькая: с черными, гладко причесанными волосами, чудным цветом лица, ласковыми, веселыми карими глазами, с пушком, как у персика, на лице. Она казалась моложе и свежее Андрея.

По просьбе Андрея было продано доставшееся трем младшим Самарское имение и Андрей купил имение под Тулой, недалеко от Ясной Поляны, где и поселился со своей молодой женой.

А 14 ноября того же года Таня вышла замуж за М. С. Сухотина и на другой день уехала с мужем заграницу. Свадьба эта была больше похожа на похороны. Несмотря на то, что все, начиная с отца и матери, старались сдержать слезы и не показать Тане своего огорче-

ния, плакали втихомолку все: родители, Саша, старушка Шмидт, старая няня и экономка Дунечка, горько плакала и сама Таня.

«Событие это вызвало в нас, родителях, такую сердечную боль, какой мы не испытали со смерти Ванички, — писала Софья Андреевна в дневнике. — Всё наружное спокойствие Льва Николаевича исчезло; прощаясь с Таней, когда она, сама измученная и огорченная, в простом сереньком платье и шляпе, пошла наверх, перед тем как ей идти в церковь, — Лев Николаевич так рыдал, как будто прощался со всем, что у него было самого дорогого в жизни. Мы с ним в церковь не пошли, но и вместе не могли быть. Проводив Таню, я пошла в ее опустевшую комнатку и так рыдала, пришла в такое отчаяние, в каком не была со смерти Ванички».[1])

Толстой был теперь еще более одинок. Он скучал без дочерей. С Машой он виделся часто, но постоянной, ежедневной заботы любимой дочери, общения с ней, ему очень нехватало. Коля Оболенский продолжал ничего не делать и тратить Машины деньги, но как-то приручился под Машиным влиянием, подошел ближе к отцу.

С Таней отец виделся гораздо реже. Зимами Сухотины уезжали заграницу, а лето проводили в имении Сухотина, Кочеты. В Вене она лечилась от синьюзита, давно мучившего ее и причинявшего ей страшные головные боли. Но Венские доктора не помогли ей и, вернувшись весной в Москву, она решилась делать операцию — трепанацию черепа.

«Нынче утром совершилась ужасная Танина операция, — писал отец Маше. — Я посидел дома, но не в силах был оставаться... пошел в клинику, надеясь придти к концу. Прошел час, два, всё нет конца... Я с Михаилом Сергеевичем прошел наверх, заглянул в дверь. Хирург спросил: «Лев Николаевич, хотите посмотреть на операцию». Меня позвали, я вошел, лежит труп желто-бледный, бездыханный, ноги выше головы и в закинутой голове дыра в черепе такого размера (чертеж), кровавая и глубокая, пальца в три, и толпа белых и один ковыряет»...[2])

Когда Толстой вышел из операционной, его подхватили на руки, он был бледен, как полотно, и шатался.

Пирогово, где жила Маша, было в 35 верстах от Ясной Поляны. Громадное село было расположено на крутых берегах реки — по одну сторону был машин хуторок, по другую — большое имение Сергея Николаевича Толстого, всего в двух верстах друг от друга. Когда Толстой ездил в Пирогово, он одновременно виделся и с дочерью и с братом. Оболенские жили дружно, но Бог лишил Машу детей. Проносив ребенка 7, 8 месяцев, движение в ней прекращалось и ребенок умирал. Первый раз это объяснили случайностью, но то же повторилось и на второй и на третьей беременности — дети рождались мертвыми. И то же самое, при первой же беременности, случилось с Таней. Страшно было смотреть на сестер, когда, проносив несколько месяцев ребенка, они с замиранием сердца ждали, что вот, вот, снова жизнь ребенка прекратится...

Софья Андреевна готовила внукам приданое, вязала крошечные платьица, шапочки, одеяльца. Но, не родившись, дети умирали в утробах матерей. Обе сестры страстно хотели иметь детей. По потемневшим лицам, заплаканным глазам, близкие уже знали, что случилось. Наступали роды, и... жестокие, безрадостные, никчемные страданья.

Конец 1900 года был нерадостный для семьи. Лёва и Дора потеряли первого сына Лёвушку. Толстой записал в дневнике 29 декабря 1900 года: «У Лёвы умер ребенок. Мне их очень жаль. Всегда в горе есть духовное возмездие и огромная выгода. Горе — Бог посетил, вспомнил... Таня родила мертвого и очень хороша, разумна».[3])

Семья Сергея Николаевича была еще более несчастна. Сын, единственный и старший, поссорился с отцом, отделился и женился против его воли. Девочки Толстые, как их называли, вели замкнутую жизнь, никуда не выезжали, мало кого видели.

Вторая дочь, Варя, маленького роста, почти карлица, влюбилась в повара, тайно от отца с ним перевенча-

лась и уехала. Третья дочь, Маша, вышла замуж за полуграмотного помещика, охотника.

Из трех дочерей Сергей Николаевич любил больше всех старшую, Веру, Танину подругу, прелестную, милую девушку, заботившуюся об отце и очень преданную взглядам своего дяди Льва. Родители всегда волновались за Веру. Она была слабенькая, хрупкая, склонная к туберкулезу, и отец летом выписал башкиров, чтобы они делали кумыс, которым когда-то лечил свое легкие в Самаре Толстой. Страстная натура отца, горячая цыганская кровь матери взяли свое. Вероятно, Вера сама не могла бы объяснить, как это случилось. Среди башкир был молодой, красивый, милый юноша, с узкими, черными глазами, широкими монгольскими скулами и желтоватым цветом кожи. Вера влюбилась в него, забеременела, и уехала куда-то из родительского дома...

Сергей Николаевич ничего не знал. Когда Вера вернулась, на руках у нее был младенец с желто-бронзовой кожей и узким разрезом глаз. Сначала Сергей Николаевич думал, что это Верин приемыш. Но когда он понял, что это Верин ребенок, боялись, что у него сделается удар. Старик был убит горем, раздавлен. Казалось невозможным, чтобы Сергей Николаевич смирился, простил, принял Верочку обратно к себе с ее башкирёнком. Маленькая, робкая, незаметная старушка Марья Михайловна и Верочка дрожали от страха, когда доносились до них громкие крики Сергея Николаевича: «Боже мой, Боже мой! За что же это? О... о... о...!»

Но совершилось чудо. Старик не только принял обратно дочь, но выказал ей столько любви и ласки, что Вера еще больше обливалась слезами, сознавая свой грех и всё горе, которое она принесла отцу. Но прошло много времени, пока Сергей Николаевич согласился увидеть своего внука. Он жил на отдельной половине дома и никогда не заходил в женскую половину и детскую, где жила Вера с мальчиком.

Толстой писал дочери Тане: «Посылаю тебе, голубушка Таничка, письма Маши и Веры, над которыми я плакал и всегда плачу, когда их перечитываю... Я ничего

больше того, что в письмах, не знаю. И странное дело — не хочется знать. Много тут хорошего вызвано этим страшным делом. Как однако благодетельно несчастье».[4])

В ответ на письмо брата Льва, Сергей Николаевич писал: «Наказанье за гордость. Считал, что мои дети не могут ничего подобного сделать: не будь этого, можно было бы два года назад всё это остановить, но гордость помешала, высоко их ставил: как, мои дети? Вот в чем виноват и за что наказан»...[5])

---

[1]) Дневники С. А. Толстой. Изд. Север, 1932 г., т. 3, стр. 122.
[2]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 414 (прим. 47).
[3]) Там же, т. 54, стр. 76.
[4]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 437 прим. 156.
[5]) Там же, стр. 411, прим.

ГЛАВА LV

ЗАХОТЕЛОСЬ НАПИСАТЬ ДРАМУ

Война англичан с бурами (1899-1900) имела большой отклик в России. В бурскую армию шли добровольцы, Красный Крест посылал отряды русских сестер на помощь бурам, в деревнях, среди рабочих, всюду распевалась песня: «Трансвааль, Трансвааль, страна родная, горишь ты, как в огне... Под деревцем развесистым задумчив бур сидит... Сынов всех девять у меня убито на войне...»

Толстой, в глубине души, тоже сочувствовал бурам. Когда интервьюировавший его корреспондент спросил Толстого, как он относится к Трансваальской войне, Толстой сказал: «Знаете ли, до чего я доходил, теперь уж этого нет, я превозмог себя... Утром, взяв в руки газету, я страстно желал всякий раз прочесть, что буры избили англичан... И эта, заметьте, бойня совершается после Гаагской конференции, так нашумевшей».[1])

Но не успела эта корреспонденция появиться в газетах, как сейчас же Толстого стали осаждать письмами и вопросами, в том числе его единомышленник и переводчик Моод: как он, Толстой, мог сочувствовать какой-то одной стороне, вместо того, чтобы осуждать войну вообще?

Ответ на сомнения «друзей» Толстого мы находим в письме, написанном кн. Волконскому. В этом письме Толстой развивает мысли, сходные с теми, которые встречаются в «Войне и мире». Виноваты не Наполеоны, не Вильгельмы и Чемберлены: «Вся история есть ряд точно таких же поступков всех политических людей, как Трансваальская война... До тех пор, пока мы будем пользоваться исключительными богатствами в то время, как массы народа подавлены трудом, всегда будут войны за рынки, за золотые прииски и т. п.».[2])

Эти же мысли Толстой изложил в статьях «Не убий», написанной им после убийства итальянского короля Гумберта, «Рабство нашего времени», «Патриотизм и правительство» и «Единственное средство», написанное несколько позже. Обрисовывая положение рабочих, он снова и снова повторяет мысль о подчинении только одному закону — Божьему, и только исполняя волю Бога, народ может освободиться от рабства правительства, фабрикантов и землевладельцев.

С 1900 года Толстой снова стал более регулярно вести дневник. Каждый человек должен вести дневник, говорил он. Это помогает идти вперед, развивает мозг, как гимнастика развивает наши мускулы. Дневник — толстая тетрадь, в которой Толстой записывал свои мысли и некоторые события вечером, у себя в кабинете. Но кроме дневника, у него всегда, даже ночью, была с собой маленькая записная книжечка. Верхом на лошади, проснувшись среди ночи, он записывал или отвлеченную мысль, или внезапно пришедшую ему в голову подробность к произведениям. Записи эти он, иногда развивая и уточняя, переписывал в дневник. Главное содержание дневника — глубоко философские, постепенно развивающиеся мысли о смерти, о Боге, о любви... и постоянная борьба с собственными грехами — честолюбием, недобротой. Здесь же он часто дает отзывы о прочитанных книгах и о влиянии прочитанного на него самого. Прочитав «Жизнь и учение Конфуция» и «Жизнь и творчество Менция» (Лега), Толстой задумал написать послание китайцам. Чтение Джона Рескина, Декарта, Эмерсона и других философов доставляет ему наслаждение — в них он часто находит созвучие со своими взглядами. Иногда, заканчивая запись, Толстой помечает число следующего дня и ставит буквы: «е. Б. в.» — «если Бог велит», или «е. б. ж.» — «если буду жив», напоминая сам себе, что он должен исполнять волю Бога и постоянно думать о смерти.

Несмотря на то, что Толстой был погружен в свои религиозно-философские работы, он не мог не интересоваться современной литературой. От старых класси-

ков, которыми изобиловал XIX век — период расцвета русской литературы — оставался один Толстой. Он часто говаривал, что не хочет быть похожим на старичков, признающих только старые формы в литературе и осуждающих все новое. Он с большим вниманием и бережностью подходил к молодым писателям.

В то время искусство в России стояло высоко. В Петербурге, под водительством А. Н. Бенуа, создавался новый художественный центр вокруг журнала «Старые годы», в опере появился Шаляпин и такие декораторы, как Коровин, Билибин, Добужинский и др. Балет возносился Дягилевым на небывалую высоту. В Москве, рядом со знаменитым Малым Театром, совершал свою революцию и эволюцию новый Художественный Театр Станиславского и Немировича-Данченко. В музыке, после Чайковского, появились Рахманинов, Скрябин, Стравинский. В литературе наибольшей популярностью пользовались Чехов, Горький, Куприн, Бунин, Андреев, Мережковский. Толстой постепенно знакомился с ними.

Горький впервые посетил Толстого в начале 1900 года. Вероятно, Горький шел с некоторым предубеждением в «аристократический» дом графов Толстых, и его коробило от лакеев, блестящих паркетных полов и всей «буржуазной» обстановки. Сам он был одет в черную косоворотку, штаны на выпуск; каштановые волосы, подстриженные под гребенку, лезли в глаза и он постоянно откидывал их назад; в движениях, в лице с широкими, костлявыми скулами, в походке Горького, было что-то угловатое, непричесанное.

В начале разговора у Горького было впечатление, что он держит экзамен. Но Толстой так ласково и сердечно принял его, что впечатление это быстро сгладилось. Толстой откровенно высказал Горькому свое отрицательное мнение о некоторых его произведениях, похвалил другие, а под конец, прощаясь, сделал ему, с его толстовской точки зрения большой комплимент: «Вы настоящий мужик. Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо, ничего! Умные люди поймут».

Вскоре после этого свидания Горький написал Толстому письмо:

«За всё, за всё, что вы сказали мне, спасибо вам, сердечное спасибо, Лев Николаевич! Рад я, что видел вас и очень горжусь этим. Вообще я знал, что вы относитесь к людям просто и душевно, но не ожидал, признаться, что именно вы так хорошо отнесетесь ко мне».

На что Толстой ответил:

«Я очень, очень рад был вас видеть и рад, что полюбил вас. Аксаков говорил, что бывают люди лучше (он говорил умнее) своей книги и бывают хуже. Мне ваше писанье понравилось, а вас я нашел лучше вашего писания. Вот какой делаю вам комплимент, достоинство которого, главное, что он искренен».

Позднее Толстой записал в Записной книжке:

«Горькому было что сказать и от того успех. Он преувеличивает неверно, но он любит, и мы узнаем братьев там, где не видали их прежде».[3])

В это же время у Толстого в Москве пел Шаляпин. Шаляпин вышел приблизительно из той же среды, что и Горький, но не было ничего «пролетарского» ни в громадной, стройной фигуре Шаляпина, в его милом, простом, типично русском открытом лице, ни в его манере держаться, говорить. Он был прост, весел, голубые глаза его сияли задором, весельем, не было в нем ничего напыщенно актерского. Наоборот, было в нем что-то покоряющее, царственное, по-настоящему барское: «Пришел, увидел, победил».

Под аккомпанемент пианиста Гольденвейзера он пел «Блоху», «Во Францию два гренадера» и другие вещи, и все были в восторге. Но чем больше все присутствующие выражали свое восхищение, тем сдержаннее был Толстой. И только когда Шаляпин, под корявый аккомпанемент Миши Толстого, (Гольденвейзер не знал этой песни), запел «Ноченьку», Толстой воодушевился.

«Чудесно, превосходно», — повторял он.

Из дневника Толстого видно, как произведения других писателей иногда косвенно влияли на его собствен-

ное творчество. В дневнике от 7 мая 1901 года Толстой записал:

«Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи Мурате».[4])

Толстой буквально приходил в восторг от талантливости Чехова. Некоторые рассказы его, как «Душечка», он читал вслух несколько раз. Впоследствии он даже написал предисловие к рассказу и поместил рассказ в недельное чтение своего сборника «Круг чтения».

«Чехов, — говорил он, — в «Душечке» дал идеальный тип женщины — самоотверженной, доброй, основное свойство которой — любовь. И она самоотверженно, до конца, служит тем, кого любит».

«Вот что нравится Лёвочке, — с возмущением говорила Софья Андреевна. — Тип женщины — самки, рабы, без всякой инициативы, интересов! Ухаживай за мужем, служи ему, рожай, корми детей».

«Идеальная женщина это та, — записал Толстой в дневнике от 6 апреля 1900 года, — которая будет рожать детей и воспитывать их по-христиански, т. е. так, чтобы они были слуги Бога и людей, а не паразиты жизни».[5])

Женский вопрос в семье Толстых был одним из тех, которые вызывали постоянные споры между Толстым, которого с восторгом поддерживал сын Сергей, и женской половиной семьи. Толстой иногда очень резко высказывался против женщин, говорил, что весь разврат идет от женщин, что женщина не должна занимать какие-либо общественные, научные и другие должности — ее назначение исключительно семья.

Драм Чехова Толстой не признавал, хотя драме Чехова суждено было косвенно повлиять на писание им «Живого трупа».

В начале года Толстой смотрел «Дядю Ваню» на сцене Художественного Театра и, как он записал в дневнике, он очень «возмутился». «Нет настоящего действия,

движенья, к чему ведутся все эти бесконечные разговоры неврастеников-интеллигентов. Непонятно, что Чехов вообще хотел выразить».

Но когда Толстой посмотрел «Дядя Ваню» в Художественном Театре, ему, как он записал в дневнике, вдруг «захотелось написать драму «Труп». Он тотчас же набросал конспект. «Мне кажется, — писал он, — что в драме «Живой труп» есть нотки, навеянные произведением Чехова. Такова тайна художественного творчества».

И Толстой стал писать драму, задуманную им еще в середине 90-х годов.

История «Трупа» была рассказана Толстому Н. В. Давыдовым. Фабулу этой драмы подробно рассказывает А. Ф. Кони[6]), также причастный к этому делу.

Героиня романа — порядочная, хорошая женщина, вышла замуж за слабого человека, пьяницу, который постепенно опускался всё ниже и ниже. В конце концов он ушел из дому и окончательно спился, превратившись в бездомного бродягу. Несчастная, покинутая мужем женщина, встретила человека, которого полюбила. В то время трудно было получить развод, дело затягивалось и казалось безнадежным. Женщина разыскала своего бывшего мужа и уговорила его симулировать самоубийство. На берегу Москвы-реки нашли мужскую одежду с документами ее мужа и как раз в это же время, по неожиданной случайности, из реки выловили труп мужчины, в котором, совершенно растерявшаяся женщина, опознала своего мужа. Она вышла замуж. Однако, вследствие недоразумения с документом, по которому проживал ее первый муж, симуляция эта была вскрыта полицией, об этом узнали власти и началось судебное дело. Женщину обвинили в двоебрачии и приговорили к пожизненной ссылке в Сибирь. Только благодаря вмешательству А. Ф. Кони в высшей инстанции суда, приговор был смягчен и женщина была приговорена к одному году тюремного заключения.

Сведения о том, что Толстой пишет драму «Живой труп», попали в газеты. Об этом, в пьяном виде, про-

болтался его переписчик, поручик Иванов. К Толстому посыпались просьбы издателей журналов о предоставлении им права напечатания «Живого трупа». Приезжал и Немирович-Данченко, прося дать ему драму для постановки в Художественном Театре. Но Толстой всем отказывал.

«Вы ни за что не угадаете, кто у меня был, — сказал раз Толстой, выходя из своего кабинета. — У меня был — «живой труп»!

Оказалось, что приходил оборванный, опустившийся, несчастный человек, который сообщил Толстому, что он и есть тот человек, «живой труп», которого Толстой описал в своей драме. Толстой принял большое участие в «трупе», помог ему материально, поговорил с ним «по душам» и «труп» обещал Толстому больше не пить. Толстой через друзей устроил его на место, где он и прослужил до конца своих дней.

В другой раз пришел юноша, пожелавший говорить с Толстым наедине. Его прислала мать, та самая женщина, которая судилась за двоебрачие. Юноша был сыном от ее второго брака и передал Толстому просьбу матери не печатать драмы, так как вся трагичная история их жизни, которая, слава Богу, как-то улеглась, могла бы снова всколыхнуться.

Это и было главной причиной, почему Толстой никогда не закончил вполне своей драмы.

11 декабря 1900 года Толстой писал Черткову по поводу «Живого трупа»: «Драму я шутя, вернее — балуясь, написал начерно; но не только не думаю ее теперь кончать и печатать, но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал. Так много более нужного перед своей совестью».[7])

Чертков больше интересовался статьями Толстого, чем его художественным творчеством, и когда Толстой увлекался своим любимым делом, он точно извинялся перед Чертковым.

Только что вернулся из ссылки, где он пробыл два с половиной года, последователь Толстого Буланже, человек горячий, увлекающийся новыми идеями. Ему пришло в голову издавать журнал «Утро», в котором сотрудничали бы Толстой и все видные писатели — Горький, Чехов и другие. На это издательство соглашался дать деньги Солдатенков, пожертвовавший на духоборов 5.000 рублей. Но узнав об этом, Чертков написал Толстому резкие письма от 3-го и 5-го января 1901 года, в которых он упрекал Толстого за то, что он, начиная журнал, ставит себя в необходимость подчиняться цензурным требованиям правительства.

«Мне хочется вам указать на весь компромисс, всю безнравственность, всю измену нашему Хозяину, которые требуются для получения разрешения и для подчинения всем требованиям, связанным с этим поганым делом... (Издание журнала). Все, которые идут за правительственным разрешением», совершают «ряд раболепных, подлых поступков, для которых приходится потерять свое человеческое достоинство и становиться добровольным подхалимом». Чертков кончает письмо еще более резко: «участвовать в подцензурной организации настолько же и еще хуже участия в доме терпимости, насколько душевная проституция хуже, отвратительнее, пагубнее нежели физическая».[8])

На это письмо Толстой, как всегда, ответил кротким письмом — он любит «обличение». Но, обдумав, он написал, что «менее соглашался... очень меня подкупило то, что это (т. е. журнал) побуждало бы меня писать художественные вещи, которые я без этого не буду писать».[9])

Но из журнала ничего не вышло. Солдатенков умер, Буланже денег не получил, да и цензура вряд ли разрешила бы издание этого журнала. Но Чертков, разумеется, был неправ. Создавая в свое время «Посредник», он сам непосредственно имел дело с правительственной цензурой.

[1]) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 425.
[2]) Там же.
[3]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 249. Зап. Книж. 1901 г. весна.
[4]) Там же, т. 54, стр. 97. Дневн. 7 мая 1901 г.
[5]) Там же, т. 54, стр. 22. Дневн. 6 апр. 1900 г.
[6]) Кони, «На жизненном пути», т. 2, стр. 58.
[7]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 443 (примеч.).
[8]) Там же, стр. 452 (примеч.).
[9]) Там же, стр. 453 (примеч.).

ГЛАВА LVI

ОТЛУЧЕНИЕ

Еще в 1888 году поднимался вопрос об отлучении Толстого от Церкви. Свое намерение Победоносцев подтвердил в письме к С. А. Рачинскому в 1896 году, а в 1900 году «По указу Его Императорского Величества Духовная Консистория слушала: отношение первенствующего члена Святейшего Синода Иоанникия»... в котором идет перечисление причин, по которым Толстой должен быть отлучен. «Совершение панихид и заупокойной литургии по гр. Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния и примирения с церковью, несомненно смутит верных чад св. церкви и вызовет соблазн, который должен быть предупрежден. В виду сего Св. Синод постановил: воспретить совершение поминовения, панихид, заупокойных литургий по графе Льве Толстом, в случае его смерти без покаяния».[1])

Официально опубликовано постановление Синода было 22 февраля 1901 года.

...«в наши дни, Божьим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери, церкви православной, и посвятил литературную свою деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, противных Христу и церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и крепка была Русь святая...»[2])

Этот документ был подписан Антонием, митрополитом С. Петербургским и Ладожским, еще двумя митрополитами и 4-мя епископами.

Вероятно правительство, главным образом Победоносцев, не ожидало того действия, которое произвело это отлучение. Софья Андреевна писала своей сестре Тане Кузминской в Киев: ...«пережили эти дни здесь много интересного. После ваших киевских студентов, взбунтовались наши — московские. Но совсем не попрежнему: разница в том, что раньше студентов били мясники и народ им не сочувствовал. Теперь же весь народ: приказчики, извозчики, рабочие, не говоря об интеллигенции — все на стороне студентов».[3])

24 февраля была громадная демонстрация. Тысячные толпы народа собрались на площадях, на улицах. В этот же день было напечатано во всех газетах сообщение об отлучении Толстого. Толстой, который, по обыкновению, пошел на прогулку, попал на Лубянскую площадь. Какой-то человек, узнав его, крикнул: «Смотрите, вот дьявол в прообразе человека!» Немедленно громадная толпа окружила Толстого, кричали ура, сдавили его тесным кольцом... С помощью конного жандарма Толстой едва выбрался из толпы, его посадили на извозчика и он приехал домой.

В то время шло повсеместное брожение. Революционеры, взбунтовавшееся студенчество воспользовались фактом отлучения Толстого, чтобы создать из него своего революционного героя, выставив его жертвой ненавистного им строя, и тем поставили Толстого в трудное положение. Он не мог не стать на защиту тех студентов, которых за беспорядки правительство жестоко наказывало, но он не мог и не осуждать революционеров, готовых употребить насилие и террор, чтобы захватить власть в свои руки.

«Люди, имеющие в виду народ и его благо, — записал он в дневнике, — совершенно напрасно, — и я в том числе, — приписывают важность волнениям студентов. Это собственно раздор между угнетателями — между

уже готовыми угнетателями и теми, которые только еще хотят быть ими».[4])

У Толстых в доме шло страшное волнение — все, от мала до велика, были возмущены «отлучением». Шестнадцатилетняя Саша и ее ровесник Миша Сухотин, Танин пасынок, живший у Толстых, обуреваемые духом протеста и революционным пылом, жаждали деятельности, мечтая о несбыточных геройских выступлениях против правительства. Было волнительно-весело. Софья Андреевна даже записала в дневнике: «Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера — целые толпы...» (6 марта 1901 г.)[5]).

Софья Андреевна разделяла общее настроение. Быстрыми, легкими шагами она бегала в страшном волнении по дому, не переставая разговаривала то с мужем, то с посетителями, выражая свое возмущение, и затихала только на время, за письменным столом. Она написала письмо Св. Синоду:

«Горестному негодованию моему нет предела, — писала она. — И не с точки зрения того, что от этой бумаги погибнет духовно мой муж: это не дело людей, а дело Божье. Жизнь души человеческой с религиозной точки зрения никому, кроме Бога, не ведома и, к счастью, не подвластна...» «Для меня непостижимо распоряжение Синода, — писала она дальше. — Оно вызовет не сочувствие (разве только «Московских Ведомостей»), а негодование в людях и большую любовь и сочувствие Льву Николаевичу. Уже мы получаем такие изъявления — и им не будет конца — от всего мира. Не могу не упомянуть еще о горе, испытанном мною от той бессмыслицы, о которой я слышала раньше, а именно: о секретном распоряжении Синода священникам не отпевать в церкви Льва Николаевича в случае его смерти. Кого же хотят наказывать? — умершего, не чувствующего уже ничего, человека, или окружающих его, верующих и близких ему людей? Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священни-

ка, который не побоится людей перед настоящим Богом любви, или непорядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели?»...[6])

Ответ митрополита Антония не удовлетворил Софью Андреевну, Толстой же просто не стал читать его. Возбужденное настроение вокруг Толстого продолжалось. Письмо Софьи Андреевны было напечатано во многих заграничных газетах. По Москве распространялись басни «О семи голубях» (7 иерархов), «Победоносцев» и «Осел и Лев», осмеивавшие действия правительства. Басня «Осел и Лев» начиналась так: «В одной стране, где правили ослы, лев завелся...»

Если целью Синода было унизить Толстого, ослабить его влияние, то они своим отлучением добились обратного. Особенно неудачно было то, что это совпало с демонстрациями по всей России. Революционеры не дремали. 4-го марта в Петербурге, на Казанской площади, произошла крупная демонстрация. Полиция стала разгонять толпу, многие были избиты, пострадали некоторые видные общественные деятели, писатели. На защиту избиваемых выступил князь Вяземский, генерал, член Государственного Совета. Ему вследствие этого был объявлен Высочайший выговор и он был выслан из Петербурга.

Протест против действий полиции на Казанской площади, обращенный к министру внутренних дел, подписали 155 писателей, после чего последовала бумага от градоначальника Петербурга с приказом о закрытии Союза Писателей. Этот поступок еще больше возмутил общественное мнение и Союзу Писателей было написано приветствие со многими подписями — первой стояла: Лев Толстой. Кроме того, Толстой написал письмо князю Вяземскому, с выражением уважения и благодарности за его заступничество за невинных людей, которые избивались на Казанской площади полицией. Не избежал преследования и Горький — его посадили в тюрьму и Толстой писал в Петербург, прося его освободить.

Миша Сухотин и Саша, наконец, нашли применение своей энергии. Во все свободные минуты от уроков они

переписывали басни, ответ Синоду Софьи Андреевны, запрещенные вещи Толстого. На каждой копии делалась надпись крупными буквами: «просим распространять». Но работа была кропотливая, непроизводительная. Один раз вечером Миша Сухотин, с таинственным видом, протащил к себе в комнату что-то тяжелое... Это был гектограф — в то время запрещенный правительством для частного пользования.

Работали ночами. Это было похоже уже на типографию. Выпускали сотни экземпляров запрещенной литературы. Но как-то ночью, когда сотни листов с кривыми лиловыми строчками были разложены на Мишиной кровати, на стульях, комоде — вошла Софья Андреевна. Разразилась страшная буря, часть напечатанных листов была сожжена, гектограф изъят из дома и за Сашей и Мишей установлен строгий надзор.

В дневнике Софьи Андреевны от 30 марта имеется следующая запись: «С Сашей вышло очень неприятно. Она говеть со мной не стала: то отговаривалась, что ногу натерла, а то наотрез отказалась. Это новый шаг к нашему разъединению»[7])

В Москве весело весной. Текут ручьи, копошатся дети, пуская по воде бумажные кораблики, солнце уже греет, звонят, переливаясь, во всех концах Москвы, колокола. В белую, с золотыми куполами церковь входят, крестясь, люди с сосредоточенными, серьезными лицами, многие идут к исповеди. Толстые, и мать и дочь, настроены покаянно, и обе старались вызвать в себе чувство любви и близости друг к другу. В церкви священник, игнорируя всех бедных и старых, провел «графиню» первой к исповеди.

«Даже здесь, в храме Божьем, все для богатых, знатных — нет равенства, нет справедливости. Вот о чем всегда говорил отец. И его, отца, отлучила эта самая церковь, его — доброго, справедливого, заступающегося всегда за слабого, обиженного». В душе Саши стал вопрос: кто же из двух родителей прав? Отец, отрицающий церковь, но всей жизнью своей исповедующий учение Христа, или мать? Кто был прав — отец, или цер-

ковь, его отлучившая? Мысли эти были примитивные, детские, над которыми преобладало чувство, но Саша уже не могла попрежнему, умиленно-радостно простаивать службы — всё вызывало в ней критику, неприязнь. И когда хор слепых девушек пел любимую Херувимскую, Саша, стоя на коленях, горько плакала, но молиться уже не могла. В душе что-то сломилось.

С этого дня в Саше — во мне — произошел перелом. Саша — я — уже больше не была ребенком, я поняла, что должна была избрать свой собственный путь, и вечером я пошла к отцу, в его кабинет, разговаривать. Это был мой первый значительный разговор с отцом. Когда я сообщила ему о своем решении не ходить больше в церковь, он не обрадовался, как я предполагала, он испугался. Он понял то, чего я не понимала, что мое решение было продиктовано чувством, оно не было продумано до конца, как бы он хотел. Он просил меня пойти в церковь, он не хотел, чтобы я огорчала мать. И, действительно, моя мать бурно реагировала на мое решение, упрекала отца в том, что он совратил ее последнюю дочь, но, впрочем, она всегда знала, что Саша глупое, ничем не интересующееся существо, и многое другое говорила она, пока я не успокоила ее, сказав, что пойду с ней в церковь.

У отца в дневнике краткая запись: «Применял в жизни за это время свои молитвы на каждый случай. Говорил об этом с Сашей».

Волнения вокруг имени Толстого продолжались, никогда еще Толстой не достигал такой известности, как теперь, с помощью правительства и Св. Синода. Приветственные телеграммы, письма, адреса, ругательства — тысячами сыпались по адресу Толстого. В Петербурге, на Передвижной выставке, перед портретом Толстого написанным Репиным в Ясной Поляне, во весь рост и босиком (портрет, который, между прочим, Толстой очень не любил), публика, экспромтом собравшись в большую группу, устроила овацию. Какой-то студент вскочил на стул и произнес речь, кричали ура, разукрасили портрет цветами, гирляндами; а когда демонстрация повторилась

еще раз — портрет Толстого, по распоряжению властей, был снят. Группа людей, пройдя на выставку и увидев пустое место, послала Толстому гирлянду цветов и телеграмму: «Не найдя вашего портрета на выставке, посылаем вам нашу любовь».[8])

Все эти волнения расшатали здоровье отца, ослабили его сердце, он очень похудел, постарел, стал прихварывать. Чем больше люди выражали Толстому сочувствие, чем больше писали и говорили о нем, тем сильнее он чувствовал свою ответственность перед людьми.

Он закончил письмо «Царю и его помощникам», где он снова умолял царя ослабить репрессии и дать больше свободы русским людям.

«Как ни трудно верить, что у вас доброе сердце по тем ужасам, которые, не переставая, совершаются вашим именем, — я верю в вас, — писал Толстой государю в первом варианте своего письма. — И когда вы были больны, мне было жаль вас, я боялся, что вы умрете и без вас будет хуже. Я на вас почему-то надеюсь».[9])

В дневнике отец кратко отмечает взволновавшее всю Россию событие: «За это время было странное отлучение от церкви и вызванные им выражения сочувствия, и тут же студенческая история, принявшая общественный характер и заставившая меня написать Обращение к царю и его помощникам, и программу».[10])

Сначала Толстой колебался, отвечать ли на постановление Синода об отлучении его от церкви. 24 марта он набросал первый вариант своего ответа.

«Верю в Бога, — писал Толстой, — которого понимаю как Дух, как Любовь, как Начало всего. Верю и в то, что Он во мне и я в нем. Верю и в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться — считаю величайшим кошунством. Верю в то, что истинное благо человека — в исполнении воли Бога, воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки».

В конце Толстой излагает мысль Кольриджа:

«Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (свое спокойствие) больше всего на свете».[11])

«Я шел обратным путем. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю. И я исповедаю это христианство; и в той мере, в которой исповедаю его, спокойно и радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти».[12])

С замужеством сестер не было никого, кто бы мог систематически переписывать его статьи. Иногда помогала Юлия Ивановна Игумнова, Жули-Мули, как ее прозвали — Танина товарка по школе живописи, изредка появлялся Александр Петрович. Но он всё больше и больше критиковал и обличал Толстого, особенно когда напивался. Толстой даже в дневнике записал: «Пришел Александр Петрович, я его очень холодно принял, потому что он бранил меня. Но когда он ушел, я лишился покоя. Где же та любовь, то признание целью жизни увлечение любви, которое ты исповедуешь, говорил я себе; и успоокился тогда, когда исправил».[13])

В начале мая семья Толстых переехала навсегда в Ясную Поляну. Учить было некого. Миша отбыл воинскую повинность в Сумском полку и женился на девушке, которую он любил с раннего детства — Лине Глебовой. Я больше учиться не хотела. К экзамену домашней учительницы я была подготовлена, за исключением Закона Божия, который я умышленно, из протеста, не учила, меня гораздо больше интересовала работа отца, чем уроки с англичанкой, мисс Вельш, чтение Расина и Корнеля с матерью и уроки Закона Божия. Экзамен отложили до осени, но сдать его мне не пришлось. Понемногу я, довольно неуверенно и плохо, начала переписывать рукописи отца.

Отец был очень слаб и Буланже выхлопотал отдельный вагон для переезда в Ясную Поляну. Многие друзья, к которым присоединилась толпа незнакомых людей, провожали Толстого на вокзале, кричали ура, приветствовали его. В Ясной еще жили Лёва с женой, занятый писанием бездарных сочинений и яснополянским хозяйством, и Маша с мужем. Но в Ясной Поляне не было покоя от посетителей, от продолжающих поступать приветствий. Чертков просил Дунаева заняться этим целым архивом писем и телеграмм и списать самые ценные. Маша, Коля и Софья Андреевна ему помогали. Большинство писем были благожелательные, ругательных немного.

«Позвольте мне, — гласит одно из писем, — хоть и не принадлежащему к ученикам вашим, поздравить вас по поводу послания синода от 21-22 февраля с. г., сегодня помещенного в общей печати. Вам, могучему писателю земли русской, удалось невозможное — пробудить от спячки православных и всколыхнуть вековое болото нашего духовенства. Естественно, что сперва из болота брызнуло грязью, но пройдет время — ил осядет, а вызванные вами к жизни источники закроют его потоком воды живой, ибо жизнь есть движение».[14])

Из Женевы группа русских писала:

«Мы искренно желали бы удостоиться той чести, которую оказал вам Синод, отделив такой резкой чертой свое позорное существование от вашей честной жизни. По своей близорукости Синод просмотрел самое главное ваше «преступление» перед ним, то, что вы своими исканиями рассеиваете тьму, которой он служит, и даете сильный нравственный толчок истинному прогрессу человечества».[15])

От Брянского стекольного завода рабочие прислали пресс-папье, большую глыбу красивого зеленого стекла с надписью золотыми буквами: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас, как хотят и от чего хотят, фарисеи, первосвященники.

Русские люди всегда будут гордиться, считать вас своим великим, дорогим, любимым».[16])

«Звероподобному в человеческой шкуре Льву, — писал какой-то человек. — Да будешь ты отныне, анафема, проклят, исчадие ада, духа тьмы, старый дурак. Лев — зверь, а не человек, подох бы скорее, скорее, скот. Один из скорбящих о погибшей твоей душе, когда-то человеческой».[17])

В дневнике (12 июня 1900 г.) Толстой писал:

«Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Несумасшедшие или воздерживаются или не могут участвовать».[18])

История показала, что это смелое, крайнее суждение не только имело основание в то время, но приложимо и к современности.

Наделав ряд ошибок, правительство всё же желало знать, как реагировала публика на отлучение Толстого. Департаменту полиции было дано распоряжение перлюстрировать письма частных лиц, не имевших прямого отношения к Толстому. Некоторые из этих писем не лишены интереса.

Из письма от 26 февраля юрисконсульта Кабинета Его Величества, Н. Лебедева:

«Прочитал сейчас указ Синода о Толстом. Что за глупость. Что за удовлетворение личного мщения. Ведь ясно, что это дело рук Победоносцева, и что это он мстит Толстому... Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого в России, а теперь будут читать сотни тысяч. Прежде не понимали его лжеучений, а синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею, с особой помпой. На могилу его будут ходить на поклонение. Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви и применения истин христианства... Они наряжаются в богатые одежды, упиваются и объедаются, наживают капиталы будучи монахами, забывают о бедных и нуждающихся;

они еретики, не соблюдая делом учения Христа. Если Толстой виновен в искажении учения Христа словом и учением, то он чист делом. Соблюдает это учение в поступках и применяет его, помогая ближнему. Они же удалились от народа, построили дворцы, забыли кельи...»

К Н. П. Агапьевой в Тифлис писали 26 февраля из П-бурга:

«Никто не мог предполагать такой комедии, как официальное отлучение Л. Толстого от церкви. Осрамили Россию на весь мир. Как бестактно в политику вносить личные счеты; это личная месть Победоносцева за то, что Толстой осмеял его в «Воскресении» (Топоров)».

К его превосходительству Д. А. Хомутову в Москву писал 26 февраля Н. М. Павлов из Петербурга. (Павлов — писатель славянофильского толка.)

«Говорю без преувеличения: в Русской истории, со дня учреждения Синода, не было более значительного и чреватого отрицательными последствиями факта, как робкая анафема, наложенная синодом на Толстого. Как нарочно случилось: на открывшейся выставке картин на Большой Морской главную атракцию производит Репина портрет Льва Николаевича: во весь рест в рубахе крестьянской и босоногий; — а внизу подпись: «Приобретено для Музея Императора Александра III». А публика толпится у этого портрета и смеется (конечно, не над графом) — вот, дескать, он — отлученный»...

Полковник военно-судебного ведомства А. В. Жиркевич пишет С. А. Толстой из немецкого курорта:

«Если бы вы знали, как имя Льва Николаевича ценится заграницей. Всюду, во всех городах в окнах магазинов сочинения Льва Николаевича и его портреты. Все говорят о нем. Газеты сообщают все подробности о ходе его болезни, об его занятиях. Я с восторгом и с гордостью за русское имя встречаю это отношение культурных наций к нашему великому писателю. Англичане, немцы, французы, поляки, русские, все без исключения чи-

тают Льва Николаевича, ценят и любят его. Боже, храни его долго, долго еще для России, для человечества! Скажите дорогому больному, что весь цивилизованный мир попрежнему с ним и за него; что на всех концах земного шара прислушиваются к его голосу и стараются жить по его указаниям. А имя его стоит везде на ряду с величайшими гуманистами вселенной».[19])

---

1) Толстовский Ежегодник 1912 г. Изд. Толст. Музея. М. стр. 158.
2) Дневники С. А. Толстой. Изд. «Север», т. 3, стр. 143.
3) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 22.
4) Там же, стр. 25.
5) Дневники С. А. Толстой, т. 3, стр. 145.
6) Там же, стр. 146.
7) Там же, стр. 148.
8) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 30.
9) Полн. собр. соч. Гос. Изд., т. 54, стр. 20.
10) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 30.
11) Полн. собр. соч. Гос. Изд., т. 54, стр. 90.
12) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 26.
13) Полн. собр. соч. Гос. Изд., т. 54, стр. 91.
14) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 28.
15) Там же, стр. 29.
16) Там же, стр. 32.
17) Там же, стр. 32.
18) Полн. Собр. соч. Гос. Изд., т. 54, стр. 31. Дневн. 12 июня 1900 г.
19) Толстой. Памятники творчества и жизни. М. 1917-1923. Вып. 3, стр. 131.

ГЛАВА LVII

«ЗАЧАЛ СТАРИНУШКА ПОКРЯХТЫВАТЬ»

Статья «Чего прежде всего желает большинство людей рабочего народа» постепенно расширялась и была закончена под заглавием «Единственное средство». Кроме того, он написал целый ряд мелких статей: «Солдатская и офицерская памятка» — против войны и воинской повинности, предисловие к роману Поленца «Крестьянин», произведшего на него сильное впечатление, длинное письмо Бирюкову о свободном воспитании, и начал статью о религии и в чем ее сущность. Ответы на письма занимали много времени. Он ответил Румынской королеве Кармен Сильва на ее сочувственное письмо, написал парижскому корреспонденту Пьетро Мадзини длинное письмо на тему о франко-русском союзе, к которому он остался совершенно равнодушен.

«Мой ответ на ваш вопрос о том: что думает русский народ о франко-русском союзе, — писал он Мадзини, — следующий: русский народ — настоящий народ — не имеет ни малейшего понятия о существовании этого союза; но если бы даже он знал об этом союзе, я уверен, что, так как все народы для него совершенно одинаковы, то его здравый смысл, а также его чувство человечности ему указали бы, что этот исключительный союз с одним народом, предпочтительно перед всяким другим, — не может иметь другой цели, как ту, чтобы вовлечь его во вражду, а быть может, и в войны с другими народами, и потому союз этот был бы ему в высшей степени неприятен»...[1])

Весной 1901 г. Репин писал портрет отца акварелью, художник Пастернак зарисовал нашу семью, скульптор Аронсон лепил бюст Толстого. Позирование для художников, скульпторов превратилось в тяжелую повинность для отца. Еще раньше, русский, воспитанный в

Италии скульптор Паоло Трубецкой, вылепил в Москве прекрасные статуэтки Толстого, одна из них верхом на лошади. Летом 1899 года он снова приехал в Ясную Поляну. Отец любил Паоло. В этом громадном, талантливом человеке было что-то наивно детское, милое. Он почти ничего не читал, мало говорил, вся жизнь его была в скульптуре. Паоло был убежденным вегетарианцем: "Je ne mange pas de cadavre!",*) кричал он, если ему предлагали мясо. В мастерской в Петербурге у него был целый зоологический сад: медведь, лисица, лошадь и волк-вегетарианец.

Но бывали посетители гораздо менее приятные. Так, в Ясную Поляну заладил приезжать тульский тюремный священник Троицкий, и приезд его всегда совпадал с болезнями отца. Отец чувствовал себя плохо, когда в конце июня снова появился Троицкий. Отец принял его, но с полной откровенностью сказал, что если он ездит по распоряжению начальства, то это очень дурно, и просил его больше не приезжать.

Отец заболел тяжелой формой малярии и дней десять был между жизнью и смертью: пульс 150 в минуту, с перебоями, одышка. Вызвали докторов. Съехались все дети, приехала тетенька Марья Николаевна. Температура спала, но отец задыхался, слабело сердце. Врачи определили грудную жабу и заговорили о необходимости перемены климата, упоминался Крым.

Графиня С. В. Панина, одна из самых богатых женщин в России, работавшая в то время среди бедноты петербургских окраин и создавшая там один из первых Народных Домов, предложила отцу свой дом на южном берегу Крыма, около деревни Гаспра. На семейном совете решено было принять предложение гр. Паниной и ехать на зиму в Крым.

Все кругом засуетились, делали планы, укладывались, плакали; расставаясь с семьями, повар Семен и лакей Илья, которых моя мать брала с нами.

Отец жил вне этой суматохи. В дневнике от 16 июня он писал:

---

*) «Я не ем трупов!»

«Болезнь была сплошной духовный праздник, и усиленная духовность и спокойствие при приближении к смерти, и выражение любви со всех сторон».[2])

Выехали из Ясной Поляны в сырую, темную, осеннюю ночь, в двух колясках: отец с матерью, Маша с Колей, Буланже и я. Лошади шагом, осторожно пробирались полторы версты по колеистой проселочной дороге до шоссе. Конюх Филечка освещал дорогу ярким желтым светом керосинового факела. На душе было неспокойно. Отец был так слаб, что едва держался на ногах. Только один Буланже чувствовал себя героем и всех подбадривал. Он выхлопотал у себя на службе, на Московско-Курской дороге, отдельный вагон, который должен был довезти нас из Тулы до Севастополя. Вагон оказался великолепным, с кухней, столовой, отдельными спальнями. Но вид отца нас всех напугал — он казался таким измученным, больным. Померили температуру — жар. Что делать? Как ехать дальше? Но Буланже опять уговорил. 15 верст езды на лошадях обратно в Ясную Поляну труднее сделать, чем 1.000 верст до Севастополя со всеми удобствами в вагоне, а там... солнце, тепло... В три часа ночи поезд тронулся. На утро температура спала, отец доволен, уже диктует Маше...

К вечеру замелькали белые, чистые мазанки, сады, теплее воздух — поезд подходил к Харькову. Мы собирались идти обедать на вокзал, но обедать не пришлось. Что это? На платформе море человеческих голов... колышется толпа, пробиваясь к поезду, обнажаются головы... Я выскакиваю на площадку вагона.

«Толстой! Лев Николаевич! Здесь? Делегация! Пустите нас! Урра! Толстой!» — кричала толпа. Я в ужасе бросилась обратно в вагон. «Отец умрет от волнения! Сердце не выдержит... Что делать?»... проносится у меня в голове.

«Толстой! Урррa! Урррa!» — гудит толпа. Буланже вводит к отцу одну делегацию, другую... Толстой ласково говорит с ними, он бледен, губы посинели, дрожат руки, прерывается дыханье. Мы с Машей переглядываемся. Наконец, кажущиеся бесконечными 20 минут стоянки по-

езда на вокзале на исходе. «Просим Толстого показаться, просим к окну!» — кричала толпа. Поддерживаемый сзади матерью и Буланже, отец встает у окна, машет рукой. На лице капли пота... Поезд медленно трогается. «Урррра!» — ревет толпа и бежит по платформе за поездом, махая шапками. Отец вытирает слезы... Когда его, наконец, уложили, сделался сердечный припадок, он задыхался, поднялась температура. Эта Харьковская демонстрация могла стоить ему жизни!

На следующее утро мы подъезжали к Севастополю. Толпа на Севастопольском вокзале была небольшая. Полиция наводила порядок, отца сразу же провели под руки и посадили в коляску. Четырехместная извозчичья плетенная коляска, запряженная парой крепких лошадей, довезла нас до лучшей Севастопольской гостиницы Киста. Солнце, мягкий южный воздух, по заливу снуют многочисленные суда, катеры, рыбачьи лодки. Отец ожил, он с интересом рассматривал город. «Где же 4-ый бастион?» — спрашивал он у извозчика. Тот 4-ый бастион, где подпоручик артиллерии Толстой в 1855 году защищал город во время осады его англичанами. В те сутки, которые мы провели в Севастополе, отец гулял по городу, стараясь найти свой 4-ый бастион, встретил даже сына своего старого севастопольского приятеля, посетил военный музей.

В Гаспру ехали на почтовых, в двух колясках. В одной — родители, Буланже и я, в другой — Оболенские и присоединившийся к нашей компании в Харькове пианист Гольденвейзер. Первая половина дороги ровная — селенья, поля, степь. Но вот дорога пошла вверх — выше, выше и мы подъехали к Байдарским воротам, мягким подъемом среди букового леса. Живописно, но ничего особенного. И пока мать хлопотала с завтраком, я побежала вперед, за ворота, и остолбенела — в первый раз увидела я и реально ощутила безбрежность моря, раскрывшегося перед глазами и лежавшего далеко внизу, у наших ног. Яркие зеленые берега, сады, налево Яйла, такая же торжественная, величавая, как море. И Маша, и отец, и Буланже, который веселился как ребенок, пони-

мали мой почти детский восторг. Хотелось скорее нестись дальше, дальше, в этот волшебный край, к морю, к садам, в горы...

Стемнело, когда мы подъезжали к Панинскому дворцу. Зашелестели колеса по гравию, среди двора журчал фонтан, в темноте едва обрисовывались две башни, темные гранитные стены, купол домовой церкви... В дверях стоял, с хлебом-солью в руках, старенький, улыбающийся немец-управляющий гр. Паниной, Карл Христианович Классен.

Хотя отец начал постепенно поправляться, он продолжал думать о смерти и готовиться к ней. Умер старый друг семьи, граф Адам Васильевич Олсуфьев. «Скоро и моя очередь, — писал отец брату Сергею 6 ноября 1901 г. — Утром ходил, за 10 минут говорил, знал, что умирает, прощался со всеми, давал советы детям и часто повторял: «Я никак не думал, что так легко умирать».[3])

Недели через две отец ходил на прогулку и мы ездили с ним верхом в Алупку и к морю. Классен указал мне татарина, у которого можно было доставать лошадей, мы наняли коляску, и у того же татарина я нанимала верховых лошадей для отца и себя.

Оболенские переехали в Ялту и я начала переписывать рукописи отца. Сначала я ничего не могла разобрать. Буквы — косые, высокие — сливаются. По смыслу — угадывать не могу, не всё понимаю (отец в то время писал: «Что такое религия и в чем ее сущность»). Как я ни старалась, выходило очень плохо: пропуски, строчки кривые, кое-где чернила расплылись, закапанные слезами. Совестно было нести переписанное отцу, я проклинала свою неспособность, глупость, молодость.

Привыкла я постепенно, и скоро перешла с рукописной переписки на машинку «Ремингтон» — это забавляло меня. Между делом я успевала съездить в Ялту верхом, сбегать к морю, нарвать чудного винограда «Изабелла», которыми была обвита вся нижняя мраморная терраса, сыграть с Горьким и его сыном Максимкой, который жил у моря и часто приходил к нам, в городки.

Отец жил внизу, рядом с гостиной. Мебель, окна в готическом стиле, мраморные широкие подоконники, ковры, вид на море из окон и с широкой террасы, сквозь зелень густого парка, кипарисы, деревья грецких орехов, олеандры, магнолии... Никто из нас не привык к такой роскоши, в Ясной было бедно и серо по сравнению с Гаспрой.

«Живу я здесь в роскошнейшем палаццо, — писал отец в дневнике от 10 октября 1901 года, — в каких никогда не жил: фонтаны, разные поливаемые газоны в парке, мраморные лестницы и т. п. И кроме того, удивительная красота моря и гор. Со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь еще в 18 раз больше». В письме к Чертковым он писал: «Живем мы здесь 5: я с женой, Миша с Колей и Саша. Красота здесь удивительная, и мне было бы совсем хорошо, если бы не совестно».[4])

Гаспра окружена такими же великолепными имениями и дворцами: Кореиз князя Юсупова, имение гр. Шувалова Мисхор, имения великих князей Николая и Петра Николаевичей, Александра и Георгия Михайловичей. Гаспра граничила с Ай-Тодором, имением вел. князя Александра Михайловича, где в это время гостил его брат Николай Михайлович. Узнав, что у Толстого больное сердце, великий князь предложил ему пользоваться так называемой «горизонтальной тропой», на которой не было ни подъемов, ни спусков, и которая тянулась до самой Ливадии, дворца Государя.

Великий Князь сам пришел к Толстому и когда он это сделал во второй раз, то Толстой встретил его словами: «Очень рад вас видеть, я поджидал вас, меня мучила совесть, хочу спросить вас, подумали ли вы, что сделали, когда первый раз пришли ко мне. Ведь я — скарлатина, я отлучен от церкви, меня боятся, а вы приходите ко мне; повторяю, я — скарлатина, зараза, и у вас могут выйти неприятности ради меня, будут на вас косо смотреть, как вы посещаете политически неблагонадежного человека».

Они долго беседовали и остались довольны друг другом.

Разумеется, великий князь не мог признать антигосударственных и антицерковных взглядов Толстого, но он не одобрял окружения своего двоюродного племянника, Государя Николая II. Простота и живой, пытливый ум вел. князя понравились отцу.

В конце декабря Толстой снова написал письмо Царю и просил вел. князя передать его в собственные руки Государя.

«Прилагаю письмо Государю, к сожалению написанное не моей рукой. Я начал было это делать, но почувствовал себя настолько слабым, что не мог кончить. Я прошу Государя извинить меня за это. Письмо посылаю незапечатанным, с тем что, если вы найдете это нужным, могли прочесть его и решить еще раз, удобно ли вам передать ему. Письмо может показаться в некоторых местах резким — правду, или то, что считаешь правдой, нельзя высказывать наполовину — и потому вы, может быть, не захотите быть посредником в деле, неприятном государю. Это не помешает мне быть сердечно благодарным вам за вашу готовность помочь мне. В таком случае я изберу другой путь. Вы же пока оставьте письмо у себя».[5])

В письме Государю Толстой предупреждает его, что если не дать свободы русскому народу — будут «братоубийственные кровопролития». «Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим всему миру просвещением; и потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это делается теперь, посредством всякого рода насилия, усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел... Мерами насилия можно угнетать народ, но не управлять им»...[6])

Великий князь Николай Михайлович, которому Толстой послал письмо в Петербург, обещал передать его в собственные руки Государя. Вот что писал Толстому по этому поводу великий князь:

«Приехав в Петербург 22 января, я получил на другой день ваше послание, которое, конечно, прочел, оставив себе копию, и нашел, что смело могу оное вручить тому, кому оно адресовано. Когда я спросил, могу ли я передать ему это послание, то Государь сказал: «Да, конечно», и через три дня я ему из рук в руки передал письмо ваше. Но, передавая, прибавил от себя: «Прошу из уважения ко Льву Николаевичу мне сделать удовольствие — не давать читать это письмо никому из ваших министров». Государь обещал никому не показывать и сказал, что прочтет оное с интересом... Ведь Государь наш очень добрый и отзывчивый человек, а все горе в окружающих»...[7])

Чехов жил в Ялте и приезжал к Толстому. Еще будучи в Москве, Толстой навещал его в клинике, так как Чехов болел туберкулезом. Независимо от несогласия во взглядах, была взаимная симпатия между ними, и в это свидание в Москве разговор между ними шел о значительном — о бессмертии. Именно потому что Толстой полюбил Чехова, его мучила мысль, что Чехов живет без Бога и невольно Толстой постоянно наводил разговор на эту тему. Этот же вопрос он часто задавал себе и по отношению к Горькому. Он чувствовал силу таланта обоих. Чехов писал прелестные, трогательные, талантливейшие рассказы, Толстой сравнивал его по силе с Мопассаном; Горький писал более значительные вещи, он открывал целый мир и жизнь людей, на которых до тех пор не обращали внимания — мир босяков, пролетариев, угнетенных.

«Рад, что и Горький и Чехов мне приятны, — записал он в дневнике от 29 ноября, — особенно первый». А Черткову он писал: «Видаю здесь Чехова, совершенно безбожника, но доброго, и Горького, в котором гораздо больше “fond“*)[8]). Но в Горьком он скоро разочаровал-

*) Содержания.

ся, главным образом из-за его «На дне», которое создало ему, с помощью Художественного Театра, такую славу. «Горький — недоразумение, — писал он в дневнике. — Немцы знают Горького, не зная Поленца».[9])

Фальш, напыщенность, ходульность в художественном творчестве Толстой не выносил. И эту неискренность Толстой почувствовал в Горьком. Он говорил, что та слава, на которую вознесли Горького, испортила его.

Наоборот, Чехова Толстой ценил всё больше и больше, хотя как-то, после разговора о литературе вообще, Толстой вдруг ласково обнял Чехова и сказал ему: «Голубчик, пожалуйста не пишите больше драм». И Чехов не обиделся. С другой стороны, Толстой «уяснил себе, что он (Чехов), как Пушкин, двинул вперед форму. И это большая заслуга». «Чехов! — воскликнул Толстой в разговоре. — Чехов — это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти что-нибудь такое, что пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в каком-нибудь из них читатель непременно увидит себя и свои мысли»...

Эту правдивую художественную искренность Толстой ценил в Куприне и считал, что он очень талантлив. Что касается той фальши, о которой я упомянула, то больше всего отец ощущал ее в Леониде Андрееве, слава которого только что начинала восходить. Прочитав его прогремевшую «Бездну», отец возмущался: «Выдумано, напыщенно, — говорил он, — точно он старается всех удивить и напугать. А мне, вот, совсем не страшно, а совестно как-то, как от фальшивой ноты»...

Постепенно жизнь в Крыму входила в колею. Отец писал, мать усиленно занималась фотографией, гуляли, ездили верхом, по вечерам приходил повар Семен Николаевич с книжечкой, обдумывался и заказывался обед; у портнихи Ольги, к великому отчаянию всех нас, завелся роман с поваром, у которого дома осталась любимая всеми нами жена его Маша с детьми; лакей Илья Васильевич так же методически и безлично подавал к столу и убирал отцовскую комнату. Он тоже тосковал и иногда они с поваром Семеном напивались с горя и

жаловались друг другу: «Куда нас завезли — с одной стороны море, с другой — горы, деваться некуда!» Софья Андреевна ненавидела Крым, скучала и стремилась домой, и служащие сочувствовали ей.

По вечерам играли в винт: отец, немец Классен, Буланже во время своих наездов, Коля Оболенский. Когда не было партнера, брали меня четвертой. Классен играл классически, Буланже весело и хитро, отец азартно и плохо, назначал большие игры и неизменно ставил штраф. Классен принимал игру всерьез и сердился на отца, когда играл с ним: «Уясно, уясно!» — вздыхал добродушный немец, закатывая к потолку голубые, добрые глаза. «Опять у нас с вами шлем без четырех! Уясно!» Все смеялись.

А мать моя сердилась. «Ненавижу карты! — говорила она. — И девчонку испортили, Сашу приучили к картам!»

Но спокойствие наше длилось не долго. Отец снова и тяжко заболел.

В Гаспру съехались братья и сестры. Сергей почти всё время жил с нами, Оболенские часто приезжали из Ялты, Андрей с Ольгой и маленькой дочкой Сонечкой поселились в одном из флигелей.

Новый 1902 год не принес нам радости. Сначала отец опять стал прихварывать своей обычной желудочной болезнью и не успел поправиться, как его вдруг зазнобило, закололо в боку, поднялась температура и он стал покашливать. Вызвали местных врачей, из Москвы приехал знаменитый д-р Щуровский, из Петербурга — лейб-медик Бертенсон. Температура поднималась, увеличился кашель, врачи поставили диагноз — катаральное воспаление легких. Положение было почти безнадежное. Температура доходила до 40°, неровный, с перебоями, пульс 150 в минуту, короткое, частое дыхание. Все мысли сосредоточились на одном: выдержит ли ослабленное болезнями, волнениями худое, старческое тело новую, страшную болезнь?

Всё, что делалось вне этого, никого не интересовало. Никого не интересовало, что Таврический губернатор получил распоряжение из Петербурга, чтоб в случае кончины Толстого, не допускались по нем заупокойные службы, панихиды; что в свою очередь губернатор дал распоряжение Московско-Курской жел. дороге, чтобы после кончины Толстого, когда будут перевозить его тело в Ясную Поляну, не задерживать поезда в населенных местах.

Никто не придавал значения тому, что митрополит Антоний даже писал моей матери, прося ее убедить мужа примириться с церковью. А отец, узнав про это, только сказал: «От Тебя исшел, к Тебе иду», — вот моя последняя молитва: «Да будет воля Твоя». Синод был обеспокоен.

«Вывели, помогли выйти Л. Н. из церкви эти владыки духовные, а теперь ко мне подсылают, чтобы я его вернула. Какое недомыслие!»[10]) — писала Софья Андреевна в дневнике.

Дежурили у отца подвое, врач и кто-нибудь из нас: моя мать, Маша, Сережа, Буланже или Количка Ге, когда они приезжали, Жули, допустили и меня. Я сменяла мать в 4 часа утра. Беспрестанно совещались: Щуровский, в то время большая знаменитость в Москве, придворный врач Бертенсон, земский врач Волков. Ежедневно приезжал из Ялты д-р Альтшуллер, сам туберкулезный. Мы смотрели на них как на спасителей, мы ждали их, мы надоедали им своими бесконечными вопросами. А мать тревожилась: «Но что же мы для них сделаем, ведь это ужасно. Никто не хочет брать денег!»

Болезнь затягивалась — разрешался фокус в одном месте, и немедленно обнаруживались хрипы в другом. Отец готовился к смерти и вся эта суета вокруг него казалась ему ненужной. Помню, как во время моего дежурства, когда мы с Буланже были в комнате, отец, обращаясь к нему, сказал:

«Что может быть прекраснее народного языка, вот вы послушайте:

Зача́л старинушка покряхтывать,
Зача́л старинушка покашливать,
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку, да и в могилушку.

— Разве не чудесно? — спросил он, одновременно смеясь и глотая слезы. — Вот так и я: «пора старинушке под холстинушку». И так у них (у народа) это просто, естественно, без докторов, без всякого fuss'а».*)[11])

А я не понимала, почему эти стихи вызывали умиление и восторг отца, мысль о могилушке и 17-ти летнем возрасте вызывала не восхищение, а слезы.

Ночь кризиса останется памятна на всю жизнь. Ходили, как мрачные тени, Таня с мужем, Сережа, Маша, помрачневшие Илья, Лев, Миша, Андрей, Маша. Мать не отходила от отца. Врачи явно нас избегали. Надежды у них почти не было. Только один земский врач Волков, увидав, вероятно, полное отчаяние на моем лице, ободрил меня. Никто не спал. Щуровский, Альтшуллер не отходили от отца, следя за сердцем. К утру нам сказали, что кризис миновал.

Теперь, когда отец стал поправляться, меня всё чаще и чаще пускали к нему. Теперь уж я и по утрам помогала ему, расчесывала его мягкие волосы гребнем, умывала его, растирала его худые ноги. Отец не мог стоять на ногах и был так слаб и худ, что страшно было смотреть на него. Уже грело весеннее солнце. Отца сажали в кресло на колесах и подвозили к окну, чтобы он мог смотреть на море, на зазеленевшие сады.

И здесь в Крыму трудно было нам избавиться от назойливых посетителей. Приезжал на автомобиле писатель Сергеенко и повез отца кататься. Автомобилей было еще очень мало в России и это событие всех очень взволновало, особенно когда отец решился на нем поехать.

Один раз из Ялты приехала целая компания «посмотреть» на Толстого. Им сказали, что Лев Николаевич болен и никого не принимает. Но они так слезно умоля-

---

*) Суеты.

ли, что, наконец, моя мать смилостивилась и отца выкатили к окну в его кожаном кресле.

«Лев Николаевич, — начал один из посетителей. — Мы так счастливы, мы так хотели познакомиться с великим писателем земли русской... Кто же не читал ваших бессмертных произведений «Войну и...»

Но ему не суждено было кончить. Из задних рядов, усиленно работая локтями, выкатилась маленькая, толстенькая дама. Она подбежала к Толстому, схватила его руку и начала с силой ее трясти. «Лев Николаевич, наш дорогой, обожаемый. Ах, как я взволнована... Я читала ваше бессмертное произведение «Отцы и дети»...

«Детство и отрочество», «Детство и отрочество», — подсказывали ей громким шопотом сзади.

«Ах, не приставайте, пожалуйста, — отмахнулась толстушка. — Я и «Детство и отрочество» читала, конечно, но «Отцы и дети», — она сложила толстые ручки на груди и закатила глазки: — потрясающее, незабываемое впечатление»...

Мы все разразились громким хохотом. Отец едва едва сдерживался. Посетители были смущены.

2-го февраля отец просил Машу записать в дневнике следующую мысль: «Огонь разрушает и греет. Также и болезнь. Когда здоровый стараешься жить хорошо, освобождаясь от пороков, соблазнов, то это делаешь с усилием и то как бы приподнимаешь одну давящую сторону, а всё остальное давит. Болезнь же сразу приподнимает эту грязную чешую и сразу делается легко, и так страшно думать, что, как это знаешь по опыту, как только пройдет болезнь, она опять наляжет всей своей тяжестью».[12])

Но, даже когда он начал постепенно поправляться, мысли о смерти не покидали его. 21 марта он записал в дневнике: «Выхожу из этой жизни по воле Того, Кто мне дал ее, спокойно отдаюсь ей, зная ее только как источник высшего блага — жизни».[13])

В середине февраля я заболела каким-то странным, но серьезным желудочным заболеванием с сильным жаром и большой слабостью. Отец теперь лежал в большой

комнате с террасой наверху, я лежала рядом. Мать тосковала. Ей хотелось поехать в Москву, послушать концерты. Несмотря на то, что она самоотверженно ухаживала за отцом, делала всё, что она могла, чтобы выходить его, душевная жизнь их шла врозь.

Понемногу отец начал диктовать. «Предстоят работы, — писал он в дневнике 21 марта, — 1) об истинном значении христианства, 2) к духовенству, 3) к молодежи».[14]) Он продиктовал письмо к Николаю Михайловичу о проекте Генри Джорджа[15], обдумывал статью по поводу жестокого подавления крестьянского движения в Харьковской и Полтавской губерниях, писал письма.

Родные стали разъезжаться — Таня с мужем, Андрей с семьей. Софья Андреевна радовалась, что мы скоро выберемся из ненавистного ей Крыма. Я встала, опять стала понемногу помогать отцу. Стояли яркие весенние дни, отцвел миндаль, зацвели розы, магнолии. На душе было радостно, но радость эта продолжалась не долго. Отец опять почувствовал себя плохо: жар, боли в животе. Врачи поставили диагноз: брюшной тиф. Снова приехали Таня, Илья, Буланже. Снова надежда сменялась отчаянием. Казалось, что измученный организм не выдержит новой тяжелой болезни.

Брат Сергей не отходил от отца. Отец сказал матери: «Удивительно, никак не ожидал, что Сережа будет так чуток, так внимателен», — и голос его задрожал от слез.[16])

К концу второй недели опасность миновала, отец стал поправляться, появился аппетит, ему захотелось на воздух, на солнце. Сестры, Илья, Буланже уехали, остался Сережа, с которым мы за это время очень подружились. Отец постепенно возвращался к жизни, стал писать, читать журналы, принимать посетителей. Мы снова стали возить его кататься по окрестностям на лошадях, иногда с Сережей и служащим Ильей катали его в кожаном кресле по горизонтальной тропе в имении великого князя Ай-Тодор.

Один раз мы с Буланже повезли отца в коляске к морю, в Олеиз. Море было тихое, спокойное, прибой узкой белой полоской пенился у берега. На якоре стояли турецкие рыбачьи лодки. Буланже подошел к туркам и о чем-то сговаривался с ними. «Лев Николаевич, хотите покататься по морю?» — спросил он отца. Я запротестовала: отец еле ходит, и вдруг пуститься с ним в открытое море с едва говорящими по-русски, одетыми в странные одежды и фески, незнакомыми турками. Но отец обрадовался — он любил необыкновенные приключения.

Его уложили на палубе на турецком ковре, на разноцветные восточные подушки, и не успели мы оглянуться, как перед нами открылся южный берег, величественный Ай-Петри, царящий над лиловато-серой Яйлой. Гаспра с ее башнями, белый, в мавританском стиле, дворец Дюльбер, Юсуповское имение Кореиз — показались нам маленькими точечками. Нам было очень весело, но немного страшно. Когда же мы вернулись домой, то как провинившиеся дети боялись сообщить матери про наше путешествие.

Уехали мы из Гаспры в Ясную Поляну 25 июня. Я снова сильно заболела, у меня был жар, я исхудала, ослабела и не могла ходить. Но мать ни за что не хотела больше оставаться в Крыму. Сережа снес меня вниз по лестнице и всю дорогу с нежной заботливостью ходил за отцом и за мной.

В этот раз мы ехали в Севастополь пароходом. Моя мать, Сережа, Буланже старались охранить отца от любопытных, толпившихся вокруг него. Многие ялтинские жители — д-р Альтшуллер, д-р Елпатьевский — пришли его проводить; тут же на пароходе отец познакомился с писателем Куприным. В Севастополе нас ждал директорский вагон начальника Московско-Курской железной дороги.

На обратном пути снова на больших остановках собирались небольшие группы, приносили цветы, кричали ура! В Курске, где происходил учительский съезд, собрались учителя, во главе с земским деятелем, князем

Петром Дм. Долгоруковым, приветствовать Толстого. Отец, да и все мы, устали от людей, от суеты, и рады были вернуться домой. В Крыму мы все пережили тяжелое время. Казалось, в родной Ясной Поляне отец скорее поправится и заживет нормальной, спокойной жизнью.

По возвращении отец писал брату Сергею Николаевичу:

«Мы приехали третьего дня. Я доехал хорошо. Положение мое такое: ходить могу шагов 200 по ровному и согнувшись. Коленки и суставы в руках болят, сплю мало, но могу работать и всё понимаю и чувствую и могу сказать, что доволен... Очень мне после болезни стала близка смерть и я благодарю Бога за болезни, во время которых многое понял».[17])

В дневнике от 1 июля 1902 г. он записал: «Моя последняя болезнь была сильная потуга рождения, но теперь дан отдых, чтобы набраться силы для следующей, чтобы она была действительна».[18])

---

1) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 46.
2) Там же, стр. 41.
3) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 477, прим. 282.
4) Там же, стр. 476, прим. 279.
5) Литерат. Наследство 37/38, стр. 300.
6) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 56.
7) Литерат. Наслед. 37/38, стр. 303.
Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 606, прим. 840.
8) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 479, прим. 292.
9) Там же, стр. 191. Дневн. 3 сент. 1903 г.
10) Дневники С. А. Толстой. Изд. «Север», 1932 г., стр. 185.
11) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 119.
12) Там же, стр. 123.
13) Там же, стр. 127, 128.
14) Там же, стр. 126.
15) Литерат. Наследство 37/38, стр. 300-302.
16) Днвники С. А. Толстой, стр. 186.
17) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 491.
18) Там же, стр. 134.

ГЛАВА LVIII

«НУЖНО УГОДИТЬ ТОЛЬКО БОГУ»

Отец часто говорил, что для того, чтобы хорошо писать — надо учиться писать. Он возмущался, когда шел приблизительно такой разговор: «Вы пишете что-нибудь?» — «Нет, я еще не пробовал». Отец говорил: «Как нелепо звучал бы подобный ответ на вопрос собеседника: «Вы играете на скрипке?» — «Нет, я еще не пробовал».

Одного таланта мало, нужны правдивость, обработка языка, стиля, знание обстановки, исследовательская работа. Как можно верить писателю, который описывает Пасху в лунную ночь. Или писателю, который берется писать о деревне и не знает, что мужик не будет рубить дуба для оглобель и дуг. Надо знать, что на дуги и оглобли идет только вяз.

Вернувшись из Крыма, отец снова принялся за Хаджи Мурата. «Писал Хаджи Мурата, — записал он в дневнике от 5 августа 1902 года, — то с охотой, то с неохотой и стыдом».[1])

Несмотря на эту запись, отец самым подробным образом изучал материалы того времени: обычаи, нравы, одежду, религию чеченцев; личность наместника Воронцова и его окружение. Особое внимание отец уделил государю Николаю I.

Стасов присылал ему материалы из Петербургской Публичной Библиотеки, отец обращался к вел. князю Николаю Михайловичу с просьбой отыскать переписку Николая I с наместником Кавказа, князем Воронцовым в томе X актов Кавказской Военной Комиссии; обращался он к Александре Андреевне, от которой получил подробную характеристику, описание детства государя и отношения к нему его бабки, императрицы Екатерины II. Конец 1902 года и весь 1903 год, хотя и с перерывами,

Толстой с юношеским увлечением работал над «Хаджи Муратом».

В то же время он исправлял повесть «Фальшивый купон», статью «Обращение к духовенству», свои детские воспоминания для биографии Бирюкова и легенду «Разрушение ада и восстановление его». Легенда эта, сущность которой моя мать не поняла, глубоко возмутила ее.

«Это сочинение, — записала она в дневнике, — пропитано истинно дьявольским духом отрицания, злобы, глумления надо всем на свете, начиная с церкви»... «А дети — Саша, еще неразумная, и Маша, мне чуждая — вторили адским смехом злорадствующему смеху их отца, когда он кончил читать свою чертовскую легенду, а мне хотелось рыдать. Стоило оставаться жить для такой работы! Дай Бог, чтобы не она была последняя; дай Бог смягчиться его сердцу!»[2])

Осенью 1902 года моя мать, собираясь переиздавать все сочинения отца, на издание которых она должна была вложить 50.000 рублей, потребовала у отца, чтобы ей вернули переписанное Машей и подписанное отцом завещание. После бурной сцены, от которой у отца снова начались сердечные перебои, отец, как всегда, уступил просьбе матери.

Коля Оболенский писал Бирюкову:

«... Существование этого завещания с его подписью заставило бы призадуматься тех из его наследников, кто захотел бы пользоваться его сочинениями... после смерти Льва Николаевича можно было бы прекратить нарекания на его память и упреки в том, что вот он говорит одно, а сделал другое. Т. е. можно бы было показать, что он желал сделать и что сделали его наследники, несмотря на то, что — «продажи его сочинений были для него последние десять лет самым тяжелым во всей его жизни». Я говорю «наследники», но в сущности говорю про одну Софью Андреевну, у которой нет ни стыда, ни совести; остальных не имею права никого включать сюда, ибо не знаю их мнений, кроме Сережи, Тани, Саши и Маши... На днях Софья Андреевна пришла

к Льву Николаевичу и сказала, что просит взять эту бумагу у Маши и отдать ей, потому что она имеет к Маше злобные чувства, и тогда это пройдет. Лев Николаевич не решился противиться ей и взял эту бумагу и отдал ей. Я пробовал говорить об этом с Софьей Андреевной, но разумеется ни до чего не договорился... Одно, что она мне ясно сказала: «Я теперь затратила 50.000 рублей на новое издание, и если папа умрет и бумага эта будет обнародована, то я не верну своих денег, и потому я эту бумагу взяла и никому не отдам». Когда я пробовал сказать ей, что всё-таки ее нельзя стереть с лица земли, так как в дневниках она есть, то она беззастенчиво ответила, что «дневники в музее, ключ у нее, и она их положит туда на пятьдесят лет вместе со своими».[3])

Маша с Колей жили в то время в «Кузминском» доме.

«Она убьет отца... Саша, — говорила Маша, в волнении бегая по комнате, — если я умру, ты должна обнародовать всю правду, ты должна знать, что отец по воле матери вычеркнул всё, что он писал о ней в дневнике, ты должна запомнить содержание его завещания»... Она вдруг остановилась и серые отцовские глубокие глаза впились в меня — мне стало страшно. «Очень уж ты молода... но я всё-таки скажу тебе секрет... ты должна знать это... мать пишет дневники post factum по отцовским дневникам, чтобы оправдаться»...

Врачи настаивали, что отцу необходимо жить в верхнем этаже — «больше солнца, суше». Они не вникали в семейные обстоятельства и это была их ошибка. Они не учли, что спальня, в которую перешел отец, была отделена только площадкой от спальни матери. После Крымской болезни отец расстался со своим тихим кабинетом «под сводами» и перешел в две верхние юго-западные комнаты наверху. Моя мать то и дело заходила к нему и он потерял свой покой.

Из итальянской стеклянной двери был ход на открытый балкон с видом в парк, на дальние поля, железную дорогу. Всю мебель из его кабинета перенесли наверх — семейный кожаный диван, сделанные домашним

столяром кресла с деревянными переплетами спинок, семейные портреты. Раньше здесь была детская и почему-то не сняли со стены две нарушавшие характер кабинета гравюры ангелов Рафаэля. Из кабинета одна дверь вела в спальню, где стояла узкая кровать, тумбочка, деревянный умывальник с тазом и кувшином с водой, помойное ведро, которое он, когда был в силах, сам выносил во двор. Другая дверь вела в гостиную и залу.

Как-то вечером (11 сентября 1902 г.) мы все сидели в зале. На столе, уже остывая, затихал самовар, постепеннно расходились спать. Но откуда-то доносился запах гари. Никто не придал этому значения — мало ли откуда могло пахнуть дымом. Но Софья Андреевна не успокоилась. Небольшая дверь с площадки лестницы, рядом с залой, вела на чердак. Здесь, под лестницей, моя мать обычно проявляла фотографии. Когда она открыла дверь, на нее полыхнуло густое облако дыма, заполнившее комнаты.

Что было духа помчалась я на скотный двор, разбудила управляющего и рабочих. На усадьбе не было ни пожарных шлангов, ни водопровода. Воду черпали из колодца и ведрами подавали по вытянувшимся цепью людям на чердак. Пожар потушили.

Оказалось, что вывалились кирпичи из трубы калориферной печки и, как раз над спальней отца, почти до конца истлели толстенные, дубовые балки. Не заметь моя мать вó-время пожара, балки бы прогорели и потолок рухнул бы!

В дневнике от 4 ноября 1902 года отец написал: «За это время важное: суд Афанасия, арест Новикова».

Афанасий Агеев был арестован за глумление над иконами и православной верой. Его жена, простая, неграмотная баба, взятая из Ясной Поляны, равнодушная к идеям своего мужа, понимала только одно: мужа ссылали, лишая его всех имущественных прав. Уголком черного платочка, которым была повязана голова, она утирала слезы и просила отца помочь их горю. Отец хлопотал через своих петербургских друзей, но на этот раз

ничего не удалось сделать. Афанасий был сослан на поселение и жена последовала за ним.

Другой крестьянин-толстовец, пострадавший за свои убеждения, Новиков, был самородок, умный, прекрасно владеющий пером, много читавший и думавший человек. Новиков выделялся в своей округе и когда, по инициативе министра финансов Витте, организовалось «Особое Совещание о нуждах крестьянства», земский начальник предложил Новикову принять участие в Совещании. Новиков согласился и написал толковую и смелую записку о нуждах крестьянства, о необходимости образования народа и пр. По распоряжению министерства внутренних дел Новикова арестовали за вольные мысли. Отец писал Витте с просьбой содействовать освобождению Новикова, и Плеве, к которому обратился Витте, дал распоряжение выпустить Новикова из тюрьмы и сослать в Тульскую губернию, под негласный надзор полиции.

Насколько Новиков был близок отцу своей духовной силой и, главное, чуткостью, настолько вождь духоборов, Петр Веригин, вернувшийся из ссылки и собиравшийся ехать в Канаду, чтобы там присоединиться к своим единомышленникам, был в духовном смысле примитивен. Было что-то узкое, ограниченное в этом сильном и духом и телом, большом, крепком человеке. Старушка Шмидт писала про Веригина: «Очень милый и душевный человек... но Лев Николаевич сказал о нем: «Он очень хорош и сильно может влиять на людей, но еще не родившийся духом человек».

7 декабря отец снова заболел. Д-р Никитин, наш домашний врач, лечивший его, предполагал, что это новый приступ малярии. Но моя мать объяснила это иначе: «Мучительно преследует меня мысль, что Бог не захотел продлить его жизнь за ту легенду о дьяволах, которую он написал».[4])

Опять начались дневные и ночные дежурства, вечный страх, сосредоточение всего дома на градусах, пульсе...

«Сегодня у меня нехорошее чувство сожаления о даром тратившихся силах на уход за Львом Николаевичем, — пишет Софья Андреевна 8 декабря. — Сегодня в Москве второй концерт Никиша, — это была моя самая счастливая мечта быть на этих двух концертах, — и, как всегда, я лишена этого невинного удовольствия, и мне грустно и досадно на судьбу».[5])

Но, к счастью, болезнь на этот раз не затянулась, отец быстро поправился и вернулся к своим занятиям.

В начале апреля 1903 года с молниеносной быстротой распространилась весть о еврейских погромах в Кишиневе и вызвала неслыханное возмущение среди интеллигенции и лучших представителей аристократии. К Толстому посыпались сотни писем и телеграмм. Профессор Стороженко от группы писателей и ученых, среди которых были князь Трубецкой, князь Сумбатов-Южин, Н. В. Давыдов и многие другие, обратились к Толстому с просьбой подписать телеграмму к Кишиневскому градоначальнику, что он охотно исполнил. Целый ряд евреев писали отцу, прося его высказать свое мнение по еврейскому вопросу.

«Отношение мое к евреям не может быть иным, как отношение к братьям, которых я люблю не за то, что они евреи, а за то, что мы и они, как и все люди, сыны одного Отца Бога, и любовь эта не требует от меня усилий, так как я встречал и знаю очень хороших людей евреев», — писал Толстой одному еврею.[6])

Одновременно Толстой ответил писателю Шолом Алейхейму (Рабиновичу), что охотно напишет что-нибудь в пользу пострадавших в Кишиневе.

18 июня 1903 года он записал: «Задумал три новые вещи: 1) Крик теперешних заблудших людей: материалистов, позитивистов, ничшеанцев, крик (Мар. 1, 24): «Оставь: что Тебе до нас, Иисус Назарянин. Ты пришел погубить нас. Знаю Тебя, кто Ты, святой Божий». (очень бы хорошо). 2) В еврейский сборник: веселый бал в Казани, влюблен в Корейшу красавицу, дочь воинского начальника — поляка, танцую с ней; ее красавец старик-отец ласково берет и идет мазурку. И на утро после

влюбленной бессонной ночи, звуки барабана и сквозь строй гонит татарина, и воинский начальник велит больней бить. (Очень бы хорошо). И 3) Описать себя по всей правде, какой я теперь, со всеми моими слабостями и глупостями, вперемежку с тем, что важно и хорошо в моей жизни. (Тоже хорошо бы)».[7])

Этот рассказ «После бала» отец решил передать Шолом Алейхейму. Но, не закончив «После бала», он написал сказки «Царь Асархадон» и «Три вопроса», которые и были посланы в сборник в пользу пострадавших евреев.

28 августа отцу минуло 75 лет. Отец не выносил юбилеев. Он никогда не вспомнил бы сам 50-тилетие своей литературной деятельности (3 сентября 1902 г.), если бы не получил поздравительной телеграммы от членов Художественного Кружка — Чехова, Горького и др. И в этот день — 28 августа — когда ему минуло 75 лет, ему были скорее неприятны многочисленные приветствия, письма, телеграммы, подарки, посыпавшиеся со всех концов России. Собрались почти все дети и внуки. Нам хотелось быть одним в семье, но приехало много гостей «на юбилей Толстого», был торжественный парадный обед, и всё это бестолково толклось, разговаривало, ловило слова «великого человека», «писателя земли русской».*) Это выражение «земли русской» употреблялось в нашей семье иронически по отношению к некоторым людям, которые к Толстому относились именно только как к писателю «земли русской», т. е. к знаменитости. К этой категории мы причисляли П. А. Сергеенко.

Бывают люди, которые, хотите вы этого или нет, необыкновенно ловко проникают в дом. Они умеют преподнести полезный, необыкновенный подарок, умеют во-время польстить хозяйке. Смотришь — человек этот уже сделался частым гостем, завсегдатаем. А сколько таких было, и сколько сил и времени они отнимали у отца! Таков был Сергеенко. Он вечно дарил необыкно-

---

*) Знаменитое Тургеневское выражение «Великий писатель русской земли» было переделано в «земли русской».

венные вещи отцу: палку с раскладывающимся сиденьем, на которое отец мог, во время прогулок, сесть, чтобы записать свои мысли, фонарик, граммофон и т. п. Сергеенко был объектом внутренней борьбы для Толстого. Что-то было отталкивающее в его вкрадчивом, мягком голосе, согнутой высокой фигуре, длинных, точно щупающих пальцах, а главное, в его лести. «Какой противный Сергеенко!» — скажешь отцу. «Противнее тебя?» — спросит он. «Да, да, гораздо противнее! Пусть я хуже, глупее... а он противнее!» Я знала, что в глубине души отец со мной соглашался.

Но были и приятные гости: старушка Шмидт и сияющий счастьем Иван Иванович Горбунов, который к рождению сделал отцу самый дорогой для него подарок: «Мысли мудрых людей», сборник, составленный отцом, который издательство «Посредник» напечатало к этому дню.

3 сентября 1903 года отец писал в дневнике: «28-е прошло тяжело. Поздравления прямо тяжелы и неприятны — неискренно «земли русской» и всякая глупость»...[8])

Как мало людей понимало Толстого! Одни называли его революционером, другие — консерватором, аристократом, упрекали его за «роскошь», кстати сказать, весьма относительную. С кем же в конце концов Толстой?

Он не с правительством, не с революционерами, методы которых он осуждал. Его отрицательного отношения к революционерам не понимали, хотя он совершенно ясно высказывался в своих статьях. Достаточно прочитать мысль, записанную им в дневнике от 21 сентября 1902 года, чтобы понять раз навсегда его отношение к социализму.

«Социалисты видят в трестах, синдикатах осуществление или движение к осуществлению социалистического идеала, т. е. что люди работают сообща, а не врозь. Но работают они сообща только под давлением насилия. Какие доказательства на то, что они так же будут работать, когда будут свободны, и какие доказательства того, что тресты и синдикаты перейдут к рабочим. Гораздо вероятнее, что тресты произведут рабство, от

которого освобождаясь, рабы будут разрушать эти не ими установленные тресты».[9])

«Сторонники социализма это люди, имеющие в виду преимущественно городское население. Они не знают ни красоты, поэзии деревенской жизни, ни их страданий», — писал отец 20 февраля 1903 года в своем дневнике.[10])

Хотя отец несколько раз обращался лично к царю, он вполне сознавал его слабость. В дневнике от 25 июля 1903 года он пишет: «Обращаются к царю, советуя ему сделать то-то и то-то для общего блага. И я делаю это. От него ждут помощи, действий, а он сам чуть держится. Всё равно, как человеку, который еле, еле руками, зубами держится за сук над пропастью советовать помочь поднять бревно на стену».[11])

Отца осуждали правые, левые, даже собственные его единомышленники. Известный поэт-декадент Добролюбов, опростившийся и странствовавший без денег по России, писал своему учителю:

«Лев Николаевич, я хочу сказать прямо и о тебе — ради любви. Ты близок к смерти, ты всю жизнь сражался за некоторую часть веры и за телесный труд, как за неизбежный закон Божий, — пока на видимой земле, подыми еще раз меч за то, не давай повод ищущим повода, разъясни свою ошибку в отдаче именья, чего теперь не исправить, но чтоб не соблазнялись; разъясни еще свою ошибку, как ты признавал, что ты не вышел из барского дома (этого также теперь не исправить по болезни), и разъясни лучше печатно всем (потому что ты печатаешь всё и печатал), кроме того разъясни, что ты признаешь ошибкой, когда оставлял телесный труд (и это при болезни теперь не исправить). Такое признание оградит закон телесного труда и бедности, за который ты боролся всю жизнь, оградит крепче всех суждений от осуждающих. С миром прими, Лев Николаевич, это слово, как слово друга».[12])

«Все наши устремления, старания, порывы сердца, все призывы наших уст, все наши объятия — тщетны и

тщетны... мы всегда одиноки», — писал Гюи де Мопассан в своем «Одиночестве», которое отец так высоко ставил.

Но Толстой обладал громадной, невидимой для других силой, помогавшей ему любить и огорчающих его близких, и несчастного царя, и заблудших революционеров, и обличающих его «толстовцев», и Сергеенок, и не быть «одиноким».

«Все чаще и чаще в минуты неудовольствия, сомнений, вспоминаю, что мне нужно угодить только Богу, к которому иду, а не людям. И становится очень хорошо и легко», — писал он 11 марта 1903 года.[13])

---

1) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 134.
2) Дневники С. А. Толстой. Изд. «Север» 1932 г., стр. 206.
3) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 645, прим. 1035.
4) Дневники С. А. Толстой, стр. 208, 7 дек. 1902 г.
5) Там же, стр. 209, 8 дек. 1902 г.
6) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 81.
7) Полн. собр. соч. Госизд., т. 54, стр. 178.
8) Там же, стр. 190.
9) Там же, стр. 137.
10) Там же, стр. 157.
11) Та мже, стр. 188.
12) Там же, стр. 532, прим. 459.
13) Там же, стр. 160.

ГЛАВА LIX

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

В литературе так же, как и в других областях, отец иногда высказывал диаметрально противоположное общепринятому, установившемуся мнению о том или ином писателе, произведении. Он не любил Гёте, 42-х томные сочинения которого он все прочел, и никогда не разделял восхищения им Тургенева, в то время как Шиллер ему был очень близок.

«Читаю Гёте и вижу все вредное влияние этого ничтожного, буржуазно-эгоистического даровитого человека на то поколение, которое я застал — в особенности бедного Тургенева с его восхищением перед Фаустом (совсем плохое произведение) и Шекспиром, и, главное, с той особенной важностью, которая приписывалась разным статуям Лаокоонам, Аполлонам, и разным стихам и драмам. Сколько я помучался, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался, и никак не мог. Какой ужасный вред авторитеты, прославленные великие люди, да еще ложные!» — записал он в своем дневнике 30 сентября 1906 г.[1])

Слава Шекспира представлялась ему искусственной, наигранной и ему давно хотелось высказать о Шекспире то, что сидело в нем полстолетия, как он писал Стасову. Брату же Сергею Николаевичу он написал, что хочет доказать, что Шекспир «не только не писатель, но страшная фальшь и гадость».

В статье о Шекспире Толстой доказывает, что миросозерцание Шекспира «есть самое низменное, пошлое... отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления». Что у Шекспира отсутствует техника, дающая внешнюю красоту искусству, «нет естественности положения», языка действующих лиц, «нет чувства

меры» и третьего условия художественного произведения — «искренность совершенно отсутствует».[2])

Кроме этой статьи, у отца на письменном столе лежали две рукописи: «Божеское и человеческое» — рассказ из жизни бывшего революционера. 23 февраля 1904 года отец записал в дневнике: «Хочется написать продолжение Божеского и Человеческого и мне очень нравится».[3])

В конце 1904 года вернулся из ссылки П. И. Бирюков. Он начал писать биографию отца и просил, чтобы он сам написал свое детство. Но отец, к сожалению, мало времени уделял «Воспоминаниям детства». Его захватила работа над сборником «Круг чтения», более подробным, чем «Мысли мудрых людей». Здесь на каждый день мысли распределялись по темам: о любви, о воздержании, смерти и т. п. Начиная с 1884 года, когда отец записал в дневнике о необходимости составить «Круг чтения» с мыслями Эпиктета, Марка Аврелия, Лао Тзе, других мудрецов и Евангелия, отец постоянно возвращался к этой мысли. В 1902 году, во время крымской болезни, отец начал осуществлять свою мечту. Но он не удовлетворился этим и сборник постепенно стал разрастаться в «Круг чтения», с воскресными недельными чтениями. Эту работу отец не оставлял до конца жизни и она доставляла ему громадное духовное наслаждение.

В конце 1903 и начале 1904 года отец писал повесть «Фальшивый купон». Это была совершенно новая для отца форма, где не было центральных действующих лиц, а перед вами проходил целый калейдоскоп людей, гибнущих от внешних соблазнов и сложным путем возвращающихся к Богу. К сожалению, отец так никогда и не закончил своей повести.

Мы жили тихо в Ясной Поляне. Изредка приезжали к нам гости. Американец Вильям Дженингс Брайан с сыном приехал в Ясную Поляну. Он был очень приятен отцу. Ради него, чего никогда не бывало, отец отменил свои утренние занятия, а Брайан так увлекся своим разговором, что отменил свидание с царем. Ему была назначена аудиенция у царя в Царском Селе на следующий

день и он должен был выехать из Ясной Поляны в 12 часов дня, но он послал телеграмму, что не может приехать. Между другими темами разговор коснулся непротивления злу насилием и Брайан привел обычный пример, который употребляли всегда против Толстого. Что если злодей на ваших глазах будет истязать ребенка?

«Я прожил 75 лет на свете, — сказал Толстой, — и еще не встречал этого злодея. Но я вижу как миллионы людей, женщин, детей, гибнут и умирают из-за злодейств правительств». Брайан улыбнулся — он понял Толстого.[4])

Жули Игумнова, Доктор Беркенгейм, заменявший д-ра Никитина, жили с нами. Отец совсем поправился, гулял по утрам, много работал, ездил верхом. Моя мать часто уезжала в Москву, где слушала музыку, занималась изданием книг. Она теперь была очень озабочена сохранением рукописей отца для будущего поколения и начала писать историю свой жизни. Намерение матери было отдать отцовские и свои дневники в Московский Исторический Музей с тем, чтобы никто не имел к ним доступа в течение 50-ти лет.

О войне с Японией никто не думал. Больше всех был ею потрясен отец. Несколько дней он не мог думать и говорить ни о чем другом, пока не отвел душу, написав новую статью против войны — «Одумайтесь». Статья эта, напечатанная за границей, обратила на себя внимание. Лондонский «Таймс», уделивший ей 9½ столбцов, писал: «Это в одно и то же время исповедание веры, политический манифест, картина страданий мужика-солдата, образчик идей, бродящих в голове у многих из этих солдат, и, наконец, любопытный и поучительный психологический этюд. В ней ярко выступает та большая пропасть, которая отделяет весь душевный строй европейца от умственного состояния великого и влиятельного славянского писателя, недостаточно полно усвоившего некоторые отрывочные фразы европейской мысли»...[5])

“Daily News”, напротив, восторженно одобряет статью. «Когда Карлейль, — говорит газета, — толковал о бедной, немой России как о стране, никогда не производившей мирового голоса, он еще не знал, что как раз

в это время среди офицерской молодежи кричал именно голос, к которому прислушиваются все. Вчера Толстой выпустил одно из тех великих посланий к человечеству, которые возвращают нас к первым основным истинам, поражающим нас своей удивительной простотою».[6])

На телеграфный запрос филадельфийской газеты "North American Newspaper", за кого он — за Россию или за Японию — Толстой отвечает:

«Я ни за Россию, ни за Японию, а за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать противно собственному благосостоянию, своей совести и религии».[7])

Несмотря на этот ответ, Толстой, как бы он ни хотел быть беспристрастным, болезненно переживал каждое известие о поражении русских. Он не мог дождаться московских газет, получавшихся с почты на другой день, и ездил иногда верхом в Тулу, чтобы получить свежие известия о ходе войны.

2-го июня отец писал: «Война и набор в солдаты мучает меня». 6-го июня: «Несчастные брошенные солдатки ходят. Читаю газеты, и как будто все эти битвы, освящения штандартов так тверды, что бесполезно и восставать, и иногда думаю, что напрасно, только вызывая вражду, написал я свою статью, а посмотришь на народ, на солдаток, и жалеешь, что мало и слабо написал».[8])

В мае отец писал Тане: «Война давит всех. Сбор запасных производит ужасное впечатление».[9])

1-го июня он писал вел. князю Николаю Михайловичу: «Я никак не думал, чтобы эта ужасная война так подействовала на меня, как она подействовала. Я не мог не высказаться об ней и послал статью за границу, которая, вероятно, на днях появится и, вероятно, будет очень неодобрена в высших сферах».[10])

10 июня Толстой писал К. В. Волкову: «Война захватила вашу семью своим материальным колесом, меня же она давит духовно. Ужасаешься на то, что с такими усилиями и напряжением совершается то, чего не должно, не может быть, если только человек — разумное существо».[11])

Моя мать, между тем, дает в своем дневнике совершенно другое освещение войне: «Война эта в нашей деревенской тишине всех волнует и интересует. Общий подъем духа и сочувствие государю — изумительные. Объясняется это тем, что нападение японцев было дерзко-неожиданное, а со стороны России не было ни у государя, ни у кого-либо желания войны. Война вынужденная».[12])

Из нашей семьи на войну пошел брат Андрей. Бедной Ольге не удалось остепенить своего мужа. Андрей увлекся другой замужней женщиной, оставил жену и двух малых детей, Сонечку и Илью, и, окончательно запутавшись, уехал на Дальний Восток в действующую армию. Моя мать, Илья с женой Соней, Лёва и Миша ездили провожать Андрея в Тамбов, откуда отправляли его кавалерийский полк.

Оба родителя страдали от его слабостей, но любили Андрея. Мать с гордостью описывает сына в дневнике от 8 августа 1904 года:

«Выехали и ординарцы верхами, и мой Андрюша впереди всех в светлой песочной рубашке, такой же фуражке, на своей прелестной кобыле. Так все запечатлелось в моей памяти: завязанные чем-то белым ноги кобылы, прекрасная посадка на лошади Андрюши, и слова старушки: «На лошади-то как сидит ваш сынок — картина, точно у себя в кабинете».[13])

Отец тоже отметил это событие в своем дневнике: «13 июня. — Проводил Андрюшу. Удивительно, почему я люблю его. Сказать, что оттого, что искренен, правдив — неправда... Но мне легко, хорошо с ним. Отчего?»[14])

В этом году Толстой потерял двух с детства родственно близких ему людей. В марте скончалась бабушка Александра Андреевна Толстая — моя крестная. Незадолго до ее смерти бабушка и любимый, но так далеко отошедший от нее Лев, обменялись сердечными письмами. Бабушка была уже тяжело больна. Она благодарила отца за любовь, она была счастлива, что почувствовала

в его письме «ту самую, самую искреннюю нотку, которая всегда звучала» между ними.[15])

«Дорогой друг Alexandrine, — писал отец 26 января 1903 года, — чем старше я становлюсь, тем мне всё с большей и большей нежностью хочется обращаться к вам... чтобы сказать, что я очень и очень люблю вас. Да, вероятно мы уже в этом мире не увидимся; так Богу угодно, стало быть, это хорошо. Не думаю тоже, чтобы мы увидались там так, как мы разумеем свидание, но думаю и вполне уверен, что и в той жизни всё то доброе, любовное и хорошее, которое вы дали мне в этой жизни, останется со мной, может быть, такие же крохи от меня останутся и у вас. Вообще, приближаясь к неизбежному и хорошему пределу, я чувствую, что чем определеннее мои представления о том, что будет там, тем я менее верю в них, и напротив, чем неопределеннее — тем вера в то, что жизнь не кончается здесь, а начинается новая и лучшая там, сильнее и тверже. Так что все сводится к вере в благость Божью — всё, что у Него и от Него, всё то благо. Что как я от Него исшел, родившись, так к Нему иду, умирая, и что, кроме хорошего, от этого ничего быть не может. «В руки Твои предаю дух мой». — Прощайте, милый, милый друг, братски нежно целую вас и благодарю за вашу любовь».[16])

9 февраля 1903 г.: «Спасибо вам, дорогой друг, за ваш ответ на мое письмо. Вы сердцем почувствовали, своим отзывчивым сердцем, искренность и нежность моего чувства к вам, и так и откликнулись. И это очень радостно. — Письмо это вам передаст моя Саша. Она очень хорошая или скорее желающая серьезно быть хорошей. Ее смущает, немножко и меня тоже, при ее свидании с вами, ее неправославие. Не судите ни ее, ни меня строго за это. Я умышленно не влиял на нее, но невольно она по внешности подчинилась мне. Но, как вы знаете, в ее года еще религия не составляет необходимости. А ей много впереди. И когда наступит настоящая религиозная потребность, она изберет то, что ей нужно. — Впрочем, мне совестно писать вам это, как будто я не знаю вашего чуткого сердца»...[17])

Перечитывая в последний год своей жизни свою переписку с «бабушкой», отец говорил: «Как в темном коридоре бывает свет из-под какой-нибудь двери, так, когда я оглядываюсь на свою долгую, темную жизнь, воспоминания об Alexandrine — всегда светлая полоса».[18])

В конце августа скончался дядя Сережа Толстой. У него был рак языка и он жестоко страдал. Отец часто посещал его во время болезни и присутствовал при его смерти. Перед смертью дядя Сережа исповедался и причастился. Отец был рад этому.

26 августа отец писал в дневнике: «Сережа умер. Тихо, без сознания, выраженного сознания, что умирает. Это тайна. Нельзя сказать, хуже или лучше это. Ему было недоступно действенное религиозное чувство, может быть, я еще сам себя обманываю; кажется, что нет. Но хорошо и ему. Открылось новое, лучшее. Так же, как и мне. Дорога, важна степень просветления, а на какой она ступени в бесконечном кругу, безразлично».[19])

В это лето мне минуло 20 лет. Я, как губка, впитывала в себя идеи отца, но они не проникали глубоко в сознание, как у сестры Маши. Во мне не было той жертвенности, аскетизма, которые были в ней до замужества. Не было во мне и цельности сестры Тани — я не мечтала о семье, хотя романы и мечты при лунном свете о каком-то необыкновенном герое и крутились в моей голове.

Отец огорчался моей некрасивости и радовался моей ловкости в спорте и неограниченной веселости и жизнерадостности. Я думала, что следую взглядам отца, потому что была вегетарианкой, одевалась просто, тратила деньги на амбулаторию для крестьян, а это как раз была благотворительность, которую он считал фальшивым добром; зимой я учила ребят в бывшей Таниной мастерской, помогала д-ру Никитину в приеме больных. Но это занятие отец быстро прекратил. «Я прошу тебя больше не ходить в амбулаторию», сказал он. Я протестовала, мне хотелось знать, почему он на этом настаивает. — «Я прошу тебя», — сказал он. И так я никогда и не узнала, почему он не хотел, чтобы я помогала доктору: боялся

ли он, что я заражусь какой-нибудь гадкой болезнью или что я буду кокетничать с доктором?..

В конце 1904 года приехал словак д-р Душан Петрович Маковицкий, друг и последователь отца, который так и остался на многие годы в Ясной Поляне. С Душаном я снова стала ходить в амбулаторию, но способы его лечения были такие странные, что интерес мой к медицине быстро пропал. Русский язык он так коверкал, разговаривая с крестьянами, что я, стоя в аптекарской, где я развешивала порошки или готовила какую-нибудь мазь, хохотала до слез.

Душан был почти святой. С утра до ночи ездил он по больным, помогал отцу и... писал. В кармане у него было множество крошечных карандашей и твердых листков бумаги. И когда отец говорил, Душан, опустив правую руку в карман, записывал его слова. Выпуклые, серые глаза его упирались в одну точку, лысая, с белокуро-седыми волосами и рыжеватой с проседью бородой голова его — застывала в напряженной неподвижности... И записывание это, и святость Душана меня раздражали, и я немилосердно дразнила Душана и мешала его записям. Теперь мне стыдно это вспоминать.

В те годы я даже не сознавала, как далека я была от учения отца. По-настоящему надо было раздать имущество, а мне жалко было. Лошади, которых я так любила и знала, седла, хорошо сшитые английским портным амазонки, теннисные ракеты, коньки, лыжи — всё это требовало денег, и я совсем не готова была отказаться от всего этого.

Отец писал в дневнике от 18 июня 1904 года: «Думал о себе: 1) что не обманываю ли я себя, хваля бедность... Вижу это на Саше. Жаль их, боюсь за них без коляски, чистоты, амазонки. Объяснение и оправдание одно: не люблю бедность, не могу любить ее, особенно для других, но еще больше не люблю, ненавижу, не могу не ненавидеть то, что дает богатство, собственность земли, банки, проценты. Дьявол так хитро подъехал ко мне, что я вижу ясно перед собой все лишения бедности, а не вижу

тех несправедливостей, которые избавляют от нее. Всё это спрятано, и всё это одобряется большинством».[20])

Зимой нередко отец заезжал на каток, где я с армией крестьянских ребят — часть из них мои ученики — каталась на коньках. И я знала, что отец любовался мной, радовался, что мне весело. Характерна его запись в дневнике от 21 января 1905 года: «Слушал политические рассуждения, споры, осуждение, и вышел в другую комнату, где с гитарой пели и смеялись. И я ясно почувствовал святость веселья. Веселье, радость, это — одно из исполнений воли Бога».[21])

Но часто я огорчала его несдержанностью с матерью, глупостью, нелюбовью к «темным». Но больше всего огорчила я его, когда, из-за собственной прихоти, желания иметь свой клочок земли, я купила соседнее имение Телятинки — 130 десятин земли. Я думала, что, передав крестьянам бо́льшую часть земли через крестьянский банк и потеряв на этом довольно крупную сумму денег, я поступила хорошо. Это опять была «благотворительность».

В дневнике 21 апреля 1905 года отец записал:

«Вчера с Бутурлиным был у Петра Осипова, и он жестоко упрекал меня за то, что я говорю, а скупаю землю. Было и больно и хорошо. Почувствовал, как полезно, укрепляюще осуждение, в особенности незаслуженное, и как пагубно, расслабляюще похвалы, и особенно незаслуженные (а они все незаслуженные)».[22])

Петр Осипов имел в виду землю, которую я купила. В крестьянстве нельзя было себе представить, чтобы дочери делали что-либо без ведома главы семейства — отца.

«Чем хуже становится человеку телесно, тем лучше ему становится духовно, — писал отец в дневнике. — И потому человеку не может быть дурно. Я долго искал сравнения, выражающего это. Сравнение самое простое: коромысло весов. Чем больше тяжесть на конце телесном, чем хуже телесно и в смысле славы людской (тоже телесное), тем выше поднимается конец духовный, тем лучше душе».[23])

---

[1]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 248. Дневн. 30 сент. 1906 г.
[2]) Полное собр. соч. Изд. 1913 г., т. 19, стр. 177. «О Шекспире».
[3]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 14. Дневн. 23 февр. 1904 г.
[4]) Маковицкий. Яснополянские Записки, стр. 49.
[5]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 467, прим. 141.
[6]) Там же.
[7]) Гусев. Летопись, стр. 650.
[8]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 44, Дневн. 2 и 6 июня 1904 г.
[9]) Там же, стр. 457, прим. 103.
[10]) Там же, стр. 457; также Литерат. Наследство 37/38, стр. 319.
[11]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 457, прим. 103.
[12]) Дневники С. А. Толстой. Изд. «Север» 1932 г., стр. 226.
[13]) Там же, стр. 229.
[14]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 50, Дневн. 13 июня 1904 г.
[15]) Гусев. Летопись, стр. 648.
[16]) Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. Изд. Толст. Музея, т. 1, стр. 378.
[17]) Там же, стр. 379.
[18]) Из личных воспоминаний. А. Л. Т.
[19]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 83. Дневн. 26 авг. 1904 г.
[20]) Там же, стр. 53. Дневн. 18 июня 1904 г.
[21]) Там же, стр. 119. Дневн. 21 янв. 1905 г.
[22]) Там же, стр. 135, Дневн. 21 апр. 1905 г.
[23]) Там же, стр. 135. Дневн. 21 апр. 1905 г.

ГЛАВА LX

РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием.

Дневник, 22 дек. 1904 г.
Лев Толстой.

20 декабря 1904 года газеты сообщили, что генерал Стессель сдал Порт-Артур японцам, вместе с 15.000 человек гарнизона и всеми орудиями.

Из всей нашей семьи известие это, как это ни странно, больше всех подействовало на отца. Он долго не мог успокоиться. Русский патриот, бывший военный заговорили в нем. Он сам себе признается в этом в дневнике: «Сдача Порт-Артура огорчила меня, мне больно. Это патриотизм. Я воспитан в нем и несвободен от него так же, как несвободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне, но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит в узде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эти эгоизмы атрофируются».[1])

Известия с Дальнего Востока становились всё более угрожающими. Японцы потопили русский флот. Третий сын тетеньки Татьяны Андреевны Кузминской, Вася, моряк-офицер, пропал без вести. Позднее мы узнали, что, продержавшись сутки в море, он был подобран японцами и попал к ним в плен.

«Вчера получилось известие о разгроме русского флота, — писал отец в дневнике 19 мая 1905 года. — Известие это почему-то особенно сильно поразило меня. Мне стало ясно, что это не могло и не может быть иначе: хоть и плохие мы христиане, но скрыть невоз-

можно несовместимость христианского исповедания с войной... В войне с народом нехристианским, для которого высший идеал — отечество и геройство войны, христианские народы должны быть побеждены. Если до сих пор христианские народы побеждали некультурные народы, то это происходило только от преимущества технических военных усовершенствований христианских народов. (Китай, Индия, Афганистанские народы, Хивинцы и средне-азиатские); но при равной технике христианские народы неизбежно должны быть побеждены нехристианскими, как это произошло в войне России с Японией. Япония в несколько десятков лет не только сравнялась с европейскими и американскими народами, но превзошла их в технических усовершенствованиях. Этот успех японцев в технике не только войны, но и всех материальных усовершенствований, ясно показал, как дешевы эти технические усовершенствования, то, что называется культурой. Перенять их и даже дальше придумать ничего не стоит. Дорого, важно и трудно добрая жизнь, чистота, братство, любовь, то самое, чему учит христианство и чем мы пренебрегли. Это нам урок.

Я не говорю это для того, чтобы утешить себя в том, что японцы побили нас. Стыд и позор остаются те же. Но только они не в том, что мы побиты японцами, а в том, что мы взялись делать дело, которое не умеем делать хорошо и которое само по себе дурно».[2])

Отец никак не мог успокоиться. Поражение русского войска имело для него глубокое значение — перед ним уже тогда раскрылась бездна, в которую устремлялась не только Россия, но и всё увлеченное материалистическими благами человечество.

«Это разгром не русского войска и флота, не русского государства, — писал он в дневнике 18 июня 1905 года, — но разгром лже-христианской цивилизации. Чувствую, сознаю и понимаю это с величайшей ясностью. Как бы хорошо было суметь ясно и сильно выразить это. — Разгром этот начался давно: в борьбе денежной, в борьбе успеха в так называемой научной и художественной деятельности, в которой евреи, не христиане, по-

били всех христиан во всех государствах и вызвали к себе всеобщую зависть и ненависть. Теперь это самое сделали в военном деле, в виде грубой силы японцы»...[3])

Революционеры не дремали. Почва для революционеров была чрезвычайно благодарная: поражение русского войска, недовольство рабочих, зажим правительства, малоземелие крестьян. В январе распространился слух, что во время Крещенского крестного хода на Иордань, перед Зимним дворцом, было покушение на Государя, и что снарядом был убит городовой.

9 января 1905 года, под предводительством священника Гапона, 15-ти тысячная толпа рабочих двинулась с петицией к Зимнему Дворцу. Их не допускали туда и разгоняли полиция и гвардейские полки. Были убитые и раненые.

В январе брат Лев получил аудиенцию у Государя и беседовал с ним 1½ часа. Я в это время ездила в Петербург к брату Льву. Я очень была привязана к его милой жене шведке и его детям. Лёва рассказал мне про свое свидание с Государем. Об этом я писала отцу из Петербурга:

«Царь сказал Льву, что доволен, что принял депутацию рабочих, с которыми поплакал, что Земский Собор нужно созвать, но не теперь, пока война еще продолжается... Лёва говорил ему о вегетерианстве, о вине, о табаке и обещал прислать свое сочинение о гигиеническом образе жизни».[4])

«Все учат, учат: Лёва, Стахович, — сказал отец Маковицкому, — а сами не умеют ничего для себя сделать, не умеют себе самовар поставить!»[5])

Приехав 1-го февраля 1905 года из Москвы, моя мать рассказывала, что ей говорили, будто царь сказал Льву Львовичу на аудиенции: «Ваш отец великий человек, но вместе с тем фантазер, например о земле».[6]) Она сообщила также, что генерал-губернатору телеграфировали из Петербурга, что войсками было убито на улицах города 3.000 рабочих и 65.000 стачечников.[7]). Слухи эти распространялись и преувеличивались самими

революционерами. На самом деле в Петербурге пострадало, повидимому, несколько сот человек.

В феврале был убит бомбой в Москве великий князь Сергей Александрович. Я была в то время в Москве и, вернувшись, сообщила отцу эту новость. Отец был возмущен, громко ахал и резко осуждал революционеров-террористов.

«Революция теперь никак не может повторить того, что было 100 лет назад, — писал он. — Революции 30, 48 годов не удались, потому что у них не было идеалов, и они вдохновлялись остатками большой революции. Теперь те, которые делают русскую революцию, не имеют никаких: экономические идеалы — не идеалы».

Отец не верил, что с введением конституции что-либо изменится в России. Умеренные либералы — Стаховичи, Василий Маклаков, князья Долгоруковы — приезжавшие к Толстому, были ему тяжелы, потому что не понимали его равнодушия к их усилиям, направленным к введению конституции в России.

«Несомненный прогресс человечества один, — говорил он, — в области духовной, в самосовершенствовании каждого отдельного человека. И человек может совершенствовать только себя одного, а не других людей государственными реформами... Количество причин, влияющих на движение человечества, огромно, и эти причины очень сложны, так что ничего нельзя предсказать, и смешно приписывать известной внешней реформе важное влияние на движение человечества».

Особенно тяжелы были отцу споры с Сергеем. Они не понимали друг друга. Сергей был «либералом», кадетом. Он был равнодушен к вопросам религиозным и считал, что самое важное добиться в России конституции и свобод. Отец же считал, что только истинное христианство, самосовершенствование каждого человека может улучшить жизнь людей.

«Конституционный подданный, воображающий, что он свободен, — писал Толстой, — подобен заключенному, воображающему, что он свободен, потому что может выбирать тюремщика. Люди конституционных го-

сударств утратили понятие свободы. Человек, живущий в деспотическом государстве — Турции, России, может быть более или менее свободен, хотя и подвержен насилиям власти, которую он не устанавливал, но член конституционных государств, всегда признавая законность власти, под которой находится, всегда раб».[8])

Смолоду у Толстого была нелюбовь к интеллигентам-либералам. При полном незнании, по его мнению, сердцевины России — крестьянского народа, и религиозных основ, которые составляли суть этого народа, эти люди были самоуверенны до предела. Отношение его к либералам ярко выражено в его дневнике 23 декабря 1905 года:

«Теперь, во время революции, ясно обозначились три сорта людей с своими качествами и недостатками. 1) Консерваторы, люди, желающие спокойствия и продолжения приятной им жизни и не желающие никаких перемен. Недостаток этих людей — эгоизм, качество — скромность, смирение. Вторые — революционеры — хотят изменения и берут на себя дерзость решать, какое нужно изменение, и не боящиеся насилия для приведения своих изменений в исполнение, а также и своих лишений и страданий. Недостаток этих людей — дерзость и жестокость, качество — энергия и готовность пострадать для достижения цели, которая представляется им благою. Третьи — либералы — не имеют ни смирения консерваторов, ни готовности жертвы революционеров, а имеют эгоизм, желание спокойствия первых и самоуверенность вторых».[9])

Отец считал, что простой народ неизмеримо выше и мудрее интеллигенции, которая бралась учить его и устраивать его жизнь. 30 июля 1905 г. отец записал: «Интеллигенция внесла в жизнь народа в сто раз больше зла, чем добра».[10])

С беспокойством отец следил за растущим революционным настроением в народе. Всё чаще и чаще отец сталкивался с людьми, отрицающими Бога, материалистами, революционерами, и разговоры с этими людьми всегда расстраивали его.

«Нынче был еврей, — записал он в дневнике 9 сентября 1905 года, — корреспондент «Руси». В конце разговора, вследствие моего несогласия с ним, он сказал: «Этак вы и убийство Плеве признаете нехорошим». Я сказал ему: «Жалею, что говорил с вами», и с раздражением ушел, т. е. поступил очень дурно».[11])

Становилось всё тревожнее и тревожнее... Стачки, студенческие беспорядки. Отец получал всё большее количество обличительных писем с требованием раздать землю, которою он не владел, крестьянам.

«У тебя, говорят, есть земля, даже много земли; — отдай же ее тем, которые своим пóтом удобряют ее, — писал ему один крестьянин. — Начни, сделай то, о чем проповедуешь, великий старче! Твоему примеру последуют и другие. Прими истинное почтение и уважение от крестьянина Григория Чечуги».[12])

23 сентября 1905 г. — «Кончил «Конец века». Сейчас — утро — письмо от интеллигентного сына крестьянина с ядовитым упреком, под видом похвалы «Великому Греху», что я сам не отдаю свою землю. Ужасно стало обидно. И оказалось на пользу. Понял, что я забыл то, что живу не для доброго мнения этого корреспондента, а перед Богом. И стало легко и даже очень. Да, никогда не забывать всю серьезность жизни».[13])

14 сентября 1905 года отец написал письмо вел. князю Николаю Михайловичу, с которым он иногда переписывался:

... «В наших отношениях есть что-то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их. Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим. Спешу прибавить, что вы всегда были особенно любезны ко мне и что я только могу быть благодарен вам. Но всё-таки что-то ненатуральное, а мне на старости лет всегда особенно тяжело быть не простым. Итак, позволь-

те мне поблагодарить вас за вашу доброту ко мне и на прощание дружески пожать вам руку».*)[14])

Великий князь ответил отцу 1-го октября из Петербурга:

... «Я вполне подчиняюсь вашему решению, но с глубокой болью в душе, потому что люблю вас всем моим сердцем и буду просить вас хоть изредка обращаться к вашей духовной помощи в наше безотрадное время. Вы вполне правы, что есть что-то недоговоренное между нами, но смею вас уверить, что, несмотря на родственные узы, я гораздо ближе к вам, чем к ним. Именно чувство деликатности вследствие моего родства заставляет меня молчать по поводу «существующего порядка и власти», и это молчание еще тяжелее, так как все язвы режима мне очевидны и исцеление оных я вижу только в коренном переломе всего существующего. Еще жив мой престарелый батюшка, и из уважения к его личности я должен быть осторожным, чтобы не огорчить своими действиями и суждениями старика. Не сомневаюсь, что вы поймете эти чувства сына к отцу. Итак, до свидания, милейший Лев Николаевич, говорю до свидания, а не прощайте, потому последнее выражение для меня слишком тяжело. Так же крепко жму вашу руку и прошу не изменять ваших чувств ко мне, которые особенно ценю. От всей души обнимаю вас мысленно. Да хранит вас Господь! — Сердечно любящий вас Николай Михайлович».[15])

Ровно через месяц отец записал 23 октября 1905 года:

«Революция в полном разгаре. Убивают с обеих сторон. Выступил новый неожиданный и отсутствующий в прежних европейских революциях элемент — «черной сотни», «патриотов»: в сущности, людей, грубо, непра-

---

*) Два года спустя отец написал вел. князю: «28 февраля 1908 года. ... Мне теперь совестно вспоминать о моем письме 1905 года... Теперь я бы не написал этого. Вы не можете представить, как изменяется жизнь, приближаясь к старости, т.е. к смерти... Теперь мне дороже всего любовное общение со всеми людьми, безразлично кто они, цари или нищие...»[16])

вильно, противоречиво представляющих народ, его требование не употреблять насилие. Противоречие в том, как всегда, что люди насилием хотят прекратить, обуздать насилие. — Вообще легкомыслие людей, творящих эту революцию, удивительно и отвратительно: ребячество без детской невинности».[17])

Манифест, изданный царем 17 октября, в котором народу была дана конституция, свобода слова, печати, собраний, вызвал сначала бурные манифестации сочувствия и восторга в больших городах, но волнения не утихали. Рассказывали, что в Москве дошло до вооруженных стычек между полицией и революционерами, на улицах строили баррикады, друг друга убивают.

Почта, газеты не приходили. Забастовали железные дороги. На станции Козловка застряли поезда, растерянные, голодные пассажиры бродили по окрестным деревням, ища провизии.

Мы питались слухами, всегда преувеличенными, когда они передаются из уст в уста. Среди рабочих, с которыми приходилось встречаться, даже среди некоторых крестьян, была заметна перемена — пропала почтительность, уважение к старшим, появилась некоторая развязность, самоуверенность в тоне.

«Повесят нас революционеры на первой березе», — думала я. Брат Миша, который ожидал третьего ребенка в декабре, никак не мог добраться до Москвы, где была его семья. Наконец, ему удалось нанять лошадей. Проехав полдороги, он позвонил приятелю, спрашивая его о здоровьи жены.

— Благополучно, дуплет! — ответил приятель. — Под звуки выстрелов, в самый разгар революции, родилась двойня: мальчик и девочка.

27 апреля 1906 года открылась первая Государственная Дума, председателем которой был избран С. А. Муромцев. Из близких нам людей в члены Государственной Думы были избраны С. Сухотин, А. Стахович.

Но по всей России чувствовалось тревожное настроение. Репрессии со стороны правительства продолжались, ждали разгона Думы (она была распущена 9 июля

1906 года). В городах шли забастовки, в крестьянском народе развязались языки, рассказывали о тех безобразиях, которые творились на войне, ругали генералов и хотели одного — больше земли; одни надеялись на царя, другие на Думу.

Отец послал Черткову свою брошюру «Правительство, революционеры и народ», для напечатания в Англии, но Чертков задержал ее, прося отца смягчить резкие суждения о революционерах. Статья эта была напечатана несколько позднее и с очень малыми изменениями в подпольном издательстве толстовца Фельтена, в «Обновлении».

Отец как раз в это время был под впечатлением брошюры славянофила Хомякова, которую он назвал «прекрасной». Россия должна идти своим путем. Путь западных народов был бы для славянских народов гибелью. 3-го июля 1906 года он пишет в дневнике:

«Если русский народ — нецивилизованные варвары, то у нас есть будущность. Западные же народы — цивилизованные варвары, и им уже нечего ждать. Нам подражать западным народам всё равно, как здоровому, работящему, неиспорченному малому завидовать парижскому плешивому молодому богачу, сидящему в своем отеле. Ah, que je m'embête! (Ах, до чего мне скучно!) Не завидовать и подражать, а жалеть».[18])

Мысль Толстого, выраженная им в дневнике от 9 марта 1906 года, не только дополняет этот взгляд на тщету устройства внешних форм свободы без внутреннего духовного роста человечества, но звучит как предсказание.

«Как ярко выразилось на революционерах, когда они начали захватывать власть, обычное развращающее действие власти: самомнение, гордость, тщеславие и, главное, неуважение к человеку (курсив мой. А. Т.). Хуже прежних, потому что внове».[19])

---

[1]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 111. Дневн. 31 дек. 1904 г.
[2]) Там же, стр. 139. Дневн. 19 мая 1905 г.
[3]) Там же, стр. 147. Дневн. 18 июня 1905 г.
[4]) Маковицкий. Яснополян. Записки, ч. 2, стр. 20.

[5]) Там же, стр. 26.
[6] Там же, стр. 20.
[7]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 153. Дневн. 31 июля 1905 г.
[8]) Там же, стр. 317. Сент. 1905 г.
[9]) Там же, стр. 175. Дневн. 23 дек. 1905 г.
[10]) Там же, стр. 153. Дневн. 30 июля 1905 г.
[11]) Там же, стр. 160. Дневн. 9 сент. 1905 г.
[12]) Там же, стр. 515. Прим. 383.
[13]) Там же, стр. 163. Дневн. 23 сент. 1905 г.
[14]) Литературное Наследство 37/38, стр. 321.
[15]) Там же, стр. 321.
[16]) Там же, стр. 323.
[17]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55, стр. 167. Дневн. 23 окт. 1905 г.
[18]) Там же, стр. 233. Дневн. 3 июля 1906 г.
[19]) Там же, стр. 206. Дневн. 9 марта 1906 г.

ГЛАВА LXI

РАСКРЫТИЕ

Бывали дни, когда отец ничем иным не занимался, кроме «Круга чтения». Систематическое распределение религиозно-философского учения по дням, неделям и месяцам составляло громадную работу. Отец бесконечное число раз переправлял, пересортировывал изречения, переводя некоторые сложные мысли французских, немецких, английских и американских мыслителей и излагал их более простым языком. Работа была кропотливая. На большом столе в «ремингтонной», иногда в зале, раскладывались все эти материалы по папкам, рассортировывались по дням. Маша, Жули, толстовец Хрисанф Абрикосов, часто и подолгу гостивший в Ясной Поляне, помогали.

Одновременно с этой работой, у отца возникла мысль написать «Катехизис для детей», который дал бы религиозно-нравственные устои детям.

Как-то Марья Александровна рассказала, как она один раз спросила мальчика подпаска: — «Где Бог?» — «На нёбушке» — ответил мальчик. — «Нет, в душах наших» — поправила его старушка Шмидт. — «Больно Он в нас нуждается», — возразил мальчик.[1]) Отец очень смеялся, но рассказ этот его еще больше убедил в необходимости составления «Круга чтения» для детей.

Когда Таня с мужем уезжали за границу, в Ясной Поляне подолгу гостила дочь Сухотина, Наташа, двумя годами старше меня, со своим братом Дориком, мальчиком лет 9-ти. Отец занимался с Дориком каждый день. Вместе они читали Евангелие, отец объяснял его содержание мальчику и они беседовали на религиозно-нравственные темы. Позднее к Дорику присоединились несколько человек Яснополянских ребят из

деревни. Мысль о составлении Закона Божия для детей, систематизированного по дням, всё больше и больше захватывала отца, и постепенно зародился новый «Детский круг чтения».

Благодаря «Кругу чтения» для взрослых, в который отец решил включить воскресные недельные чтения, отец еще в 1905 году и в начале 1906 года написал несколько художественных рассказов: «Корней Васильев» и «Алеша Горшок», особенно яркие по своей художественной силе, — из крестьянской жизни, «За что?» из истории польского восстания, и рассказ «Ягоды».

Кроме этих рассказов, отец неожиданно увлекся историей старца Федора Кузмича, который, по преданиям и по убеждениям некоторых историков, в том числе великого князя Николая Михайловича, был покинувший престол император Александр I.

«Федор Кузмич всё больше и больше захватывает», — писал отец в дневнике 12 октября 1905 года[2]) К сожалению, отец не закончил рассказа. Осенью 1907 года он писал великому князю:

«Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Кузмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности. Я начал было писать на эту тему, но едва ли не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Некогда, надо укладываться к предстоящему переходу. Я очень жалею. Прелестный образ».[3])

Переписывать рукописи отца — было любимым моим занятием, особенно когда он писал художественное. Я могла сидеть ночи напролет, когда у него была спешная работа. Если отец требовал, чтобы я шла спать, я ложилась в постель одетая и делала вид, что сплю, когда он приходил меня проверять, а как только он уходил к себе в кабинет, я снова садилась за свой Ремингтон и печатала всю ночь. Я испытывала острую ревность ко всем, кто хотел меня заменить. Я ревновала к Абрикосову, к Коле Оболенскому, Жули, ко всем, за исключением Маши, кто помогал отцу. Я научилась разбирать его почерк и иногда читала то, что он сам

не мог разобрать, и я самоуверенно (как поручик Иванов) считала, что никто не может лучше меня угодить отцу. Когда утром я приносила ему чисто переписанные листы с двойными строчками и большими полями, чтобы он мог снова поправлять свою работу, и отец ласково улыбался и благодарил меня — я была в полном восторге. Особенно я ревновала к Жули. Она была много старше меня и в ее обращении со мной звучала вполне естественная покровительственно-насмешливая нотка. В такие минуты меня раздражали и ее низкий голос, и стриженные, гладкие волосы, ее плоские шуточки и бесконечные разговоры с Колей Оболенским о политике, которые Жули обычно вела растянувшись в зале на кушетке. Я ревновала даже отцовскую собаку Белку, чудесную белую лайку, которую Жули приучила ходить с ней гулять и которая перестала сопровождать отца на его прогулки...

Но Жули была милым и очень полезным в нашем доме человеком, всегда готовым помочь там, где нужно было. Жули имела привычку к словам добавлять то же слово с приставкой буквы «м»: собака — мобака, кошка — мошка, и т. д. Поэтому мы прозвали ее Жули-Мули. Иногда Жули-Мули преодолевала свою лень, вспоминала, что она художница и писала очень недурные этюды с отца верхом на лошади.

У отца в записной книжечке есть характеристика близких ему людей, между прочим и характеристика Жули-Мули.

«У каждого человека есть высшее для него миросозерцание, то, во имя чего он живет. И он вспоминает только то, что согласно с этим миросозерцанием, нужно для него (для миросозерцания), остальное проскальзывает, не оставляя следа. Так, миросозерцание Сони — жизнь в высшем свете с романом. Миросозерцание Сережи — европейская жизнь. Андрюши — барина. Лев — личное сочинителя гениального. Потом есть смешанные.

Кузминский — государственного человека высшего общества.

Давыдов — чиновника и весельчака.

Таня — Христианина и эпикурейца изящное.

Михаил Сергеевич — Дворянина честного и остроумника.

Юлия Ивановна — Эпикурейца и честное, правдивое.

Илья — Эпикурейца молодца».[4])

Обе сестры, и Таня и Маша, очень любили и ценили Жули.

Осенью 1905 года у нас жила Таня. После нескольких неудачных беременностей, Таня лечилась у одного швейцарского профессора, который, как мы шутя говорили, посадил ее на «макаронную» диэту, состоявшую исключительно из мучной и молочной пищи. Она перешагнула уже через роковой 7-ой месяц, когда обычно в ней умирал ребенок, и донашивала ребенка последние дни. Вся семья наша с волнением ждала этого события. 22 ноября Таня неожиданно легко и быстро родила девочку. «Великое событие, — записал отец в дневнике, — Таня родила».

Но что это была за девочка! Маленькая, сморщенная, сине-красная... Дедушка потребовал, чтобы девочку назвали Татьяной, и само собой вышло как-то так, что она стала называться Татьяной Татьяновной — по матери, а не Михайловной, по отцу.

Зимой Таня с девочкой остались в Ясной Поляне, а не переносивший из-за больного сердца русскую стужу Сухотин и Оболенские решили ехать за границу. На семейном совете решено было, что для расширения моего кругозора и образования мне надо было ехать с ними.

Но заграница не дала мне того, чего мне хотелось. Правда, что я добросовестно, вместе с американскими и английскими туристами, с Бедекером в руках, бегала по всем музеям Парижа и Италии, осматривала все достопримечательности, но я была одна. Маша плохо себя чувствовала, Коля был слишком ленив, чтобы со мной ходить, а Сухотин десять раз уже все видел и ему было неинтересно «расширять мой кругозор».

Я рада была вернуться к отцу, к своей работе, к лошадям, собакам.

Летом 1906 года из Японии приехал к отцу знаменитый японский писатель Кенджиро Токутоми, редактор журнала *Independance*, человек либеральный, увлекавшийся взглядами отца и, вместе со своей самоотверженной, умной и преданной женой поселившийся около Токио на земле, где он сам обрабатывал свой огород.*)

Мне лично пришлось убедиться, что Токутоми не принадлежал к тем толстовцам, которые не умели держать вилы в руках и не могли отличить ржи от пшеницы. Работать он умел.

Партия в теннис была в полном разгаре, когда отец подошел ко мне и сказал, что Маша, жена нашего повара, беременная на сносях, одна убирает в Чапыже сено для своей коровы.

Не без некоторого сожаления, и вместе с тем радуясь, как всегда, что я исполняю то, чего хотел отец, я бросила ракетку и пошла. Ко мне примкнули другие, между ними японец. Токутоми в белой, широкополой шляпе, белом кимоно, был необыкновенно живописен. Когда он начал работать, мы едва поспевали за ним, такие у него были быстрые, ловкие и привычные движения. Не успели мы оглянуться, как всё сено было убрано.

Кроме рождения Татьяны Татьяновны, за последнее время произошло много семейных событий.

Маня, первая жена Сергея, которая ушла от него, умерла несколько лет назад от чахотки. Единственный сын от этого брака, Сережа, воспитывался у деда Рачинского. Совершенно неожиданно для всех нас Сережа женился во второй раз на племяннице графа Олсуфьева, некрасивой, но очень милой девушке, немного моложе Тани, графине Марии Зубовой, которую мы все давно знали. Сережа и Маша подходили

---

*) В 1930 году, когда я жила в Японии, до приезда в Америку, я познакомилась с вдовой Токутоми-сан и посетила их деревенский дом, где она продолжала жить около его могилы в очень простой обстановке.

друг к другу и по возрасту и по интересам, и мы все надеялись, что на этот раз он будет счастлив, что и оправдалось.

В это же лето правительство разрешило Черткову ненадолго приехать в Россию повидать старушку мать.

Отец записал в дневнике 20 июля 1906 года: «Здесь Чертков и мне очень приятно. Решили отдать с изменениями «Правительство, революционеры и народ».[5])

Никогда, кажется, не встречала я человека, у которого лицо менялось бы так сильно, как у В. Г. Черткова. Порой, это был воспитанный, светский человек, с необыкновенно привлекательной улыбкой, заразительным смехом, веселый и ласковый. В эти минуты даже моя мать, которая очень редко смеялась, беззвучно тряслась от смеха, слушая его анекдоты и шутки. Но если кто-нибудь спорил с ним, не соглашался, глубокие складки бороздили лоб, неприятно морщился породистый, горбатый нос, гневом сверкали большие серые глаза и всё лицо принимало злобное выражение. Он не терпел возражений. Светскость и юмор, упрямство и деспотизм, смелость взглядов и узость, нетерпимость сектанта, — всё это сочеталось в этом человеке.

Чертков был необычайно весел и дружелюбно настроен в этот свой приезд, и для отца пребывание его было большой радостью.

«За это время приезжал Чертков, — писал отец 24 августа 1906 года в дневнике. — Я ездил с ним к Маше. Чертков очень был приятен, но боюсь, что много от того, что он очень высоко ценит меня... Хотел написать, что Маша мне очень мила, да все читают мои дневники»...[6])

Отношения отца и матери в это лето снова обострились по следующей причине: несколько человек крестьян были привлечены моей матерью к суду за порубки и их должны были посадить в тюрьму. Мы все умоляли мать простить их. Отец был в ужасном состоянии, он буквально стонал от внутренней боли. И снова во всей силе стал перед ним вопрос об уходе. Он чувствовал, что не имеет нравственного права

жить в Ясной Поляне, где совершаются как бы его именем такие поступки.

«Очень тяжело от стыда своей жизни. И что делать, не знаю», — писал он 29 мая 1906 года.[7])

Молодой толстовец Лебрен, которого отец очень любил, и который жил у нас и помогал отцу, писал в своих воспоминаниях:

...«Мы с М. А. Шмидт ходили как-то после завтрака по дорожке между двух тесных рядов вековых лип. Рядом большое общество играло в теннис. Вдруг из кустов к нам подошел Лев Николаевич. Меня сразу поразило выражение страдания на его лице, как у тяжело больного. — «Ужасно, нестерпимо!» — тихо сказал он, наклоняясь к нам. — Прежде, когда народ не замечал этого, еще можно было терпеть. Но теперь, когда всем это режет глаза, эта жизнь невыносима! Надо уйти; это выше моих сил»... Голос его дрогнул, и он, быстро отвернувшись, пошел продолжать свою одинокую прогулку.

«Вечером того же дня, когда я вошел в кабинет, Лев Николаевич в сумерках сидел один у стенки вдали от стола, глубоко задумавшись. Я хотел было пройти мимо, взять для записи последние письма, но Лев Николаевич, резко махнув рукой, точно отгоняя от себя навязчивую мысль, с жаром заговорил:

— Для меня так ясно, что, куда бы я ни уехал, через два дня там же рядом опять появится Софья Андреевна с лакеями, докторами, и всё пойдет по-старому!»[8])

Возможно, что отец и ушел бы тогда из Ясной Поляны, но к концу лета моя мать стала серьезно прихварывать. Она жаловалась на боли и тяжесть внизу живота. Профессор по женским болезням Снегирев нашел фиброму в матке и советовал матери немедленно оперироваться. Но моя мать боялась, откладывала, и дотянула до тех пор, пока у нее не сделались острые боли в животе. Нельзя было думать о том, чтобы перевезти ее в госпиталь. Решили делать операцию в Ясной Поляне. Но когда приехал Снегирев с ассистен-

тами, хирургическим столом и инструментами — матери сделалось лучше. Операцию отложили. Но боли повторились с страшной силой, температура дошла до 40°, началось местное воспаление брюшины и надо было, не откладывая, делать операцию.

Какие иногда чудодейственные перемены совершаются в человеке перед лицом смерти! Чем острее становились страдания матери, чем ближе она приближалась к смерти, тем выше поднималась она духовно. Когда входил отец, она старалась не стонать. Возьмет его руку, поцелует: «Лёвочка, прости, — повторяла она. — Прости меня».

Я и не подозревала, что так люблю ее. «Сашенька, милая, спасибо», — скажет она, когда что-нибудь для нее сделаешь. И я готова была распластаться, чтобы помочь ей, спасти ее. Я смотрела в громадные, прекрасные, полные страдания беспомощные глаза ее, и вся моя нелюбовь, порою даже ненависть, которые иногда разъедали мою душу, казались далеким кошмаром... Как я могла...

Моя мать потребовала священника и отец был рад этому. «Соня пожелала священника, — 2-го сентября 1906 года записал он в дневнике, — и я не только согласился, но охотно содействовал. Есть люди, которым недоступно отвлеченное, чисто духовное отношение к Началу жизни. Им нужна форма грубая. Но за этой формой то же духовное. И хорошо, что оно есть, хотя и в грубой форме».[9])

Отец становился всё более и более веротерпим, и молитва ему нужна была, хотя и в другой форме, чем матери. «Иногда молюсь... — писал он 24 августа 1906 года, — в неурочное время самым простым образом, говорю: Господи помилуй, крещусь рукой, молюсь не мыслью, а одним чувством сознания своей зависимости от Бога. Советовать никому не стану, но для меня это хорошо. Сейчас так вздохнул молитвенно».[10])

Во время операции отец ушел в Чапыж. Когда мы с Ильей нашли его и сказали, что операция кончилась благополучно, он не выразил радости, наоборот,

глубокое страдание было у него на лице. Он не пошел с нами — ему хотелось остаться одному.

Что он испытывал? В дневнике он кратко записал:

«Нынче Соне сделали операцию. Говорят, что удачно. А очень тяжело. Утром она была очень духовно хороша. Как умиротворяет смерть!» «Соня открывается нам, умирая», — писал он.[11])

Вот это «открывание» было ему дороже, гораздо дороже ее телесной жизни. Хорошо ли сделали, что допустили вмешательство врачей, нарушили естественный ход болезни, нарушили волю Бога?..

Мать стала поправляться очень быстро. Физические силы ее возвращались и постепенно заслонялся житейским тот свет, который так ярко озарил нашу жизнь.

Опять всё вошло в норму. Работали над «Кругом чтения», и приезжали люди, со всех концов света приходили письма: одни интересные, глубокие, другие глупые, как отец называл их, просительные, ругательные от революционеров — Великанова-безволосого (у него не было ни единого волоска на всем черепе, даже бровей и ресниц). Эти письма были тяжелы ему: «Трудно вам удержаться от наседания на вас черносотенной копоти, живучи в гнезде семьи, как ваша, — писал Великанов. — Как мелко и нагло издевались ваша дочь Александра Львовна и ваш зять над Спиридоновой!...*) Впрочем, ваш идеал «Душечка» Чехова. А эти «душечки» состоят женами наших опричников-мародеров... Да еще хотите, чтобы созерцанием этих «душечек» дети воспитывались в религии по вашей программе. Выходит, что вы сами виноваты в пошлости ваших детей, хотя они и не «одурялись» на высших курсах, а около вас 25 лет усваивали «высшее мировоззрение времени», вникая в евангелие нищеты»...[12])

---

*) Мария Спиридонова — соц.-революционерка, приговоренная к смертной казни за убийство охранника Луженского, который особенно жестоко усмирял крестьянские аграрные беспорядки в 1906 г.

На деревне, в избе, поселился какой-то студент-пошляк, пьяница, один из тех маленьких, подлых людей, которые стараются собирать всякие гадкие сплетни. Когда он уехал, в Харьковской газете появился отвратительный пасквиль на всех Толстых. Всех обитателей яснополянского дома автор считает типичными крепостниками; «только старик драпируется в какую-то туманную философию о тщете материальных благ, о спасении души и прочем». «Граф, — по словам крестьян, это — «волк в овечьей шкуре»: за порубку леса соседними крестьянами граф вызвал в свое имение казаков»...[13])

Изредка обличал отца слепой крестьянин, старовер, прозванный у нас «табачной державой». Так он называл правительство за то, что оно собирало пошлины с табака. Тряся козлиной бородкой, близко наклонившись к отцу и брызжа слюной, он ругал отца лгуном, фарисеем и кровопийцей народа. Отец терпел всё это, как испытание, как наказание за грехи.

«Последний раз записал, что продолжаю радоваться сознанию жизни, а нынче как раз должен записать противное: ослабел духовно, главное, тем, что хочу, ищу любви людей — и близких и далеких. Нынче ездил в Ясенки и привез письма все неприятные. То, что они могли быть мне неприятны, показывает, как я сильно опустился... фельетон в Харьковской газете того маленького студента, который жил здесь летом... Несомненный признак упадка, потери общения с Вечным через сознание, то, что мне стало больно читать его злую и глупую печатную ложь... Кроме того, физически был в дурном, мрачном настроении и долго не мог восстановить свое общение с Богом... Всё от того, что радуюсь на любовь людей и близких, и Черткова, от которого получил прекрасное письмо о жизни и Боге»...[14])

Ноябрь самый неприятный месяц, особенно в деревне, когда развозит все дороги, грязь, сырость, сильные ветра. В это время много болезней, обычно все с нетерпением ждут снега, санного пути.

Этой осенью Оболенские жили с нами. Простудилась ли Маша в эту погоду, или просто, как крестьяне говорят: «время ее пришло». Заболела она в конце ноября и доктор определил воспаление легких. Со второго же дня стало очевидным, что положение серьезное. Температура не спадала, Маша сильно кашляла, жаловалась на боль в боку. Лежала она «под сводами». Коля, Жули и я ухаживали за ней. «Маша сильно волнует меня, — писал отец Черткову. — Я очень, очень люблю ее». В течение нескольких дней Маша стала неузнаваема. Худое лицо ее еще больше осунулось, на щеках горел румянец, в глазах было сосредоточенное, оторванное от нас и от жизни выражение.

«Смерть ее, — писал отец, — эгоистически для меня, хотя она и лучший друг мой из всех близких мне, не страшна и не жалка — мне не долго придется жить без нее, но просто, не по рассуждению, больно, жалко ее, — она, должно быть, и по годам своим хотела бы жить, и жалко просто страданий — ее и близких. Жалко и неприятно эти тщетные усилия лечением продлить жизнь. А смерть всё больше и больше и в последнее время так стала мне близка, не страшна, естественна, нужна, так не противоположна жизни, а связана с нею, как продолжение ее, что бороться с нею свойственно только животному инстинкту, а не разуму. И потому всякая разумная — не разумная, а умная — борьба с нею, как медицина, — неприятна, нехороша».[15])

Умерла Маша спокойно, в полном сознании. Отец и Коля сидели у ее постели. Машу приподняли на подушки, ей было тяжко дышать. За час до смерти она широко открыла глаза, увидела отца и положила его руку к себе на грудь. Отец нагнулся и поднес ее худую, прозрачную руку к своим губам. «Умираю», — едва слышно прошептала она.

Отец ушел к себе. «Сейчас час ночи, — записал он в дневнике, — скончалась Маша. Странное дело. Я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жа-

лости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления горя и вызвал его, но в глубине души я был более покоен, чем при поступке чужом — не говорю уже своем — нехорошем, недолжном. Да, это событие в области телесной и потому безразличное. — Смотрел я все время на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня — она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, т. е. мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть «Где? Когда?» — это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни».[16])

А после похорон: «Сейчас увезли, унесли хоронить, — писал он. — Слава Богу, держусь в прежнем хорошем духе».[17])

«Да, жизнь есть рост, или раскрытие духовной сущности. Это раскрытие идет до самой смерти. В смерти оно совершается вполне для того отдельного существа, которое я сознаю собой», — записал он в дневнике от 4 января 1906 года.[18])

Машу везли по деревне в церковь на кладбище, где похоронены были дедушка и бабушка Толстые и наши маленькие братья Николенька, Петя и сестра Варя. Долго шли по деревне. Из домов выбегали бабы, мужики, все хотели служить по ней панихиду. Все знали и любили Машу. Сколько бессонных ночей провела она над скарлатинным ребенком, или над роженицей, сколько сил положила, работая наравне с крестьянами для неимущих, вдов, вдовцов, сколько слез утерла она своим добрым, отзывчивым словом. Многие плакали.

С отцом мы не говорили о Маше, не могли, но мысли наши были всё время с ней.

«Нет-нет и вспомню о Маше, но хорошими, умиленными слезами, не об ее потере для себя, а просто о торжественной, пережитой с ней минуте от любви к ней», — писал он.[19])

«Живу, — писал он уже через месяц после ее смерти, — и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она с и д и т обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку, и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни».[20])

Мне тогда было непонятно, почему ушли лучшие: Ваничка, Маша. Пришли на время, чтобы внести свет, любовь, радость людям. Оба открытые ко всему хорошему, с ласковым словом на устах для всех, кто в нем нуждался, такие похожие на отца и друг на друга...

Отпала их почти бестелестная, немощная плоть перед «Раскрыванием» и ушло то, что отцу было трудно назвать простым, житейским именем «Маши». Всё это смутно было для меня тогда. Не знала я и того, как незаменима была для нас эта утрата, и как Маша нужна была бы отцу в той трагедии, которая разыгралась 4 года спустя, и в которой мне пришлось взять на свои слабые, молодые плечи непосильную ответственность.

---

1) Маковицкий. Яснополянские Записки, 31 окт. 1904 г., ч. 1, стр. 35.
2) Полн. собр. соч. Госизд., т. 55. Дневн. 12 окт. 1905 г., стр. 165.
3) Литературное Наследство 37/38, стр. 323.
4) Полн. собр. соч. Госизд., т. 56, стр. 239.
5) Там же, т. 55, стр. 235. Дневн. 20 июля 1906 г.
6) Там же, стр. 236. Дневн. 24 авг. 1906 г.
7) Там же, стр. 550. Дневн. 29 мая 1906 г.
8) Там же, стр. 550, прилож. 532, 29 мая 1906 г.
9) Там же, стр. 243. Дневн. 2 сент. 1906 г.
10) Там же стр. 238. Дневн. 24 авг. 1906 г.
11) Там же, стр. 241, 243. Дневн. 2 сент. 1906 г.
12) Там же, стр. 569 прим. 616.

[13]) Там же, стр. 567, прим. 613.
[14]) Там же, стр. 264. Дневн. 23 окт. 1906 г.
[15]) Там же, стр. 577, прим. 644.
[16]) Там же, стр. 277. Дневн. 27 нояб. 1906 г.
[17]) Там же, стр. 279. Дневн. 29 нояб. 1906 г.
[18]) Там же, стр. 279. Дневн. 4 янв. 1906 г.
[19]) Там же, стр. 282. Дневн. 1 дек. 1906 г.
[20]) Там же, стр. 284. Дневн. 28 дек. 1906 г.

ГЛАВА LXII

ТОЛСТОВСТВО И... СТРАЖНИКИ

В апреле 1907 года отец написал тетеньке Марии Николаевне в монастырь:

«Милая Машенька, часто думаю о тебе с большой нежностью, а последние дни точно голос какой говорит мне о тебе, о том, как хочется, как хорошо бы видеть тебя, знать о тебе, иметь общение с тобой. Как твое здоровье. Про твое душевное состояние не спрашиваю. Оно должно быть хорошо при твоей жизни. Помогай тебе Бог приближаться к Нему.

...У нас, к нашей радости, живет Таня с милой девочкой. Муж ее на время заграницей у больного сына.

Очень чувствую потерю Маши, но да будет воля Его, как говорят у вас, и я от всей души говорю. Про себя, кроме незаслуженного мною хорошего, ничего сказать не могу. Что больше стареюсь, то спокойнее и радостнее становится на душе. Часто смерть становится почти желательной. Так хорошо на душе и так верится в близость Того, в Ком живешь и в жизни и в смерти.

... Поклонись от меня всем твоим монахиням. Помогай им Бог спасаться. В миру теперь такая ужасная, недобрая жизнь, что они благой путь избрали и ты с ними. Очень люблю тебя. Напиши много словечек о себе. Целую тебя.

Брат твой и по крови и по духу, — не отвергай меня. Лев Толстой».[1])

В этот момент тетенька была единственным человеком, которой он мог, хотя и сдержанно как всегда, высказать эту потребность простой человеческой любви.

Большое утешение и радость отец находил в крестьянских ребятах. Несколько мальчиков приходили к нему каждый вечер. Занимался он с ними внизу в биб-

лиотеке, где раньше был его кабинет. Отобрались лучшие ребята, интересовавшиеся религиозно-нравственными вопросами, более пустые, легкомысленные быстро отпали. Отец особенно любил одного — Николку, за его душевную чуткость. Во время чтения выражение милого, открытого лица мальчика с ямочками на щеках, делалось серьезным, голубые глаза внимательно смотрели на учителя и он схватывал налету слова отца и, как взрослый, обсуждал с отцом прочитанное. Товарищи впоследствии дали ему прозвище «толстовца».

Этим летом приехал Чертков с семьей из Англии. Срок его ссылки кончился и он, пробыв в Ясной Поляне несколько дней, поселился со всеми своими чадами и домочадцами в 5 верстах от нас, в старой, заброшенной усадьбе Ясенки.

Вокруг Черткова было пропасть народу: переписчики, секретари, фотограф, привезенный из Англии, чтобы снимать отца во всех видах, люди с неопределенными обязанностями, называвшиеся помощниками. Все, кроме жены Черткова Гали, ели вегетерианскую пищу за одним столом.

Галя Черткова меня поразила. Она была красива какой-то особенной, болезненной красотой. Громадные, черные, темные глаза; красиво вьющиеся темные волосы, тоненький прямой носик, губы, про которые обычно говорят «бантиком», неестественно белая кожа лица и рук и худое, хрупкое тело, прикрытое чем-то мягким, серым, не то платьем, не то халатом. При ней всегда была фельдшерица.

Галя Черткова вполне разделяла взгляды моего отца и своего мужа и, насколько могла по состоянию своего здоровья, помогала Черткову с изданием отцовских сочинений заграницей. Когда я была рядом с Галей, я стеснялась своей силы, здоровья... Особенно когда вдруг крошечное Галино личико из бледного превращалось в зеленовато-прозрачное, слезы показывались на глазах: «Мне дурно, я голодная»... шептала она. Помощницы бросались в кухню, откуда появлялась спокойная, рослая кухарка Аннушка с подно-

сом, на котором были расставлены крошечные, вроде игрушечных, чашечки и мисочки с какими-то намешанными, жидкими кушаньями. А когда она пела низким, грудным и глубоким голосом духоборческие псалмы и брала трагично-проникновенные контральтовые ноты, по телу пробегали мурашки и опять делалось неловко.

В это лето в округе поселилось много людей, желавших быть ближе к моему отцу. В Овсянникове, кроме старушки Шмидт, жила семья Горбуновых. На моем хуторе Телятенках жил пианист Гольденвейзер с женой. Взамен домика и лошади, которыми пользовались Гольденвейзеры, он давал мне уроки музыки. На этом настоял отец. На деревне поселился художник Орлов, писавший картины из крестьянской жизни, рисующие бедность, угнетение крестьян: «Открытие царской монополии», телесное наказание крестьянина и т. п. Орлов был маленький, добродушный человек, у него были такого же маленького роста жена, мать, и необычайное количество низкорослых, улыбающихся детей — целый выводок. И все они жили в одной крестьянской избе и сенном сарае, и уверяли, что им очень удобно и что они готовы еще и гостей принимать. Также на деревне жил Николаев с семьей — переводчик и убежденный последователь Генри Джорджа — скромный, милый человек. Отец всё также продолжал интересоваться теорией Генри Джорджа о едином налоге и даже написал по этому поводу министру внутренних дел Столыпину, прося его ознакомиться с теорией Джорджа с целью введения этой земельной реформы в России. Взгляды Столыпина и моего отца в этом вопросе были диаметрально противоположны. Отец ценил принцип общинного владения землей, не допускавший закрепления собственности, Столыпин же вводил в это время в России хуторское единоличное хозяйство, считая, что общинное владение и чересполосица, постоянные переделы и разбросанность клочков земли, находящихся во временном пользовании, экономически ослабляют крестьян. Земля крестьянина должна быть в одном куске-хуто-

ре, в постоянном его владении и только тогда он сможет о ней заботиться и поднять уровень своего хозяйства. Столыпин находил применение теории Генри Джорджа в России невозможным, о чем и писал отцу.

В первый раз отец писал Столыпину 26 июля 1907 года:

... «Пишу вам, Петр Аркадьевич, под влиянием самого, доброго, любовного чувства к стоящему на ложной дороге сыну моего друга. — Вам предстоят две дороги: или продолжать ту, начатую вами деятельность, не только участия, но и руководства в ссылках, каторгах, казнях, и, не достигнув цели, оставить по себе недобрую память, а, главное, повредить своей душе, или, став при этом впереди европейских народов, содействовать уничтожению давней, великой, общей всем народам несправедливости земельной собственности, сделать истинно доброе дело и самым действительным средством — удовлетворением законных желаний народа, успокоить его, прекратив этим те ужасные злодейства, которые теперь совершаются, как со стороны революционеров, так и правительства.

Лев Толстой».

20-23 октября 1907 г. Столыпин пишет отцу:

«Лев Николаевич,... Не думайте, что я не обратил внимания на ваше письмо. Я не мог на него ответить, потому что оно меня слишком задело. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие «собственности» на землю у крестьян создает всё наше неустройство. — Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты... и одно из самых сильных чувств этого порядка — чувство собственности. Нельзя любить чужое, наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей. — Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности, ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. — А бедность, по мне, худшее из рабств. И теперь то же крепостное право, —

за деньги вы можете так же давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе, или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той по крайней мере наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. А это достижимо только при свободном приложении труда к земле, т. е. при наличии права собственности на землю. — Я не отвергаю учения Джорджа, но думаю, что «единый налог» со временем поможет борьбе с крупной собственностью, но теперь я не вижу цели у нас в России сгонять с земли более развитой элемент землевладельцев и, наоборот, вижу несомненную необходимость облегчить крестьянину законную возможность приобрести нужный ему участок земли в полную собственность... Впрочем, не мне вас убеждать, но я теперь случайно пытаюсь объяснить вам, почему мне казалось даже бесполезным писать вам о том, что вы меня не убедили. Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно на один миг! Я хочу всё же этот миг использовать по мере моих сил, понимания и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что думаю и сознаю добром. А вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха. Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем. Сознаю, что всё это пишу вам напрасно — это и было причиной того, что я вам не отвечал. Простите. Ваш Столыпин».

28 января 1908 г. отец пишет Столыпину:

«Петр Аркадьевич... За что, зачем вы губите себя, продолжая начатую вами ошибочную деятельность, не могущую привести ни к чему, кроме к ухудшению положения общего и вашего. Смелому, честному, благородному человеку, каким я вас считаю, свойственно не упорствовать в сделанной ошибке, а сознать ее и направить все силы на исправление ее

последствий. Вы сделали две ошибки: первая: начали насилием бороться с насилием и продолжаете это делать, всё ухудшая и ухудшая положение; вторая — думали в России успокоить взволновавшееся население и ждущее и желающее только одного: уничтожения права земельной собственности (столь же возмутительного в наше время, как полстолетия тому назад было право крепостное), успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, образовать мелкую земельную собственность. Ошибка была огромная. Вместо того, чтобы, воспользовавшись еще живым в народе сознанием незаконности права личной земельной собственности, сознанием, сходящимся с учением об отношении человека к земле самых передовых людей мира, вместо того, чтобы выставить этот принцип перед народом, вы думаете успокоить его тем, чтобы завлечь в самое низменное, старое, отжившее понимание отношения человека к земле, которое существует в Европе, к великому сожалению всех мыслящих людей в этой Европе. Милый Петр Аркадьевич... жизнь не шутка. Живем здесь один раз. Из-за parti pris (предвзятого мнения) нельзя, неразумно губить свою жизнь... Обе ваши ошибки: борьба насилием с насилием и не разрешение, а утверждение земельного насилия, исправляются одной и той же простой, ясной и самой, как это ни покажется вам странным, удобоприменимой мерой: признание земли равной собственностью всего народа и установлением соответствующего сравнительным выгодам земель налога, заменяющего подати или часть их. Одна только эта мера может успокоить народ и сделать бессильными все усилия революционеров, опирающихся теперь на народ, и сделать ненужными те ужасные меры насилия, которые теперь употребляются против насильников... Повторяю то, что сказал сначала: всё, что пишу для вас, желая вам добра, любя вас... Любящий вас Лев Толстой.[2])

Гости и посетители нас не забывали. В это лето гостил художник Нестеров, написавший несколько этюдов и большой, прекрасный портрет отца.

Из Тулы приехали однажды в Ясную Поляну 850 школьников. Они провели у нас целый день, купались, гуляли, играли в разные игры, которые я организовала для них в Чапыже.

Соседи «темные» приходили к отцу каждый вечер. Они рассаживались вокруг него полукругом и ждали, что он им скажет. Душан записывал в кармане. Когда отец читал вслух, Душан более или менее точно рассчитывал, сколько времени будет продолжаться чтение, бежал к себе в комнату, заводил будильник, ложился и немедленно засыпал. Поездки по больным, прием в амбулатории сильно утомляли его. Когда через несколько минут будильник звонил, Душан вскакивал и поспевал как раз во-время к обсуждению прочитанного. Иногда Чертков устраивал у себя на хуторе «беседы» с молодыми крестьянами и старался вовлечь отца в эти собрания. Но дело не пошло, может быть, отец почувствовал некоторую искусственность в этих собраниях и перестал ездить.

Должна откровенно признаться, что всё это мне было очень скучно. Блузы, сапоги, длинные бороды, нерасчесанные волосы, всегда серьезные лица, точно люди закаялись шутить, смеяться, веселиться. Только отец и иногда Чертков вносили некоторое оживление в эту среду, шутили, смеялись, каламбурили. Я сознавала, что все эти толстовцы были прекрасные люди, и что отец ценил их, но всё же не могла преодолеть гнетущую скуку. Забравшись с Анночкой, моей племянницей, моложе меня только на четыре года, в мою угловую комнату, мы под аккомпанемент гитары или фортепиано, распевали цыганские романсы. Иногда тихо открывалась дверь и входил отец. Мы смущались, останавливались: «Продолжайте, продолжайте, — говорил он улыбаясь, — хорошо у вас выходит». И он стоял в дверях, заткнув руки за пояс, и слушал...

Но не все толстовцы вызывали во мне это чувство нудной тоски. Может быть, я инстинктивно, как бывает иногда в молодости, чувствовала искусственный надрыв в некоторых из них, надрыв, которого я сама так боялась. И действительно, многие не выдержива-

ли аскетической жизни, которую на себя взяли. Отец предостерегал их: нельзя брать на себя подвига, если не вполне готов к нему.

Буланже не выдержал — запутался, проиграв казенные деньги в карты и, оставив записку, что он кончает жизнь самоубийством — исчез. Некоторые толстовцы сделались революционерами, другие ушли в монастыри, иные превратились в убежденных монархистов — остались лишь немногие. Некоторые доходили до фанатизма, большинство же людей, последовавших учению отца, погибли в ссылке и тюрьмах во время революции.

Настоящими, искренними людьми были два брата Булыгиных, Сережа и Ваня, разные по типу юноши. Сережа — красавец собой, с громадными черными глазами, вьющимися волосами, сильный, здоровый, с девическим румянцем на щеках, и голубоглазый, менее красивый брат его, всегда кроткие, радостные, готовые помочь ближним, жили работая на земле, вегетарианствовали.

Друг Сережи Булыгина, Сережа Попов, был еще более крайних убеждений. Попов не признавал решительно никакой собственности. Попроси кто-нибудь у него последнюю рубашку, он бы отдал ее. У него не было паспорта, он бродил по деревням, бесплатно помогая работой кому надо было. От времени до времени его арестовывали как беспаспортного бродягу. При допросах его спрашивали, кто он. «Сын Божий», — отвечал он и радостно улыбался. Надзирателей, полицейских он называл братьями. Начальство терялось, не знало, что с ним делать, и в конце концов отпускало его на все четыре стороны. Иногда он приходил к отцу запыленный, в опорках, обросший бородой, но вы этого не замечали, так сильно было то тепло и тот свет, которыми горел этот юноша; вы видели только его голубые глаза, излучавшие добро, любовь и радость.

Закончив статью «Не убий никого», отец прочел ее вслух собравшимся вокруг него единомышленникам. Он писал воззвание о любви... А вокруг сгуща-

лась атмосфера зла, ненависти, борьбы... Моя мать была очень расстроена. Брата ее, дядю Вячеслава, главного инженера комиссии по организации земляных работ в Гавани под Петербургом, убили, как предполагали, безработные, озлобленные на начальство за то, что они не получили работы. Дядя же Вячеслав как раз накануне защищал в Городской Думе интересы рабочих и хлопотал о том, чтобы дать им работу.[3])

В Ясной Поляне крестьяне срубили и увезли 129 дубов; у Миши в имении мужики спалили инструментальные сараи со всеми ценными сельскохозяйственными орудиями; у Сухотиных в имении сгорели хозяйственные постройки; подозревали, что это был также поджог. У нашей соседки Звегинцевой было неблагополучно. Прибежали бабы, сказали, что какие-то двое подозрительных людей ходят у нее по лесу. Звегинцева послала кучера и охотника вдогонку за прохожими. Они настигли их на шоссе и потребовали их паспорта. Вместо паспортов, люди эти выхватили револьверы и наповал убили обоих Звегинцевских служащих, а сами скрылись в лесу.

В Ясной Поляне кто-то забрался воровать капусту, в ночного сторожа стреляли. Моя мать и Андрей обратились к губернатору, прося защиты. Губернатор прислал пристава, урядника, несколько человек стражников, на деревне был сделан обыск и трех крестьян, у которых найдено было оружие — арестовали.

«Последние два, три дня тяжелое душевное состояние, которое до нынешнего дня не мог побороть, от того, что стреляли ночью воры капусты, и Соня жаловалась и явились власти и захватили 4-х крестьян, и ко мне ходят просить бабы и отцы. Они не могут допустить того, чтобы я — особенно живя здесь — не был бы хозяин, и потому всё приписывают мне. Это тяжело и очень, но хорошо, потому что, делая невозможным доброе обо мне мнение людей, загоняют меня в ту область, где мнение людей ничего не весит. Последние два дня не мог преодолеть дурного чувства», — писал отец 7 сент. 1907 года.[4])

Сам губернатор приезжал в Ясную Поляну.

«И отвратительно и жалко», — писал отец об этом посещении в дневнике.

Ему было так тяжело, что он хотел уехать к Тане, но и там жизнь была ему не по сердцу — большое помещичье хозяйство, праздность...

В передней пахло мужским потом и махоркой. За перегородкой жили стражники. Чертков беседовал с ними и раздавал им «Солдатскую» и «Офицерскую памятки» против военной службы.

Я умоляла мать отправить стражников обратно, я ссорилась с ней, с братом Андреем, сердилась, плакала. Нестерпимо больно было видеть страдания отца. Ни в одном имении, ни у Миши, ни у Сухотиных, ни у кого из соседей не было полиции... только в Ясной Поляне.

Я ездила к губернатору с письмом отца, умоляя уважить его просьбу и освободить арестованных крестьян, но он сухо мне ответил: «Ваша матушка графиня просила меня об ограждении безопасности Ясной Поляны и вашей семьи и я только исполняю ее просьбу». Разговаривать было не о чем.

С тяжелым чувством вернулась я домой. А тут еще принесли со станции перепугавшую всех нас телеграмму: «Ждите гостя. Гончаров». И через несколько дней опять: «Ждите. Гончаров». Я нервничала, всматривалась в каждого нового посетителя: не Гончаров ли? Ходила по пятам отца. Он не одобрял моего страха и трунил надо мной.

Осенью Чертков уехал на несколько месяцев в Англию для приведения в порядок своих дел. Перед отъездом он озаботился тем, чтобы у отца был настоящий «секретарь» и для этой цели пригласил толстовца Гусева. Гольденвейзеры на зиму уехали в Москву, так как Гольденвейзер преподавал в Московской Консерватории, и Гусев поселился в моем домике в Телятенках.

Гусев ведал главным образом корреспонденцией отца. Он отвечал на письма. Обычно, когда я это делала, я не брала на себя смелости поучать людей,

а просто писала, что ответ на задаваемый вопрос можно найти в такой-то книге или статье отца. Гусев же излагал взгляды моего отца и подробно отвечал на письма. За мной оставалась переписка рукописей.

Но не успел еще Гусев втянуться в работу, как его арестовали и посадили в Крапивенскую тюрьму.

8 ноября отец записал в дневнике: «Дня три тому назад был в Крапивне у Гусева. Очень тяжелое и значительное впечатление». По дороге в Крапивну, куда он ехал частью верхом, частью в санях, отец заехал к Булыгиным: «Очень радостное впечатление от их жизни», — писал он.[5])

Тяжелый это был год. Семья наша тяжело переживала развод Андрея с женой и его женитьбу на Арцимович. Катя Арцимович была женой губернатора, при котором Андрей состоял чиновником особых поручений. Катя и Андрей влюбились друг в друга и она, бросив шесть человек детей, развелась с мужем и вышла замуж за Андрея.

Вся наша семья очень любила Ольгу и ее детей, Сонюшку и Илюшку, и хотя Катя и была принята в семью, Ольга и ее дети была нам гораздо ближе. Отец надеялся, что на этот раз Андрей не разойдется с женой. Шутя он говорил старушке Шмидт: «Двух вещей я боюсь — что Андрей опять разведется с женой и что Саша перестанет смеяться».[6])

В конце декабря выпустили Гусева.

«Как я завидую вам, — говорил отец. — Как бы я хотел, чтобы меня посадили в тюрьму, настоящую, вонючую... Видно этой чести я еще не заслужил»...[7])

---

[1]) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 133.
[2]) Юбилейный Сборник «Л. Н. Толстой», Гиз., 1929, стр. 84-88.
[3]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 56, стр. 438.
[4]) Там же, стр. 56, 57. Дневн. 7 сент. 1907 г.
[5]) Там же, стр. 76. Дневн. 8 ноября 1907 г.
[6]) Из личных воспоминаний. А. Т.
[7]) Там же.

ГЛАВА LXIII

«НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ»
ЮБИЛЕЙ

В Ясной Поляне было весело и шумно. Готовились к Рождественским праздникам.

Приехала знаменитая пианистка Ванда Ландовская с мужем и привезла с собой клавесин. Она играла нам без конца, и чистота, прозрачность ее исполнения Рамо, Моцарта, Гайдна, приводили всех в полный восторг. Отец наслаждался больше всех.

Он был в веселом, бодром настроении. Гусева выпустили из тюрьмы и он поселился в Ясной Поляне, рядом с Ремингтонной, стена к стене с отцовской спальней, где раньше жила Жули-Мули. У моей матери теперь тоже была секретарша, городская, веселая и добродушная дама, В. М. Феокритова, Варя, как мы ее звали. Она стенографировала и переписывала для матери ее сочинение: «Моя жизнь».

В январе отец получил в подарок невиданный еще нами аппарат от Томаса Эдисона из Америки — диктофон. Когда его собрали и наладили, отец попробовал диктовать. Но не мог... волновался, запинался, забывал, что хотел сказать: «Останови, останови машину, — кричал он мне: — забыл!» «Ужасно волнительно, — прибавлял он со вздохом, — вероятно эта машина хороша для уравновешенных американцев, но не для нас, русских».

Но всё же он иногда пользовался машиной. Эдисону он написал благодарственное письмо и обменялся с ним несколькими письмами.

«Я уважаю Эдисона, — говорил он. — Он не дал ни одного изобретения для военных целей».

Отец продолжал работать над «Кругом чтения» для второго издания, Гусев помогал ему. Я переписывала

его статьи: «Закон насилия и закон любви» и новую статью «Всему бывает конец».

В начале января 1908 года поднялся вопрос о праздновании юбилея отца и в Петербурге образовался Комитет почина по организации этого чествования. В Комитет вошел целый ряд профессоров, общественных деятелей, писателей — Бунин, Боборыкин, Андреев — председатель первой Государственной Думы Муромцев. Председателем Комитета был избран Максим Ковалевский, вице-председателями — В. Короленко и И. Репин, а секретарем Михаил А. Стахович. Комитет приступил к работе.

Были приглашены 40 делегатов от печати и решено было созвать всероссийский съезд для выработки плана чествования. Московская и Петербургская городские думы предполагали провести ряд постановлений гуманитарного и просветительного характера в честь Толстого. Многие провинциальные города горячо отозвались на призыв Центрального Комитета.

Правительство — Министерство внутренних дел — не дремало, и через губернаторов и жандармские управления приказало обратить «особо пристальное внимание к прекращению всяких попыток к использованию со стороны неблагонадежных элементов населения настоящего события в целях противоправительственной агитации, каковые попытки тем более возможны, что проповедуемые гр. Л. Н. Толстым идеи представляют для подобной агитации самый широкий простор».[1])

Мысль о праздновании юбилея Толстого нашла отклик и в других странах мира: в Англии, где открылась подписка на специальный Толстовский фонд, во Франции и Германии. Заявления поступали также из Индии, Японии, Канады, Новой Зеландии.

Весь этот шум, статьи в печати, приготовления — были неприятны отцу, они нарушали то сосредоточенно-религиозное настроение, в котором он находился: подготовления к смерти, борьбы со своими грехами и окружавшим его злом. Но последним толчком к решению отца послужило письмо его давнишней знако-

мой, старой княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, которая писала моей матери, что чествование человека, разрушающего веру православную, оскорбит православных людей. Отца тронуло это письмо.

... «Готовящиеся мне юбилейные восхваления мне в высшей степени — не скажу тяжелы — мучительны, — диктовал отец письмо княжне на Эдисоновском диктофоне. — Я настолько стар, настолько близок к смерти, настолько желаю уйти туда, пойти к Тому, от Кого я пришел, что все эти тщеславные, жалкие проявления мне только тяжелы. Но это всё для меня лично, я же не думал о том... какое впечатление произведут на людей эти восхваления человека, нарушившего то, во что они верят. Постараюсь избавиться от этого дурного дела, от участия моего в нем, от оскорбления тех людей, которые, как вы, гораздо, несравненно ближе мне всех тех, неверующих людей, которые Бог знает для чего, для какой цели, будут восхвалять меня и говорить эти пошлые, никому ненужные слова. Да, милая Мария Михайловна, чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в том, что все мы, верующие в Бога, если только искренно веруем, все мы соединены между собой, все мы сыновья одного Отца и братья и сестры между собой... Теперь прощайте. Благодарю вас за любовь и прошу вас не лишать меня ее».[2]) И голос отца задрожал от волнения и сдерживаемых слез.

И не откладывая, обрадовавшись поводу к прекращению всех приготовлений к юбилею, отец продиктовал письмо М. А. Стаховичу, как секретарю Комитета.

... «Вчера получил письмо от княжны Дондуковой-Корсаковой, — говорилось в этом письме, — которая пишет мне, что все православные люди будут оскорблены этим юбилеем. Я никогда не думал об этом, но то, что она пишет, совершенно справедливо. Не у одних этих людей, но и у многих других людей он вызовет чувство недоброе ко мне. А это мне самое больное... Так вот, моя к вам великая просьба: сделайте,

что можете, чтобы уничтожить этот юбилей и освободить меня. Навеки вам буду очень, очень благодарен. Любящий вас Лев Толстой».[3])

Кроме того, отец написал письмо в газеты, которое напечатано не было, но которое отец просил Н. В. Давыдова огласить на заседании Комитета.

Толстовцы разделяли мнение отца. Бодянский написал Гусеву:

«Написал свое мнение, как надо праздновать юбилей Льва Николаевича. Но газеты не поместили. Написал, что согласно с законами, а потому и принятой правде, Льва Николаевича следовало бы посадить в тюрьму ко дню юбилея, что дало бы ему глубокое нравственное удовлетворение. Эту мысль я несколько развил и подкрепил доказательствами»...[4])

«Как меня восхитил Бодянский! — сказал за завтраком отец. — Действительно, это было бы мое удовлетворение. Я на днях думал: чего я желаю, и ответил: ничего не желаю, кроме того, чтобы меня посадили. Я ему сказал в фонограф ответ... Действительно, ничего так вполне не удовлетворило бы меня, и не дало бы мне такой радости, как именно то, чтобы меня посадили в тюрьму, вонючую, холодную, голодную»...[5])

Юбилейный Комитет прекратил свою деятельность, о чем было сообщено в газетах. Левые элементы были разочарованы. Они несомненно использовали бы юбилей Толстого как протест против правительства.

Между тем, преследование отказавшихся от воинской повинности, число которых увеличивалось, продолжалось. Арестовывали толстовцев не только за распространение, но даже и за то, что у них находили запрещенные книги Толстого. Каждый такой арест удручающе действовал на отца.

Участились смертные казни. До революции 1905 года смертные казни в России были редким явлением.*)

---

*) Уголовных преступников не казнили, а заточали в тюрьмы и ссылали на каторгу.

Но за последние годы, в связи с террористическими актами и аграрными беспорядками, число смертных приговоров увеличилось. Сообщения о смертных казнях причиняли отцу острую, почти физическую боль. Он одинаково страдал за казненных и казнивших. Он должен был высказаться, он не мог молчать. Друзья — Давыдов, Бирюков — доставляли ему материалы о смертных казнях.

Как-то утром, сидя за кофе и просматривая почту, отец развернул газету «Русь» и прочел, что в Херсоне, «за разбойное нападение на усадьбу землевладельца», 20 крестьян приговорено к смертной казни.

«Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. нельзя и нельзя!..» В голосе слышались страдание, слезы, когда он диктовал эти слова в свою машину. Отец начал писать статью «Не могу молчать» 11 мая и закончил ее 31-го.

«О казнях, повешаниях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту», — писал он. И дальше: «Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду. — Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье) надели на меня так же, как на тех 20 или 12 крестьян саван и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю»...[6])

«Не могу молчать» было напечатано в нескольких русских газетах в выдержках и газеты эти были оштрафованы правительством. Статья облетела всю Россию. Ее печатали в тайных типографиях, на мимеографах, переписывали от руки. В один и тот же день

«Не могу молчать» была напечатана во всех странах Европы, в одной Германии она появилась в 200 изданиях.

Статья вызвала необычайное волнение в России. Революционеры не преминули, замалчивая христианское мировоззрение Толстого, осуждающее всякое насилие и убийство, использовать статью для своих целей. Целый ряд общественных деятелей, художников, писателей отозвались на статью Толстого. Отцу писали со всех сторон, одни благодарили за статью, другие бранили его, оскорбляли.

Приблизительно в это же время появился рассказ Л. Андреева «О семи повешенных». Отцу он не понравился. «Фальшь на каждом шагу, — сказал он. — О таких вещах надо писать правдиво, искренно и глубоко или никак». Отец тщетно пытался в так называемых «передовых» людях найти какое-то религиозное мировоззрение, но этих «точек соприкосновения», как он выразился, не было.

Отец был разочарован в священнике Григории Петрове, посетившем его в марте. Это был человек, игравший в то время большую общественную роль, но не начавший еще, даже самым примитивным образом, понимать сущность истинной жизни, как выражался отец... Отца особенно поразило утверждение Петрова, что читать Евангелие не нужно. Петров был по существу революционером.

«Революционерам, — писал Толстой в дневнике от 28 июля 1908 года, — надо сказать: нельзя, друзья, воздвигать храмов неумелыми руками, да еще нечистыми».[7])

Еще более характерна запись отца в дневнике от 28 мая:[8])

«Ах, только бы вы, люди запутавшиеся, легкомысленные, потерявшие религию, т. е. смысл жизни, перестали бы одни играть в эту бессмысленную и жестокую игру революции, другие в еще более глупое и жестокое поддержание величия России, третьи в совсем уже до комизма глупую игру конституции: кулуаров, лидеров, формулы перехода и т. п.., как дети

рабски и самодовольно подражая старшим; только бы поняли вы все, русские люди нашего времени, что мы особенный (не в смысле лучшего, а в смысле самобытного) народ и живем в особенное наше время, и что нам поэтому не подражать надо другим народам и жившим в другое время, а жить своей жизнью и жизнью своего времени, и что нужна нам в наше время не борьба пролетариата с капиталом, не много или мало и таких или иных броненосцев, и не думские партии и речи, а нужно одно: то, чего жаждет весь народ, освобождения земли от собственности; в международной государственной области: (опять то, чего желает весь народ) прекращение всякой враждебности к чужим народам, и в области внутренней одно нужно всем народам и несовместимое ни с революцией, ни с величием России, ни еще менее с конституцией, нужно одно: свобода, но не та свобода, которую могут давать и отнимать Николаи, Столыпины и большинство Пуришкевичей или Милюковых, а та свобода, которая не может быть отнята никем, потому что она основана на исполнении высшего закона для всех людей... А свобода эта приобретается только одним: признанием закона жизни и следованием ему — религией».

Вот эту-то «игру», несерьезность отношения к тому, что должно составлять основу жизни людей, отец не выносил. Как он сказал про Бернарда Шоу, прочтя его "Man and Superman" — «Ужасно остроумно, и дурного вкуса... Он говорит про серьезные вопросы, а одной какой-нибудь шуткой свернет в сторону — и теряешь всякое уважение».[9])

«Dear Mr. Shaw, жизнь — большое и серьезное дело, нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти свое назначение и насколько возможно лучше исполнить его. Это относится ко всем людям и особенно к вам, с вашим большим дарованием, самобытным мышлением и проникновением в сущность всякого вопроса... И потому, смело надеясь не оскорбить вас, скажу вам о показавшихся недостатках вашей книги.

«Первый недостаток ее в том, что вы недостаточно серьезны. Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества»... и т. д.[10])

В начале мая отец нас всех перепугал. Он как будто был здоров, но вдруг Гусев, бывший в соседней комнате увидел, как отец медленно падает на пол. Гусев подбежал, хотел его подхватить, но физически он был очень слабый и не мог удержать отца. Мы все прибежали на его крик — мать, Жули-Мули, Илья Васильевич. Отца подняли, положили на диван. Отец разговаривал, но... всё забыл, забыл как его зовут, где он находится.

Утром, окончательно придя в себя, отец со смехом рассказывал Черткову, что он уже думал, что совсем «выжил из ума». Приехавшие врачи, Никитин и Беркенгейм, объяснили это состояние отливом крови от мозга.

Припадки эти, вызванные сильными душевными потрясениями, изредка повторялись, но забывчивость отца продолжалась недолго, через несколько часов память и ясность мышления полностью востанавливались.

Несмотря на свои 80 лет, отец не менял образа жизни: начинал свой день с прогулки, в Чапыже, в елочках, он отдыхал на березовой скамейке, записывая свои мысли. По утрам работал больше над «Кругом чтения», завтракал и уезжал верхом на своем любимце Дэлире. Мы избегали пускать его одного. Иногда Душан в отдалении трясся за ним на чалой беспородной кобыле Катьке, иногда я ездила с ним на своем гнедом, зо́лотом отливавшем на солнце карабахе.

Никто не знал лесных дорог, тропинок лучше отца. Иногда мне казалось, что мы заблудились в дремучем казенном лесу. Мы ныряли в глубокие овраги, ветки били по лицу — того и гляди собьют очки — переправлялись через болота, ручьи. «Держи правее, тут поуже», — кричал он мне. Дэлир, наддав задом, легко и грациозно пераскакивал ручей, за ним мой

карабах Орел. «Жива?» — спрашивал, обернувшись, отец и, несмотря на узкую тропинку, галопом взлетал на горку. «А вот и выехали!» — кричал он мне, пуская Дэлира крупной рысью по широкой просеке.

Один раз, возвращаясь домой по так называемой «купальной» дороге, ведущей к речке Воронке, и проезжая мимо места, где была зарыта отцом вместе с Николенькой братом, «Зеленая палочка», он чуть приостановил Дэлира и, обернувшись в седле: «Вот тут, в этих дубах у оврага, похороните меня, когда я умру»... — сказал он.

2-го июля этого же года отец завел дневник, который не хотел показывать никому, ни Черткову, ни мне, ни тем более Софье Андреевне. То, что его дневник читали — стесняло его. Я знала, что будь я постарше, отец многим делился бы со мной. Но я и без слов понимала его. Один раз, когда я принесла переписанную рукопись, он внимательно, глубоко посмотрел на меня: «Я всё могу понять, — сказал он, — почему один человек умный, другой глупый, один способный, другой бездарный, один черный, другой рыжий, но почему одним дано понять сущность духовной жизни, другим не дано — я понять не могу». Я ничего не спросила, я знала, о ком он говорил.

Иногда он громко стонал. «Что, папаша?» — «Стражники... Опять баб в лесу арестовали»... и сердце разрывалось от боли, жалости к нему, собственного бессилия. Я пыталась говорить об этом с матерью, просила ее, сердилась, но всё бесплодно.

О дневнике отца я знала, охраняла его и от матери и от Черткова. Узнала я его содержание только после его смерти. Вероятно, единственный человек, с которым отец мог говорить о Софье Андреевне, был Чертков. И моя мать с болезненной чуткостью догадывалась об этом, и это еще более выводило ее из себя.

«Если бы я слышал про себя со стороны, — писал отец в этом своем «личном» дневнике, — про человека, живущего в роскоши с стражниками, отбивающего всё что может у крестьян, сажающего их в острог и исповедующего и проповедующего христианство

и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, — я бы не усумнился назвать его мерзавцем! А это-то самое и нужно мне, чтобы мог освободиться от славы людской и жить для души».[11])

Эти слова отца — крик его обнаженной перед Богом души, — лучший ответ всем тем, которые упрекали его за непоследовательность, фарисейство, даже ложь.

Уход из дома был бы ему легче, вознес бы его на еще более высокий пьедестал, умножил бы его славу... Крест, взятый им на себя, был во много раз тягостнее.

«Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. И не решаюсь. Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду. То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю. Надо думать с Богом. Так и буду».

«Мучительно тяжело на душе, — писал он в том же дневнике. — Знаю, что это к добру душе, но тяжело. Когда спрошу себя: что же мне нужно: уйти от всех. Куда? К Богу, умереть. Преступно желаю смерти».[12])

Чертков в это время жил на одной из дач Козловки-Засеки с Галей, сыном Димой и тем же многочисленным окружением. Зная, как важна отцу близость Черткова, я согласилась продать Чертковым половину того небольшого участка, который остался у меня в Телятинках, и Чертков немедленно стал строить там громадный двухэтажный дом и целый ряд надворных построек — мастерские, конюшни, сараи.

Между моей матерью и Чертковым, хотя и не было в то время открытых столкновений, но уже чувствовалась скрытая враждебность. Мою мать раздражало, что Чертков позволял себе вольности по отношению к отцу. Он иногда входил в отцовский кабинет во время занятий, чего никто из нас не делал; вывезенный из Англии вежливый фотограф-профессионал, молчаливый англичанин Тапсель, с густыми, рыжими усами, снимал отца во всех видах, и моя мать, зная как отец не любил позировать, сердилась, а отец не мог отказать Черткову.

«Непонятно грубая, жестокая сцена из-за того, что Чертков снимал фотографии, — записывает там же отец. - Приходит в голову сомнение, хорошо ли я делаю, что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться, как Буланже. Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне.

«Помоги, Господи, помоги, помоги!!!! — Уйти хорошо можно только в смерть».[13])

В этом же дневнике он записывает: «С Сашей говорил хорошо. Как странно передается — мужчинам ум отца, характер матери, и наоборот».

Как горько отцу приходилось расплачиваться за славу, то, за чем тщетно гонятся люди, жертвуя иногда жизнями, честью, совестью. И чем ближе отец подходил к смерти, тем равнодушнее становился он к славе людской.

«Все пишут мою биографию — да и все биографии — о моем отношении к 7-ой заповеди ничего не будет. Не будет вся ужасная грязь... Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это очень важно, и очень важно как наиболее сознаваемый мной, по крайней мере, порок, более других заставляющий опомниться».[14])

От этой своей знаменитости уйти он не мог. Всё окружение отца, даже самые близкие, купаясь в его славе, ни минуты не забывали об этом. Все, даже святой Душан, записывали, снимали, запечатлевали для потомства...

Должна признаться — потомство мало меня беспокоило. Меня мучило только одно: как уберечь, сохранить, как сделать так, чтобы был спокоен, счастлив мой самый любимый на свете, старенький, с седыми локонами на затылке, такой худой, беззащитный, слабеющий отец?!

В июле он снова заболел, сделалась закупорка вены на ноге — тромбо-флебит, и приехавшие из Москвы врачи Никитин и Беркенгейм предписали полный покой.

Первое время отца возили в большом кожаном «крымском кресле», но через несколько дней поднялась температура и его положили в постель.

В дневнике от 11 августа: «Хотя и пустяшное, — пишет он, — но хочется сказать кое-что, что бы мне хотелось, чтобы было сделано после моей смерти. Во-первых, хорошо бы, если бы наследники отдали все мои писания в общее пользование; если уже не это, то непременно всё народное, как-то: «Азбуки», «Книги для чтения». Второе, хотя это и из пустяков пустяки, то, чтобы никаких не совершали обрядов при закапывании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто хочет снесет или свезет в Заказ против оврага, на место зеленой палочки. По крайней мере, есть повод выбрать то или другое место».[15])

К середине августа здоровье отца улучшилось, температура спала. Его всё еще возили в кресле, ходить было запрещено. 28 августа отцу исполнилось 80 лет. Как ни старался сам Толстой, власти и духовенство остановить празднество юбилея — им это не удалось. Синод обращался к верующим с призывом не участвовать в чествовании графа Толстого, как «упорного противника православной веры»[16]). «Окаянный, презирающий Россию, Иуда, удавивший в своем духе все святое, нравственно чистое, нравственно благородное, повесивший сам себя, как лютый самоубийца, на сухой ветке собственного возгордившегося ума и развращенного таланта», — писал епископ Гермоген Саратовский...[17])

«Любезный брат Гермоген, — отвечал ему отец. — Прочел твои отзывы обо мне в печати и очень огорчился за тебя и за твоих единоверцев, признающих тебя своим руководителем. Допустим... что я — заблудший, я — вредный человек, но ведь я — человек и брат тебе. Если ты жалеешь тех, кого я погубил своим лживым учением, то как же не пожалеть того, кто, будучи виновником погибели других, сам наверно погибнет. Ведь я — тот человек и брат тебе. Понятно, что ты, как христианин, обладающий истиной, можешь и должен обратиться ко мне со словом увещания, укоризны, любовного наставления, но единственное чувство, которое тебе, как христианину, свойственно иметь ко мне, это — чувство жалости, но никак уж не то чувство, которое руководило в твоих об-

личениях... Кто из нас прав в различном понимании учения Христа, это знает только Бог. Но одно несомненно, в чем и ты, любезный брат, в спокойные минуты не можешь не согласиться, это — то, что основной закон Христа и Бога есть закон любви...

Нехорошо поступил ты, любезный брат, отдаваясь недоброму чувству раздражения. Нехорошо это для всякого человека-христианина, но вдвойне нехорошо для руководителей людей, исповедующих христианство. Пишу тебе с тем, чтобы просить тебя потушить в себе недоброе чувство ко мне, не имеющему против тебя никакого другого чувства, кроме любви и сожаления к заблуждающемуся брату»...[18])

Отец не послал этого письма епископу, а послал его своей сестре Марии Николаевне.

Статьей «Не могу молчать» отец невольно вызвал еще больший интерес к своему юбилею. Его буквально засыпали приветствиями. Получено было более 500 телеграмм, бесчисленное множество писем, адресов, подарков.

Съехалась вся семья, за исключением Льва, который был в Швеции, близкие друзья, г. Райт, друг Черткова, который привез адрес из Англии, подписанный многими сотнями английских почитателей Толстого. В числе подписей стояли имена Томаса Гарди, Мередита, Уэльса, поэта Эдуарда Карпентера, Макензи Уоллеса, Бернарда Шоу, философа Фредерика Гаррисона, Кеннана и многих других. Получены были телеграммы от последователей Генри Джорджа из Америки, из Австралии, из народной среды Германии, от еврейских юношей. Целый ряд адресов был получен от: Общества любителей Российской Словесности, Общества деятелей периодической печати, Общества любителей художеств с альбомом рисунков известных русских художников, специально для него нарисованных, и др.

Очень трогательно было подношение отцу мельхиорового самовара от официантов одного клуба, с выгравированными на нем словами: «Царство Божие внутри вас есть», «Не в силе Бог, а в правде», «Не так живи как хо-

чется, а как Бог велит». При самоваре было расшитое русское полотенце и трогательный адрес с подписями.

Какая-то фирма прислала коробки с папиросами с изображением отца на пачках. Мы отослали их обратно с письмом, говоря что отец не может употреблять папирос, так как он против куренья. Кондитерская Борман прислала целые короба конфект, которые я раздала детям на деревне, вместе с копеечным изданием народных рассказов отца. Какая-то фирма прислала косы для крестьян Ясной Поляны, другая — вино "Saint Raphël", — «лучший друг желудка», название вызвавшее много шуток и веселья среди молодежи.

Трудно перечислить те разнообразные слои общества, которые приветствовали отца. Тут были и ученые, и учителя и учительницы, студенты, гимназисты, рабочие, трактирные половые, профессора, лавочники, инженеры, техники, купцы, крестьяне, различные народности России — татары, латыши, финны, всевозможные сектанты, представители высшей аристократии и... православные священники.

«Великий писатель земли русской. Приветствую тебя. Да будет мир с тобою в знаменательный день юбилея твоего. Да простит тебе Господь грехи вольные и невольные и да хранит тебя Господь, дорогой граф, и милует в дни старости твоея». Подпись — «Священник».[19])

А вот другое: «Богоискателю шлет привет католический ксендз».

Очень трогательны некоторые приветствия от крестьян:

«Шлю благодарность за ваш труд и любовь к народу. Золота я не имею, а если и найдется лепта для сооружения вашего памятника, то я уверена, что не хватит на всем земном шаре капитала купить те живые камни, что вы ковали для своего живого памятника, ибо эти камни есть живые слова, которые останутся в сердцах людей. Слово ваше не умрет во веки веков. С почтением остаюсь вас уважающая по убеждению христианка, а по званию крестьянка».[20])

«Будь здоров, дорогой дедушка, для счастья народов, — пишет рабочий. — Для меня и для многих других людей вы уже, дорогой дедушка, никогда не умрете».

«Не молчи, Богом вдохновенный старец, и живи много лет», — писал другой крестьянин.[21])

Были письма и ругательные. Среди них было, от 3-го сентября, письмо за подписью «Русская мать».

«Граф. Ответ на ваше письмо. Не утруждая правительство, можете сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо своей родине и нашей молодежи».[22])

«Русская мать» прислала отцу запакованную в ящике веревку.

День своего юбилея отец провел по обыкновению. Утром работал, за завтраком принял поздравления друзей и часа на два я вывезла его в залу к гостям. Вечером Гольденвейзер играл его любимого Шопена.

Не только ответить, но даже прочитать многочисленные приветствия отец был не в состоянии. Моя мать и наш друг Хирьяков разобрали все поздравления и дали отцу прочитать самые интересные и трогательные.

«В эти последние дни, — писал отец в письме в газеты, — около 28-го августа, я получил такое количество всякого рода выражений сочувствия, которого никак не ожидал и — опять повторяю — совершенно искренно убежден, что не заслуживаю. Выражение этих чувств доставило мне одну из величайших радостей, испытанных мною в жизни. И потому считаю себя нравственно обязанным выразить хоть в малой степени, как сумею, мою благодарность всем тем людям, которые доставили мне эту радость... Письма эти были самые разнообразные, с самых разных концов России, и все, очевидно, имели целью только одно: выражение согласия — не со мною, а с теми истинами, которые мною кое-как были намечены и выражены. Это была для меня большая радость, за которую я выражаю свою благодарность — не ту благодарность, которую из учтивости и приличия выражают в подобных случаях, но ту истинную благодарность, которую я не могу не чувствовать, за ту неожиданную и неза-

служенную радость, которую я испытал в эти дни. — Благодарю и всех тех, которые писали мне, и тех милых людей, которые своими подарками, как петербургские официанты, приславшие мне в подарок прекрасный самовар с надписями, и рабочие и некоторые другие, которые меня особенно тронули. Прошу простить меня за то, что я, несмотря на то, что очень желал бы этого, не могу отвечать отдельно многим и многим из обращавшихся ко мне, и прошу их принять мою искреннюю благодарность».[23])

---

1) Толстой и о Толстом. Новые материалы. Изд. Толст. Музея. Вып. 1. М. 1924, стр. 81-83.
2) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 144.
3) Там же, стр. 145.
4) Там же, стр. 146.
5) Там же, стр. 146.
6) «Не могу молчать». Изд. Лодыжникова, стр. 18 и 39.
7) Полн. собр. соч. Госизд. т. 56. Дневн. 28 июля 1908 г.
8) Там же, стр. 340, 341. Дневн. 28 мая 1908 г.
9) Маковицкий, Яснополянские Записки, 12 января 1908 г.
10) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 152.
11) Полн. собр. соч. Госизд., т. 56, стр. 171.
12) Там же, стр. 172.
13) Там же, стр. 171.
14) Там же, стр. 171.
15) Там же, стр. 144. Дневн. 11 авг. 1908 г.
16) Н. Н. Гусев. Летопись... стр. 718, 22 авг. 1908 г.
17) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 167.
18) Там же, стр. 167.
19) Там же, стр. 165.
20) Там же, стр. 164.
21) Там же.
22) Там же.
23) Н. Н. Гусев. Два года с Толстым, стр. 193. Изд. Посредника.

ГЛАВА LXIV

«ВСЕ ТЯЖЕЛЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ...»

Хотя я и боролась с этим чувством, все же я ревновала отца к Гусеву.

Я знала, что он помогал отцу лучше чем я. Он знал стенографию — я ее не знала. Он знал учение Ку Хунг Минга и Конфуция, я — нет. Гусев рассуждал об индейской мудрости — я же только знакомилась с ней. Гусев всё знал о присоединении Боснии и Герцеговины — я же, хотя и переписывала письмо отца «Сербской женщине», имела очень смутное понятие о политическом положении Сербии. Я любила под аккомпанемент гитары петь с Анночкой цыганские романсы, Гусев же, с трудом подавляя в себе грешные чувства — ему нравилось наше пенье — «запечатлевал» страстные слова романсов, чтобы показать «потомству», в какой грешной обстановке приходилось жить Толстому.

Я очень любила животных. У меня был большой, черный пудель Маркиз с человеческим разумом, и серый попугай с розовым хвостом и человеческим разговором. Обоих я обожала. А попугай за меня мстил Гусеву.

Когда Гусев, со всегдашней улыбкой **l'homme qui rit** («человек который смеется»), садился мне диктовать, я отворяла клетку и пускала попугая на свободу. Гусев, увлеченный не то статьей о Боснии и Герцеговине, не то борьбой с грешными чувствами, не замечал, как тихо подкрадывался к нему попугай и вползал на его ногу — выше, выше. Гусев боялся его тронуть, боялся двинуться: «Снимите вашу окаянную птицу!» кричал он мне. А попугай, умостившись у Гусева на коленях, с криком: ах, ах, ах ха! изо всей мочи долбил Гусева в колено. «Больно же! — кричал Гусев. — Больно! Снимите его!»

Но, сделав свое дело, попугай уже спускался на пол. «Дурак! — кричал он Гусеву вслед. — Дурак!» Он уже

карабкался на меня и, умостившись на плече, терся головкой о мою щеку. «Дай лапочку, — ласково ворковал он, — дай головочку-поцеловочку». — «Мерзкая птица», — ворчал Гусев, потирая колено.

Все любили моего пуделя Маркиза, даже моя мать, вообще не любившая собак. Одна из любимых моих игр с Маркизом — это игра в прятки. Я прятала футляр от очков на шкапы, в диван, в карман отца. Пудель бегал по комнате, нюхая воздух, вскакивая на столы, стулья и, к всеобщему восторгу, залезал отцу в карман и бережно вытаскивал оттуда футляр... Вероятно, толстовцы презирали меня, сожалели, что у Толстого такая легкомысленная дочь. А отец любил Маркиза и поражался его уму. Но откуда же у меня была эта любовь к спорту, к лошадям, к собакам, жизнерадостность, даже задор? Усматривали ли «темные» эти черты в своем учителе? Чувствовали ли они всю силу его любви и понимания жизни во всей ее безграничной широте? Отец прощал мне мою молодость. Он сам радовался уму, горячности, чуткости своего верного коня Дэлира. Бережно нес Дэлир своего хозяина зимой, ступая верной ногой по снежной или скользкой дороге, летом — осторожно ступая по вязким болотам, через лесные заросли. Отец любил сокращать дороги и пускал коня целиной, по снегу, и когда Дэлир утопал в сугробах по брюхо, отец слезал, закидывал уздечку за стремена и пускал лошадь вперед протаптывать путь, и Дэлир, выбравшись на дорогу, останавливался и, повернув свою породистую арабскую голову, кося умным, выпуклым глазом, ожидал своего хозяина.

Неужели жизнь не может быть радостью, а надо вечно в чем-то каяться, мучиться? Иногда я мечтала: у нас с отцом маленький домик в деревне. Отец работает по утрам, я убираю дом, чищу, мою, готовлю, у нас огород, одна корова, несколько кур, вечером я ему переписываю... Ну, а что же будет с матерью? Она не согласится так жить. Она поселится рядом с врачами, лакеями, горничными. Поселится с другой стороны Чертков с «помощниками», фотографами... Опять начнут записывать, запечатлевать, снимать... Уйти отец не сможет... Славой

своей связал он себя, люди никогда не оставят его в покое, он нужен им, без него — они ничто. В такие минуты пропадала моя жизнерадостность — я знала, что исхода не было.

В конце декабря 1908 года в Ясную Поляну приехал Репин с Нордман-Северовой. Оба они были строгие вегетарианцы. Для Нордман вегетарианство было культом — она ела всякие травы, придумывала замысловатые блюда, крутящийся стол с вегетарианскими кушаньями, чтобы обходиться без прислуги. Отцу все это казалось слишком сложным и искусственным. Неприятно было ему и положение Нордман. «Как мне ее называть? — говорил он. — Жена Репина? Нет, у него была другая жена. Сожительница? Грубо». И вдруг он радостно рассмеялся. «Знаю, знаю, как бы в народе сказали: Репинская хозяйка».

На Рождестве я устроила елку для крестьянских ребят и мы все очень веселились, отец взял за руки ребят, устроили хоровод вокруг елки, пели, плясали, роздали всем подарки. Отец изредка нагибался к ребятам. «Ты чей? — спрашивал он, — Резунов?» — «Резунова Павел», — отвечал мальчик. «Внук Семена?» И получив утвердительный ответ, отец радостно улыбался. «До чего сильно семейное сходство, дед его у меня в школе учился. А вот эта черноглазая с вздернутой губой наверное Макарова». И он опять угадывал.

В конце января 1909 года в Ясную Поляну приехал Тульский архиерей, Владыка Парфений, в сопровождении двух священников и полиции. Когда отец вошел в залу, архиерей сам первый протянул отцу руку, не ожидая, что отец подойдет под благословение. Отец решил быть очень любезным с епископом.

«После общих незначительных разговоров, — писал отец, — я пригласил его к себе и сказал ему, что я получаю много писем и посещений от духовных лиц, и что я всегда бываю тронут добрыми пожеланиями, которые они высказывают, и также его посещением, но очень всегда сожалею, что для меня невозможно, как взлететь на воздух, — исполнить их желания.

Потом я сказал ему: одно мне неприятно, что все эти лица упрекают меня в том, что я разрушаю верование людей. Тут большое недоразумение, так как вся моя деятельность в этом отношении направлена только на избавление людей от неестественного и губительного состояния отсутствия всякой, какой бы то ни было, веры. Между прочим, я, в доказательство этого, прочел ему из составленного мною «Круга чтения» 20-ое января, тот день, в который случайно состоялось наше свидание. В этом дне были прекрасные места из Чаннинга, Эмерсона, Торо и особенно Канта».

После чтения «Круга чтения» беседа продолжалась.

«Я видел, что это чтение произвело на него хорошее впечатление, что мне было очень приятно. Но, несмотря на то, он все-таки высказал мне упрек в том, что моя деятельность разрушает веру людей. Тогда я рассказал ему давнишний случай, очень ничтожный по внешности и очень важный по внутреннему для меня смыслу.

Я поздно ночью, зимой, пошел пройтись, и идя по деревне, где все огни были уже потушены, проходя мимо одного дома, в котором светился огонь, заглянул в окно и увидал стоящую на коленях и молящуюся старуху Матрену, знакомую мне в ее молодости, одну из самых порочных, развратных баб деревни. Меня поразил этот внешний вид ее молитвенного состояния. Я посмотрел, пошел дальше, но, вернувшись назад, заглянул в окно и застал Матрену в том же положении. Она молилась и клала земные поклоны и поднимала лицо к иконам.

Вот это — молитва. Дай Бог нам всем молиться так же, т. е. сознавать так же свою зависимость от Бога, — и нарушить ту веру, которая вызывает такую молитву, я бы счел величайшим преступлением... Да это и невозможно. Никакие мудрецы не могли бы сделать этого. Но не то с людьми нашего образованного состояния — у них или нет никакой веры, или, что еще хуже, — притворство веры, веры, которая играет роль только известного приличия.

И потому я считал и считаю необходимым указывать всем, у которых нет веры, что человеку без этого жить

нельзя, а тех, у которых вера ложная, внешняя — освобождать от того, что скрывает для них необходимость истинной веры.

Архиерей ничего не возразил на это, но повторил, что нехорошо разрушать веру».[1])

В феврале к отцу приехал магометанин из казанских татар, Ваисов, последователь секты Багая. Отец заинтересовался им и долго с ним беседовал. Основная мысль Ваисова — признание необходимости одной религии.

«В сущности, когда опомнишься, — говорил отец, — то всегда удивляешься, как это такое простое рассуждение не приходит в голову: живет православный, католик, буддист, люди верят в это, считают истиной, а перейти известную границу, — считают что это ложь, а то истина. Как это не заставит усумниться, как это не искать эту, общую всем, религию».

Если глубоко вдуматься в значение этих слов, становится ясным, почему отец последние годы посвятил на собирание воедино того, что он считал основным руководством жизни человеческой: составление сборников — «Мысли мудрых людей», затем «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни». Это несомненно была попытка, выбрав основное из всех религий и величайших мыслителей мира, положить начало одной религии.

В начале марта отец снова захворал воспалением вен на левой ноге. Мы с Душаном умоляли его лежать с приподнятой ногой и не двигаться. Временами настроение его было очень тяжелое.

Участились отказы от воинской повинности. Отца мучило преследование правительством его друзей. Он снова просил арестовать его, автора статей, за распространение которых преследовались его единомышленники. Но правительство продолжало свою тактику: Черткову было объявлено постановление о высылке его в трехдневный срок из Тульской губернии «за вредную деятельность». У Бирюкова в Костромской губ. был сделан обыск и ему было предъявлено обвинение за хранение и распространение запрещенной литературы.

Несмотря на то, а может быть именно потому, что моя мать не любила Черткова и ревновала отца к нему, она, как это было во время голодного года с отлучением отца от церкви синодом, со свойственной ей горячностью и экспансивностью, неожиданно написала статью в газеты с протестом против высылки Черткова. Письмо это было напечатано не только в русских газетах, но и в заграничных, в том числе и в лондонском «Таймсе». Злые языки говорили, что брат Андрей и наша соседка Звегинцева сыграли большую роль в высылке Черткова, прося тульские власти раскассировать вредное гнездо «революционеров», как она называла толстовцев, свивших свое змеиное гнездо по соседству от нее в Телятинках.

В конце мая отца навестил знаменитый ученый И. И. Мечников с женой. Разумеется, не обошлось и без корреспондентов, которые жадно следили за всем происходившим в Ясной Поляне.

«Приехал Мечников и корреспонденты, — записал отец в дневнике от 30 мая. — Мечников приятен и как будто широк. Не успел еще говорит ь с ним».[2])

Отец был в прекрасном настроении и с свойственной ему светской любезностью принял гостя. Мечников сразу почувствовал себя легко и просто. Отец сам повез гостя в двуместном шарабане к Чертковым. Дорогой разговор коснулся отцовских художественных произведений. Мечников бы поражен, когда, на выраженный им восторг по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной», отец ответил, что он не только совершенно равнодушен к ним, но и совершенно забыл их содержание. Когда Мечников говорил о вреде алкоголя и куренья, отец вполне соглашался с ним, но подход их к этим вопросам так же, как и к вегетарианству, был совершенно разный. Мечников подходил к ним исключительно с точки зрения науки и гигиены, а не нравственности, и утверждение его, что человек может продлить себе жизнь и что он лично намерен прожить больше ста лет, показалось отцу циничным и не серьезным.

В дневнике от 31 мая отец дал такой отзыв о Мечникове:

«Мечников оказался очень легкомысленный человек — арелигиозный. Я нарочно выбрал время, чтобы поговорить с ним один на один о науке и религии. О науке ничего, кроме веры в то состояние науки, оправдания которого я требовал. О религии умолчание. Очевидно, отрицание того, что считается религией, и непонимание, т. е. нежелание понять, что такое религия».[3])

В самом начале июня отец получил телеграмму от Генри Джорджа-сына, который просил разрешения приехать в Ясную Поляну. «Мысль о свидании с сыном одного из самых замечательных людей XIX века», как писал отец, так взволновала и вдохновила его, что он в тот же день написал краткую статью об едином налоге, как единственном средстве разрешения земельного вопроса.

Свидание это было очень трогательное. Генри Джордж-сын поражался, как он говорил корреспондентам, удивительной памятью, бодростью отца, его глубоким знанием книг Джорджа, его обаянием, любовью к природе и отсутствием страха перед смертью.

Прощаясь с Джорджем, отец сказал: «Я скоро умру. Что вы хотите, чтобы я передал вашему отцу на том свете?» — «Передайте ему, — ответил Джордж, — что я продолжаю его дело».[4])

Не легко было отцу в Ясной Поляне, и брат Лев, живший у нас, не облегчал положения. Нервный, суетливый, он вечно метался, увлекаясь то музыкой, то литературой, надумывал свои теории гигиены. Он рассуждал о серьезных вещах с безапелляционной самоуверенностью, не продумав вопроса, часто себе противореча. Нужно было иметь всю кротость и терпение отца, чтобы переносить заявления Льва, вроде того, что крестьянам земля не нужна, что порядок не может быть установлен без смертной казни и т. п. От всего этого отец устал, и решил поехать отдохнуть к Сухотиным. Лёва лепил бюст отца и очень обиделся, что отец уехал, не дав ему закончить. Но отцу хотелось, кроме того, повидаться с Чертковым, которому, несмотря на прошение, поданное на

высочайшее имя, был окончательно запрещен въезд в Тульскую губернию.

Имение Сухотиных было как раз на границе Орловской губернии. Таня сняла для Черткова избу в деревне в Орловской губернии, в 4-х верстах от имения Сухотиных, куда отец ездил, чтобы повидать Черткова. Он пробыл бы дольше у Тани, если бы моя мать не настаивала на его возвращении.

Стражники продолжали наводить порядок. Один раз, проходя мимо большого пруда, я услышала крики и увидала, что на берегу собрались мужики и бабы. Подойдя ближе, я увидела знакомого крестьянина. Стражник его арестовал за то, что он бреднем ловил в пруду рыбу. Крестьянин весь мокрый, посиневший, с подсученными штанами, силился объяснить, что он на крестьянской, а не на «барской» стороне ловил рыбу. Но стражник вырвал у него бредень и несколько раз ударил его нагайкой.

Кровь бросилась мне в голову. «Мерзавец! — Как вы смеете его бить» — не помня себя от гнева, крикнула я. Стражник что-то нагло ответил. Но я стала между ним и крестьянином и ему пришлось отступиться. Но как только я ушла, он арестовал крестьянина и мокрым продержал его еще два часа под арестом, пока моя мать, узнав о происшедшем, не распорядилась его отпустить.

Вскоре после этого я получила повестку — меня привлекали к ответственности за оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей, и в Ясную Поляну приехал становой. Я не стала с ним разговаривать и просила ему передать, что если полиция считает меня виновной, то пусть меня судят. Составили протокол, а на другой день я уехала к губернатору, не застала его, и меня принял вице-губернатор Лопухин. Дело замяли и вскоре после этого стражников убрали из Ясной Поляны.

Вместо стражников, появился объезчик — лихой, затянутый в черкеску, в заломленной на затылок барашковой шапке, черкес с нагайкой...

Чтобы понять то, что случилось в этот последний год жизни отца и подготовлялось годами, надо вернуться назад к 80-м годам, когда жизнь нашей семьи пошла по двум рельсам.

Вот что писал отец матери в 1885 году по этому поводу:

«Так как нельзя вырвать из меня того, чем я живу и вернуть меня к прежнему, то как уничтожить те страдания мои и ваши, происходящие от моего неизлечимого сумасшествия? Для этого, признавая мой взгляд истиной или сумасшествием, есть одно только средство: вникнуть в этот взгляд, рассмотреть, понять его. И это то самое, по несчастной случайности, о которой я говорил, не только никогда не было сделано тобой, а за тобой и детьми, но этого привыкли опасаться. Выработали себе прием забывать, не видеть, не понимать, не признавать существования этого взгляда, относиться к этому, как к интересным мыслям, но не как ключу для понимания человека.

Случилось так, что, когда совершался во мне душевный переворот и внутренняя жизнь моя изменилась, ты не приписала этому значения и важности, не вникая в то, что происходило во мне, по несчастной случайности, поддаваясь общему мнению, что писателю-художнику, как Гоголю, надо писать художественные произведения, а не думать о своей жизни и не исправлять ее, что это есть что-то вроде дури или душевной болезни; поддаваясь этому настроению, ты сразу стала в враждебное отношение к тому, что было для меня спасением от отчаяния и возвращением к жизни...

Писание же мое есть весь я. В жизни я не мог выразить своих взглядов вполне, в жизни я делаю уступку необходимости сожития в семье; я живу и отрицаю в душе всю эту жизнь, и эту-то не мою жизнь вы считаете моей жизнью, а мою жизнь, выраженную в писании, вы считаете словами, не имеющими реальности. Весь разлад наш сделала та роковая ошибка, по которой ты 8 лет тому назад признала переворот, который произошел во мне, переворот, который из области мечтания и призра-

ков привел меня к действительной жизни, признала чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним, который не надо исследовать, разобрать, а с которым надо бороться всеми силами. И ты боролась 8 лет, и результат этой борьбы то, что я страдаю больше, чем прежде, но не только не оставляю прежнего взгляда, но все дальше иду по тому же направлению и задыхаюсь в борьбе и своим страданием заставляю страдать вас...

Вы ищете причину, ищете лекарство. Дети перестают объедаться (вегетарианство). Я счастлив, весел (несмотря на отпор, злобные нападки). Дети станут убирать комнату, не поедут в театр, пожалеют мужика, бабу, возьмут серьезную книгу читать — я счастлив, весел, и все мои болезни проходят мгновенно. Но ведь этого нет, упорно нет, нарочно нет. Между нами идет борьба насмерть — божье или не божье...»[5])

С годами шире делалось расхождение, острее становилась борьба, безнадежнее взаимное понимание. «Все тяжелее и тяжелее становится видеть рабов, работающих на нашу семью». Отца удручала бедность кругом, роскошь нашей жизни, суета, пустота, праздность. «Мне дурно жить, потому что жизнь дурна. Жизнь дурна, потому что люди, мы живем дурно», — писал он. Выхода не было...

---

[1]) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 174-175.
[2]) Там же, стр. 186.
[3]) Там же, стр. 187.
[4]) Там же, стр. 189.
[5]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 83, стр. 539.

ГЛАВА LXV

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Как трудно бывает поверить в душевную болезнь близкого человека, особенно если создалась многолетняя привычка к признанию авторитета и власти этого человека.

Если бы я поняла тогда, что моя мать больна, всё отношение мое к ней было бы другим. И было бы легче. Но люди много опытнее и умнее меня не могли этого понять...

С каждым днем моя мать становилась все нервнее. Всё раздражало ее, вызывало слезы, истерику, вспышки гнева. Причины были разнообразные и необъяснимые. Интересы ее продолжали скользить по поверхности; то она засушивала цветы, то рисовала, то, неизвестно почему, начинала мыть, заклеивать на зиму оконные рамы, то писала свои воспоминания. Когда она входила в комнату, где разговаривали, все внутренно сжимались, ожидая неприятного замечания. Всё болезненно ее нервировало. Свойство ее, над которым еще в молодости подтрунивала ее сестра Таня — жалость к себе и убеждение, что она несчастная жертва — обострилось до предела.

В начале июля отец получил приглашение поехать на 18-ый конгресс мира в Стокгольм. Он знал, что только он один мог бы сказать голую правду о недопустимости войны и всеобщем разоружении — только его одного выслушали бы, и он считал своим долгом это сделать. Но когда отец объявил о своем намерении, мать решительно заявила, что не пустит его. Способы, которые она употребляла, чтобы удержать его от этой поездки, были недопустимы. Она кричала, плакала, грозила, что убьет себя.

«Я не мог заснуть до двух и дольше, — писал он в дневнике. — Проснулся слабый, меня разбудили. С. А. не

спала всю ночь. Я прошел к ней. Это было что-то безумное... Я устал и не могу больше, и чувствую себя совсем больным. Чувствую невозможность относиться разумно и любовно, полную невозможность. Пока хочу только удаляться и не принимать никакого участия. Ничего другого не могу, а то я уже серьезно думал бежать. Нут-ка покажи свое христианство, c'est le moment ou jamais (теперь или никогда). А страшно хочется уйти. Едва ли в моем присутствии здесь есть что-нибудь, кому-нибудь нужное. Тяжелая жертва и во вред всем. Помоги, Бог, мне и научи. Одного хочу — делать не свою, а Твою волю».[1])

Через несколько дней он снова записал: «После обеда заговорил о поездке в Швецию, поднялась страшная истерическая раздраженность. Хотела отравиться морфием, я вырвал из рук и бросил под лестницу. Но когда лег в постель, спокойно обдумал, решил отказаться от поездки. Пошел и сказал ей. Она жалка, истинно жалею ее. Но как поучительно. Ничего не предпринимал, кроме внутренней работы над собой. И как только взялся за себя, все разрешилось».[2])

Возбуждение матери по поводу желания отца ехать в Стокгольм совпало с другим событием. Она намеревалась возбудить судебное дело против издателей, напечатавших произведения отца, но не была уверена, имеет ли она на то право.

В это лето у нас гостила младшая дочь тетеньки Марии Николаевны, Леночка со своим мужем — председателем Судебной палаты в Новочеркасске — и двумя прелестными детьми.

Моя мать просила Денисенко дать ей юридическую справку: имеет ли силу старая доверенность отца на право издания и продажи его сочинений. Когда Денисенко дал ей отрицательный ответ, мать снова вышла из равновесия: «Тебе все равно, что семья пойдет по миру, — кричала она отцу. — Ты все права хочешь отдать Черткову, пусть внуки голодают!»

У Андрея, Ильи были долги, они постоянно просили мать помочь им, это тоже действовало ей на нервы. Ан-

дрей отдал свое имение первой жене Ольге, где она и жила со своими детьми, Соничкой и Илюшком, денег у него не было, он служил, но жалованья ему никогда не хватало. У Ильи была большая семья, он был непрактичен, хозяйство не приносило дохода. И моя мать стала настойчиво требовать, чтобы отец передал ей все права на его сочинения, в чем он решительно ей отказывал. Мать возмущалась, что отец передавал Черткову свои рукописи, копии дневников. Она волновалась, что не получит права на издание неизданных сочинений, написанных после 1881 года. Нервное напряжение в доме дошло до крайних пределов. Отец не знал покоя ни днем, ни ночью. Моя мать перешла все границы нормального. Она плакала, врывалась к нему в комнату среди ночи, кричала, что он убивает ее. В своей болезненной одержимости она не сознавала, что не только порывает последнюю нить, связывающую его с нею, но и систематически сокращает жизнь отца.

Чертков не бывал в Ясной Поляне. Видя как С. А. раздражалась от каждого его приезда, отец просил его не приезжать. Он писал Черткову:

14 июля. «Вы поймете, милый друг, всю тяжесть приносимой мною жертвы лишения личного, надеюсь временного, лишения общения с вами, но знаю, что вы любите не меня, Льва Николаевича, а мою душу. А моя душа — ваша душа, и требования ее одни и те же»...

16 июля. «Нынче с утра мечтал о том, что поеду к вам, если меня пустят, т. е. Софья Андреевна скажет об этом. Но она торопилась и уезжая ничего не сказала, и я нынче не приеду, ce qu'est retardé n'est pas perdu.*) До другого раза... В том, что меня не пустила нынче к вам Софья Андреевна, было бы что-то унизительное, стыдное, если бы я не знал, что не пускает меня нынче к вам не Софья Андреевна, а Бог...[3])

«Если бы она (жена) знала и поняла, как она одна отравляет мои последние часы, дни, месяцы жизни»... — записал отец в дневнике 12-го июля.[4])

---

*) Что отложено — не потеряно.

Она не хотела, не могла этого понять. Она не представляла себе, что отец так близок к уходу, близок к тому, чего она больше всего боялась — передаче прав на свои книги в общее пользование.

Бедный председатель суда, добрейший Денисенко, оказался между двух огней. Отец обратился к нему с просьбой составить формальное завещание, в котором отец отказывался бы от права собственности на свои сочинения.

Я видела, какая непрестанная борьба шла в душе отца. Он ждал того же от меня, терпимости, любви, того, к чему я совсем не была готова. «Кому больше дано, с того больше и спрашивается», — постоянно говорил он мне. «Не дано, папаша, — говорила я ему, — не могу»... «А ты постарайся через не могу»... Но даже и он не всегда мог.

«Жил дурно всё это время, был не добр, — снова писал он Черткову 2 августа. — А как только нет любви — нет радости, нет жизни, нет Бога. Одна дырочка в ведре — и вся вода вытечет... Да, Бог — любовь, это для меня такая ясная несомненная истина, но в последнее время я всё яснее и яснее не то что вижу, но чувствую всем существом, что проявлять любовь в жизни, нам, дрянным людям, да с еще более дурным, гадким прошедшим не легко, а тут на каждом шагу дилеммы и, во имя любви, исполнишь одно требование о любви, нарушишь другое. Одно спасенье жить только в настоящем, нести крест на каждый день, час, минуту. А я так плох, и всё больше и больше хочется умереть. Прежде хотелось по вечерам, а теперь и по утрам. И это мне приятно. Не думайте, что я жалуюсь вам. Не имею ни права, ни желания, и большей частью только благодарен, особенно когда один».[5])

Хотя отец, уступив матери, решил не ехать в Стокгольм, он всё же торопился закончить свой доклад для всемирного Конгресса. Но Конгресс был отложен из-за забастовки рабочих в Швеции. А когда Конгресс состоялся, доклад Толстого даже не огласили. Отец был разочарован. «Везде ложь, — говорил он. — Люди боятся правды, отвыкли от нее. С одной стороны, собрались для

того, чтобы установить мир... а рассуждают об усилении вооружения».

Когда в Ясную Поляну приехала тетенька Мария Николаевна, стало много легче. Тетенька не вмешивалась в семейные дела, но одно присутствие ее сдерживало мою мать. Мы все вздохнули.

Как-то вечером приехал Гольденвейзер и отец сел с ним играть в шахматы. Вдруг сердито залаял мой пудель Маркиз, у подъезда затарахтели колеса. К дому подъехали исправник, становой, стражники. Все в доме заволновались. Оказалось, что приехали арестовать Гусева. В бумаге, которую отец потребовал от станового, было объявлено, что Гусева ссылают на два года в Чердынь, Пермской губернии, за «революционную» деятельность. Сбежались все домашние, служащие, отец прошел с Гусевым в кабинет. Ему дали полчаса на сборы. Гусев наскоро сдавал бумаги, укладывал вещи. Отец молчал, только лицо его было бледнее обыкновенного. Я сунула Гусеву в чемодан «Войну и мир», которой он никогда не читал, как произведение художественное, не имевшее, с его точки зрения, религиозно-философского значения. «Это скрасит вам дорогу», — шепнула я ему. Отец обнял, поцеловал Гусева и молча, глотая слезы, пошел наверх. Дрожки отъехали.

«Тьфу! — плевалась тетенька-монахиня вслед отъезжавшей полиции. — За что они арестовывают такого доброго человека! Тьфу! тьфу!».

В дневнике отец писал:

«Вчера вечером приехали разбойники за Гусевым и увезли его. Очень хороши были проводы: отношения всех к нему и его к нам. Было очень хорошо. Об этом нынче написал заявление».

«Вчера, в 10 часов вечера, подъехали к нашему дому несколько человек в мундирах и потребовали к себе помощника в моих занятиях, Николая Николаевича Гусева, — говорилось в этом заявлении. — Один из них, исправник, в ответ на мой вопрос, вынул из кармана небольшую бумагу и с торжественным благоговением прочел мне заключающееся в бумаге решение министра внутрен-

них дел о том, что для блага вверенного его попечению русского народа, по 384-й или еще какой-то статье (хотя казалось бы, что для того, чтобы делать то, что они делали, не нужно было ссылаться ни на какую статью), Н. Н. Гусев должен быть за распространение революционных изданий взят под стражу и сослан по каким-то известным и понятным министру внутренних дел соображениям, именно в Чердынский уезд Пермской губернии, и, по тем же соображениям, именно на два года...

Один только виновник этого возбуждения, сам Н. Н., был радостен и спокоен и со свойственной ему добротой и заботой о других, а не о себе, спешил приводить в порядок мои дела, так как сроку приготовляться к отъезду ему было дано не более получаса...

Надо было видеть, как провожали Гусева и все наши домашние, и все случайно собравшиеся в этот вечер в нашем доме знакомые, знавшие Гусева. Одно у всех, от старых до малых, до детей и прислуги, было одно чувство уважения и любви к этому человеку и более или менее сдерживаемое чувство негодования против виновника того, что совершалось над ним...

И этого-то человека — доброго, мягкого, правдивого, врага всякого насилия, желающего служить всем и ничего не требующего себе, — этого человека хватают ночью, запирают в тифозную тюрьму и ссылают в какое-то, только потому известное ссылающим его людям место, что оно считается ими самым неприятным для жизни»...[6])

Заявление это было напечатано почти во всех русских газетах.

Отец был слаб физически, но люди этого не сознавали и шли к нему непрекращающейся вереницей, и с каждым из них он находил точки соприкосновения. С художником Пархоменко, писавшим его портрет, он говорил об искусстве. С членами Думы, Василием Маклаковым и др., приезжавшими к нему, отец развивал мысль о земельной реформе, о внесении в Государственную Думу проекта единого налога Генри Джорджа.

Отец устал, устал от неприятностей, от людей, ему хотелось видеть Черткова. Он был рад уехать из Ясной Поляны в подмосковное имение Крекшино, где жили Чертковы и где он надеялся отдохнуть в спокойной обстановке, отдохнуть от постоянных упреков, истерик...

С отцом поехали Душан, Илья Васильевич и я. Но не тут-то было... Покоя не было.

Несмотря на отрицательную телеграмму, которая была послана кинематографической фирме на их запрос — могут ли они приехать заснять отъезд Толстого, «Патэ-журнал» все же прислал фотографов и они снимали, спрятавшись в кусты, гнались за нами по дороге на станцию... В поезде к нам присоединился Гольденвейзер. В Москве, в Хомовниках, мы думали застать брата Сергея с женой, но их там не оказалось. Обед принесли из вегетарианской столовой, надеялись, что отец отдохнет. Но явился Спиро, корреспондент «Русского Слова», которое издавалось Сытиным. Не успел еще корреспондент раскрыть рот, для того чтобы задать вопросы, как отец, с неожиданной суровостью, напустился на его патрона.

«Скажите своему ужасному Сытину, — сказал он, — что я глубоко возмущен. Почему он задерживает печатанье «На каждый день», «Посредник» давно напечатал бы»...

Вероятно Спиро ничего не знал о последнем сборнике «На каждый день», составленном отцом. Почему-то Чертков, против желания отца, отдал его не «Посреднику», а Сытину, затягивавшему невыгодное для него, с коммерческой точки зрения, издание.

Гольденвейзер рассказал отцу об изумительном изобретении пианино «Миньон», точно воспроизвдящем игру пианистов, и утром мы всей гурьбой — Чертков, который к нам присоединился, отец, Гольденвейзер и я — поехали в музыкальный магазин Циммермана, где отцу устроили торжественную встречу.

Управляющий магазина был настолько любезен, что прислал инструмент к Чертковым в деревню, где отец наслаждался музыкой Шопена, Штрауса и др., в исполне-

нии лучших пианистов мира. Кроме того, в Крекшино приезжали скрипачи Сибор и Могилевский, а под конец приехал квартет, который играл отцу его любимые произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Всё это были милые люди, доставлявшие большое удовольствие отцу, он был окружен близкими ему по духу людьми, но настоящего отдыха не было. Из соседних школ пришла группа учителей, которые беседовали с отцом о его взглядах на школьное воспитание, приходили крестьяне из соседних деревень, приезжали люди из Москвы...

А через несколько дней приехала моя мать. У Чертковых ей всё не нравилось: «темные», окружавшие отца, общий стол, где Илья Васильевич сидел вместе с ней. Нервы ее были в ужасном состоянии.

Трудно себе представить, что было бы, если бы она узнала, что здесь в Крекшине, отец решил написать завещание. В этом завещании отец отказывался от прав на сочинения, написанные им после 1881 года, в пользу всех, кто только желал бы их напечатать, и право редактирования предоставлял Черткову. Я переписала это завещание, отец и три свидетеля подписали его. Я дала копию Черткову, оставила у себя оригинал, и Чертков просил меня зайти в Москве к присяжному поверенному Муравьеву, чтобы узнать, имеет ли такое завещание юридическую силу.

От Чертковых отец хотел ехать прямо в Ясную Поляну, не заезжая в Москву. Но и это его желание вызвало протест, слезы и упреки со стороны матери. Почему-то она настаивала, чтобы отец на один день остановился в Москве.

Я боялась этой остановки. Весть, что Толстой в подмосковном имении у Черткова, молниеносно разнеслась по Москве. Корреспонденты, фотографы буквально не давали ему прохода. Опять на станциях щелкали фотографические и киноаппараты. На Брянском вокзале нас встречала толпа, по пятам отца следовала группа корреспондентов, ловя налету каждое его слово, усиленный

наряд полиции, городовые почтительно отдавали отцу честь.

В Хамовническом доме нас встретил брат Сергей с женой. Пришли друзья — Маклаков, Дунаев, Гольденвейзер; Сережа с женой кормили нас обедом, угощали чаем. Когда заговорили о кинематографе, отец спросил: «А почему бы нам не пойти в кино?» Мы, особенно я, очень обрадовались. Но, как на грех, показывали глупейшую картину. Помню, выходя из кино, отец сказал: «Какое это могло бы быть могучее средство для школ, изучения географии, жизни народов, но... его опошлят, как и все остальное».

На другой день я побежала к присяжному поверенному Муравьеву с подписанным отцом завещанием. Муравьев внимательно его прочел, сказал, что оно не имеет никакого веса — нельзя оставлять права на сочинения всем... Он обещал подумать и приготовить завещание, которое имело бы юридическую силу.

Между тем надвигалось то, чего я так боялась — отцу готовили манифестацию. Безостановочно звонил телефон с одним и тем же вопросом: с каким поездом едет в Ясную Поляну Толстой? И когда я не давала определенного ответа, моя мать сердилась и отвечала сама, указывая точно время отхода поезда. Она не разделяла моего беспокойства. Я же вспоминала манифестацию в Харькове и становилось страшно.

На другое утро мы выехали со двора Хамовнического дома в ландо, запряженном парой лошадей — отец, мать и я.

У наших ворот уже стояла небольшая группа людей. Увидав отца, старый военный снял фуражку и низко, в пояс, поклонился отцу.

Подъехать к самому Курскому вокзалу нам не удалось. Площадь была заполнена народом, тысячи, может быть десятки тысяч людей ждали отца. Коляска остановилась, заколыхалось море голов, все обнажили головы. Отца встретил Маклаков и мы направились к дверям вокзала, но идти нельзя было... Студенты сделали цепь, но толпа прорвала ее. В дверях вокзала нас сжали, нечем

было дышать. Я старалась заслонить отца, но чувствовала, что даже мои широкие плечи не в силах сдержать натиск толпы. Маклаков и громадного роста жандарм с трудом осаживали толпу. При выходе на платформу тот же ужас, нас втиснули в двери, сжали, был момент что казалось нас раздавят, сплющат, но толпа вытеснила, вынесла нас на платформу. Здесь люди висели на столбах, взгромоздились на крыши выгонов...

Мы с трудом провели отца в вагон, он был бледен, как полотно, тряслась нижняя челюсть. Поезд тронулся, толпа бросилась за ним, кричала, махала платками. Он стоял у окна и кланялся.[7])

Чертков провожал нас до Серпухова. Отец лег отдохнуть, но вскоре мы заметили, что сон перешел в обморочное состояние. Он был бледен, пульс едва прощупывался. Мы думали, что он умирает.

На станции нас ждали лошади. Под руки провели отца, усадили его в пролетку... Но и дома он не приходил в себя, сидел в кресле, говорил какие-то непонятные слова. Мы с Душаном уговаривали его лечь, но он просил оставить его в покое.

— Лёвочка, — тормошила его мама, — Лёвочка, где ключи?

— Не понимаю... зачем?

— Ключи, ключи от ящика, где рукописи!

— Мама, оставь пожалуйста, не заставляй его напрягать память... Пожалуйста!

— Но ведь мне нужны ключи, — говорила она в волнении, — он умрет, а рукописи растащат...

— Никто не растащит, оставь, умоляю тебя!

Мы с Душаном продолжали раздевать его и почти на руках отнесли на кровать. Опустили голову, клали горячие мешки, Душан Петрович делал подкожное вспрыскивание.

Только глубокой ночью он пришел в себя.

---

1 ноября 1909 года отец подписал новое завещание, составленное адвокатом Муравьевым.

В начале отец думал оставить права на все свои сочинения нам троим, более близким ему, Сереже, Тане и мне, чтобы мы в свою очередь передали эти права на общее пользование. Но один раз, когда я утром пришла к нему в кабинет, он вдруг сказал: «Саша, я решил сделать завещание на тебя одну» — и вопросительно поглядел на меня.

Я молчала. Мне представилась громадная ответственность, ложившаяся на меня, нападки семьи, обида старших брата и сестры, и вместе с тем в душе росло чувство гордости, счастья, что он доверяет мне такое громадное дело.

— Что же ты молчишь? — сказал он.

Я высказала ему свои сомнения.

— Нет, я так решил, — сказал он твердо, — ты единственная сейчас осталась жить со мной, и вполне естественно, что я поручаю тебе это дело. В случае же твоей смерти, — и он ласково засмеялся, — права перейдут к Тане.

22 июля, в лесу, в нескольких верстах от дома, было подписано завещание. Сидя на пенышке, отец с начала до конца переписал его своей рукой. Свидетели — Радынский, Сергеенко — сын Алеши и Гольденвейзер, засвидетельствовали отцовскую подпись.

Нелегко было отцу решиться на этот шаг, нелегко было скрывать от семьи свое решение. Но он твердо решил исправить грех, как он говорил, продажи его сочинений хоть после своей смерти.

Один раз, когда он ложился спать, а я была рядом в кабинете, он через затворенную дверь окликнул меня.

— Саша!

— Да, папа.

— Я хотел сказать по поводу завещания... Если останутся какие-нибудь деньги от первого издания сочинений, хорошо было бы выкупить Ясную Поляну у мамá и братьев и отдать мужикам...

— Хорошо, папа.

Больше он никогда не заговаривал со мной об этом.*)

---

*) Эта воля отца была мною выполнена. Четыре общества крестьян Ясная Поляна, Грумонт, Грецовка и Телятинки, связанные с семьей Толстых, получили около 1000 десятин земли.

1) Бирюков. Биография, т. IV, стр. 190.
2) Муратов. «Толстой и Чертков по их переписке» ГТМ. М. 1934, стр. 387.
3) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 586, прим. 1646.
4) Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, стр. 746.
5) Муратов. «Т. и Ч. по их переписке», стр. 388.
6) Бирюков. Биография, т. 3, стр. 192, 193.
7) Воспоминания А. Л. Толстой (Рукопись).

Глава XLVI

РАЗЛУКА.

Таня и маленькая Таничка жили в Ясной Поляне. Моя мать успокоилась. Она обожала свою внучку — забавную, умненькую, курносенькую девочку, и целыми днями возилась с нею. Вместо Гусева, Чертков прислал к концу января нового секретаря, студента В. Ф. Булгакова — веселого, жизнерадостного, немного влюбленного в себя юношу, с которым отец ранее переписывался по вопросу образования.

Общение с людьми по интересующим его вопросам — не прекращалось. Еще в конце сентября 1909 года отец получил письмо из Лондона от молодого индуса, Махатмы Ганди. Ганди писал отцу о «черном законе», практиковавшемся в Южной Африке по отношению к индусам, обращавшем их в рабов.

«Как я, так и некоторые мои друзья еще раньше твердо верили в учение непротивления злу насилием, — писал Ганди, — и таковыми мы остались и теперь. Кроме того, мне выпало счастье изучать ваши писания, произведшие глубокое впечатление на мое мировоззрение. Британские индусы, которым мы объяснили положение вещей, согласились не подчиняться этому закону и предпочесть заключение в тюрьму или другие наказания, которые могут быть по закону наложены за его нарушение. Следствием этого получилось то, что почти половина всего индусского населения, не бывшая в силах выдержать напряжение борьбы и перенести страдания при заключении в тюрьму, предпочла выселиться из Трансвааля, нежели подчиниться унизительному, по ее мнению, закону. Из другой половины почти 2.500 человек, ради следования своей совести, предпочли тюремное заключение — некоторые из них до пяти раз. Тюремное заключение колебалось между четырьмя днями и шестью меся-

цами, в большинстве случаев с каторжными работами. Многие из индусов были материально совершенно разорены. В настоящее время в трансваальских тюрьмах находится около 100 таких пассивных противленцев»...[1])

В конце письма Ганди просил отца прислать ему его «Письмо к индусу» о непротивлении злу насилием. Друзья Ганди решили распространить его в Индии в количестве 20.000 экземпляров.

«Помогай Бог нашим дорогим братьям и сотрудникам в Трансваале, — писал отец Ганди. — Та же борьба мягкого против жестокого, смирения и любви против гордости и насилия с каждым днем всё более и более проявляется у нас, в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с законом мирским — в отказах от военной службы. Отказы становятся всё чаще и чаще»...[2])

Позднее Ганди прислал отцу свою книгу Indian Home Rule. В письме от 22 апреля отец писал Черткову:

«Сейчас и вчера вечером читал присланную мне с письмом книгу одного индусского мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посредством Passive Resistance (Пассивного сопротивления). Очень он близкий нам, мне человек. Он читал мои писания, перевел на индусский язык мое письмо индусу, его же книга Indian Home Rule по-индусски была запрещена британским правительством Он просит моего мнения об его книге. Мне хочется подробно написать ему».[3])

Д. П. Маковицкий в своих записках приводит отзыв отца о Ганди: «Ганди — автор книжки Indian Home Rule. Он начальник партии, борющейся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я получил книгу о нем. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение с точки зрения религиозного индуса всей европейской цивилизации. Как он приезжал в Лондон, как он начал есть мясо, как он учился танцовать и подчинялся цивилизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к цветным людям. Кроме того, он проповедует, что

самое действительное противодействие — это пассивное».[4])

Самые разнообразные посетители приезжали к отцу. Кого только не было!

Японцы, европейские и американские журналисты, крестьяне, черносотенный полковник, какой-то сумасшедший, шпион, наивно считавший, что получит одобрение Толстого за то, что стрелял в революционеров и многие другие.

В эту зиму отца снова посетил проф. Масарик, с которым отец много беседовал о религии. «Масарик все-таки профессор, — отметил отец в своем дневнике, — и верит в личного Бога и бессмертие личности».[5])

Приезжал Леонид Андреев. Вероятно люди, встречавшиеся в Москве с избалованным и популярным писателем в литературных и артистических кружках, среди деятелей Художественного Театра, где шли его пьесы, удивились бы, увидав его в Ясной Поляне. Не было и тени его обычной самоуверенности, апломба, когда он говорил с отцом. Это был робкий, застенчивый человек, в больших, красивых глазах которого было напряженное, благоговейное внимание. Не интересуясь по существу теми вопросами, которыми жил Толстой, он сразу подпал под обаяние отца, искал тем для разговора, смущался, робел. Этим он подкупил отца. Андреев был ему приятен, но отец сразу почувствовал, что у него «нет серьезного отношения к жизни», что он «поверхностно касается этих вопросов», т. е. вопросов духовной жизни человека, религии.[6])

В январе Дорик Сухотин, Танин пасынок, заболел корью, от него заразилась маленькая Таничка, а потом и я. Дети легко переносили болезнь, у меня же корь осложнилась тяжелой формой воспаления легких.

Физически было тяжко — нечем дышать, кололо в груди и боках, был сильный жар. Температура не спадала, и я уже не имела сил ни кашлять, ни ворочаться с боку на бок. Варя день и ночь ходила за мной.

Иногда отец оставался со мной вдвоем, подавал мне воду, поправлял подушки. Сквозь проблески сознания я видела в полумраке его сгорбленную старческую фигуру. «Папенька!» Он подходил. «Пить!» Старческая рука дрожала, вода расплескивалась. Я целовала его руку. «Спасибо». Он всхлипывал, брал мою руку, прижимал ее к губам. Рука моя мокрая. «О чем ты плачешь? Папа, мне так хорошо». Но он уже не мог сдерживать рыдания и отходил, громко сморкаясь, в темноту комнаты... а я не могла понять, что с ним.

«16 февраля. Саше не лучше, креплюсь», — записал он в дневнике.

«16 февраля. Саша и трогает и тревожит. И рад, что люблю ее, и браню себя за то, что слишком исключительно. Пишу и самому страшно. Да, да будет Его воля».[7])

В начале марта я встала. На месте Гусева сидел веселый Булгаков, менее серьезный, более самоуверенный. Теперь он отвечал на умные письма, помогал отцу составлять книжечки «Путь жизни», которые, по настоянию отца, уже печатал не «ужасный» Сытин, как говорил отец, а «милый» Иван Иванович Горбунов. «Книжечки», в которых были собраны все сокровища духовной мысли человечества: «Понятие Бога, духовного начала всего, есть такое великое и необходимое понятие, до которого мы одни никогда не додумались бы, если бы оно не было открываемо людям постепенно усилиями величайших мудрецов мира, — писал отец в дневнике. — Это огромный шаг человечества, а мы воображаем, что, имея радий, аэропланы, электричество, можем обойтись без него. Да, можем, но только как животные, а не как люди, как мы и живем теперь в наших Нью-Йорках, Лондонах, Парижах с 30-тиэтажными домами».[8])

В подтверждение этой мысли любопытна запись отца от 10 мая, где отец говорит о развращении народов — индусов, китайцев, негров — цивилизацией. «Машины, чтобы делать что? — задает он вопрос. — Телеграфы, телефоны, чтобы передавать что? Школы, уни-

верситеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей для того, чтобы делать что? Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?

Миллионы страдают духовно и телесно для того, чтобы только захватившие власть могли беспрепятственно развращаться. Для этого ложь религии, ложь науки, одурение спаиванием и воспитанием, и где этого мало — грубое насилие, тюрьмы, казни».[9])

Кроме «Пути жизни», отец пытался писать небольшую пьесу для молодежи, жившей в Чертковском доме в Телятинках, «От ней все качества». И я, вставши с постели, взялась за свою обычную работу. Но сил у меня не было, мучил кашель, ослабляли ночные поты. Я старалась превозмочь эту непривычную для меня слабость, но ничего не выходило...

21 марта отец записал в дневнике: «Сейчас 10-ый час, мне немного лучше. Саша опять хворает, но хороша. У меня на душе очень хорошо. Хороша ясность мысли. Хочется выразить ее; а я и не выражу — и то хорошо. Таня очень мила и приятна мне».[10])

Насколько мне было приятно болеть, когда я была близка к отцу, настолько страшно показалось, когда в мокроте найдены были Коховские бациллы, врачи определили туберкулез обоих верхушек легких и предписали немедленно уехать от сырой яснополянской весны — в Крым. Разлука с отцом. Надолго ли? А если он заболеет без меня? Сколько оставалось ему жить? Может быть месяцы... а я должна потерять это время вдали от него. А если не ехать, не исполнить предписания врачей? Продолжать жить расслабленной, полукалекой, не быть в силах помогать ему?

Тяжко было расставание нам обоим.

«Тяжело, — записал он в дневнике, — а я не знаю, что делать. Саша уехала. И люблю ее, недостает ее, недостает она мне — не для дела, а по душе. Приезжали провожать ее Гольденвейзеры. Он играл. Я

по слабости кис» (плакал). «Вечером поправлял Мысли о жизни. Теперь 12 часов. Ложусь. Всё дурное расположение духа. Смотри, держись, Лев Николаевич».[11])

Мы договорились, что будем писать друг другу ежедневно и отец в конце дня всегда писал мне. Привожу выдержки из его писем.

15 апреля 1910 г.

«Хочется написать тебе, милый друг Саша, и не знаю что писать. Знаю, что тебе желательнее всего знать обо мне, а о себе писать неприятно. О том, как ты мне дорога, составляя грех исключительной любви, тоже писать не надо бы, но все-таки пишу, потому что это думаю сейчас.

Внутреннее мое состояние в последние дни, особенно в тот день, когда ты уезжала, была борьба с физическим желчным состоянием. Состояние это полезно, потому что дает большой материал для работы, но плохо тем, что мешает ясно мыслить и выражать свои мысли, а я привык к этому. Нынче первый день мне лучше, но ничего кроме писем: Шоу, еще об обществе мира и еще кое-кому не писал. Г.(орбунов) занят книжечками, которые уже в сверстанном виде и меня радуют. Нынче был и еще здесь Саламахин, тоже меня радующий своей серьезной религиозностью. Зачем родятся и детьми умирают, зачем одни век в нужде и образованы, другие в роскоши и безграмотны и всякие кажущиеся неравенства — все это могу объяснить. Но отчего одни люди, как Саламахин, весь горит, т. е. вся жизнь его руководима религией, а другой, другая, как ложка, не может понять вкуса той пищи, в которой купается.

Вчера ездил с Булгаковым, нынче с Душаном, Дэлир покоен. Погода чудная, фиалки Леньки душат меня, стоя теперь передо мною. Как-то у вас. Что-то пишут, что там холодно. Пиши ты или Варя каждый день.

Срашно хочется, как давно не хотелось кое-что, да ты знаешь что, — безумие нашей жизни в образах высказать под заглавием: «Нет в мире виноватых». И на

эту мысль. Страшно хочется, но не начал еще. Боюсь, что это ложный аппетит. Правда очень развлекают по утрам. Хочу попробовать. Ну, да это не важно. Прощай, сейчас только кончили обедать. И меня ждет, у Душана в комнате, проезжий, поговорить. Иду к нему. Целую тебя и для краткости милую Варю.

Лев».

21 апреля 1910 г.

«Нынче от Вари письмо о тебе нехорошее. Не унывай, милая голубушка. Всё хорошо, если сама хороша, а ты можешь и знаешь, и хочешь, и умеешь быть хорошей. Пиши мне почаще. Докторам не верь. А постарайся гигиенически лучше устроиться...

Иногда мне тяжело от того, что ты знаешь, но стараюсь не быть совсем плохим. Мимо твоей комнаты ходить больно. Сейчас 12-й час ночи, вторник, ложусь спать. Жду завтра твоего письма. Варе привет. Тебя люблю так, как не следует любить.

Л. Т.

Душан, как всегда, радует».

22 апреля 1910 г.

«Нынче получил твое письмо, милая дочь и друг. И немного прослезился не от страха, не от жалости к тебе или к себе, а от умиления, что хорошо думаешь. Что бы ни было, хотя все вероятия за хорошее, всё на благо. Пожалуйста почаще пиши и не думай обо мне, а пиши, как дневник, о впечатлениях и мыслях, главное — мыслях и чувствах, которые приходят, а то просто о людях, об кушаньях, о чем попало и как попало. Я к твоей литературе самый снисходительный судья. Когда плохо на душе, думай о том, чтобы сейчас пользоваться жизнью во-всю, т. е. быть в любви на деле, на словах, в мыслях, в любви со всеми, а что будет, то будет и будет всё хорошее.

У нас не переводятся гости. Нынче приехали Гольденвейзеры, завтра приедет Сибор. Я здоров. Многое хочется писать, но совсем растерялся от многих дел. И слава Богу, благодарен. Варю люблю саму по

себе, а еще больше за то, что она тебя любит. Прощай душенька.

Л. Т.»

23 апреля 1910 г.

«Получили нынче, милая Саша, твое письмо мамá. Пожалуйста каждый день ты или Варя самые нетрудные письма о состоянии твоего здоровья, температура, кашель и пр. А если скучно, то не надо. Оля верно тебе пишет о нас, о музыке. У нас хорошо. Я верхом не езжу, и Дэлира пустил в табун, а хожу гулять с твоими собаками и мне хорошо. Сделай так, чтобы тебе было хорошо, ты можешь, милая моя, дружок. Варю благодарю.

Л. Т.»

24 апреля 1910 г.

«Так близка ты моему сердцу, милая Саша, что не могу не писать тебе каждый день. У нас нового ничего особенного; вчера прекрасная музыка, которую я всегда сильно чувствую и всегда упрекаю себя за эту роскошь. Нынче я себя физически дурно чувствую, как это временно обыкновенно бывает у меня: сонливость, изжога и отсутствие аппетита. Сейчас 12-й час ночи, подписал письма и ложусь спать. Пишу сейчас телеграмму «Посреднику». Ему 25 лет».

25 апреля 1910 г.

«От тебя нынче нету письма, а я все-таки пишу тебе, милый друг Саша. Вчера я был слаб, но нынче справился, главное на душе очень хорошо. Как бы я желал, хотя этого нельзя тебе в 25 лет — чтобы тебе было так же хорошо, как мне в 82 года — хорошо совершенно независимо от моего тела и от того, что окружает меня. Два дня эти почти не могу работать, ни мыслей хороших нет, а на душе радостно, спокойно, свободно. Как ни неловко говорить одному, — не получаю от тебя известий, — говорю, что умею. Я уже привык, вечером, перед тем как ложиться спать, записать в дневник и тебе письмецо. Нынче письмецо от Ч., который надеется, что ему разрешат ездить к Сухотиным и это мне очень улыбается. До свиданья не-

скорого, но все-таки до свиданья. Целую тебя. Варе поклонись.

Л. Т.»

Смотри же, как можно чаще давай о себе знать. И как можно правдивее и подробнее. Я ожидаю всего хорошего, как ни странно это может казаться, главное, в духовном отношении, в том, что в нашей, в твоей власти. А телесное не может быть ни хорошо, ни дурно. Целую тебя. Варе благодарность за тебя.

Л. Т.»

Число не помечено.

«Пишу тебе хоть два слова, милый дружок Саша.

Сейчас 12-й час ночи, пятница. Собираюсь спать. Расположение духа нехорошее, но кроме твоей болезни и твоего отсутствия так много хорошего, что самый желчный человек не мог бы не радоваться. Булгаков очень хорошо помогает мне и так сердечно, что мне легко с ним и каждый день посетители и письма таких близких, хотя и неизвестных людей, что нельзя не радоваться. Как твоя жизнь? Хотелось бы думать, что у тебя есть и там внутренняя духовная работа. Это важнее всего. Хотя ты и молода, а все-таки можно и должно.

Сейчас был милый Димочка.*) Старый Дима**) нанял дачу за Серпуховым. Я надеюсь побывать у него. Таня как всегда мила и хороша. Целую тебя. Варе привет.

Л. Т.»

2-го мая 1910 г.

«Пишу тебе, голубушка Саша, из Кочетов вечером 2-го. Приехал я с Душаном и Булгаковым. Чудная погода, милые Сухотины и всё радостно. Даже и про тебя вспоминаю без боли, но... жутко. Пишу весело и вдруг от тебя дурные вести. Мама немножко была недовольна, что я не отложил отъезд на день, но все-таки отпустила меня без раздражения. Она приедет сюда 4-го после завтра, если что-нибудь ее не

---

*) В. В. Чертков — сын. **) В. Г. Чертков — отец.

задержит. Каюсь, что мне от многого и многого хотелось уехать из Ясной. Очень много суеты и посетителей и других причин. А нынче как раз был посетитель, которого мне жаль было покинуть так скоро. Я едва успел с ним поговорить 1/4 часа. Это Шнякин, отказавшийся и отбывший 4 года арестантских рот — Добролюбец — такой спокойный, твердый и радостный. Сильный, сдержанный рабочий человек, не говорящий лишнего, но всё что скажет важно, нужно и добро и такая сияющая улыбка. Дорогой неприятно было смотрение на меня, но здесь чудесно. Жду Черткова. Таня большая и маленькая так милы и так приятен Михаил Сергеевич, что лучше ничего желать нельзя. Плохо то, что письма твои ко мне и мои к тебе будут еще дольше идти. Raison de plus (Тем больше причин) чаще писать, что я и делаю»...

7 мая 1910 г.

«Вчера был нездоров, слаб и потому не писал тебе, милая Саша. Вчера же получил, наконец, твои два письма и нынче одно. Спасибо. Нынче я себя лучше чувствую и получил большую, большую радость: приехал Чертков и пробудет неделю. Мама же, намеревавшаяся приехать в пятницу, отложила свой приезд от дурной погоды. — Известия от тебя хороши, но боюсь, что ты поддаешься внушениям докторов и милой Вари. Берегись этого, голубушка. Жалко тоже, что вынуждена есть мясо. С Ч. так хорошо. Такой друг. Единственный недостаток — тот же, как у тебя, что и ты и он меня слишком любите. Упрекать вас в этом не могу, потому что сам тем же грешен.

Л. Т.»[2])

Я была счастлива, что отец гостил у Тани, где ему было так хорошо. Но 20-го мая отец, вместе с Таней и Чертковым, вернулся в Ясную Поляну, и снова начались неприятности. Жаловались бабы, что черкес не дает им прохода, множество просителей, которым отцу было трудно отказывать, по вечерам люди, смотрящие отцу в рот, ожидающие от него пророчества.

«Пророчество тяжело, — пометил у себя отец в дневнике. — Мучительно говорить, говорить... по обязанности».

Между тем, мое пребывание в Крыму подходило к концу. Я умоляла нашего друга доктора Альтшуллера, лечившего отца в Крыму и теперь лечившего меня — отпустить меня домой. Температуры не было, силы востанавливались, остался только небольшой кашель.

Когда я наконец вбежала к отцу в кабинет, мы оба смеялись и плакали от радости.

Я привезла отцу подарок: за время моего пребывания в санатории, Варя научила меня стенографии. Я писала уже 85 слов в минуту.

Единственное, что смущало меня, было то, что мне пришлось остричь волосы, так как они вылезали клочьями после кори, а отец не любил стриженных женщин. Он провел рукой по моим курчавым как у барана, потемневшим волосам. «Стриженная, бритая — мне всё равно. Я так, так рад», — сказал он.

---

1) Литературное Наследство 37/38, стр. 342. Изд. Академии Наук СССР 1939 г.
2) Там же, стр. 343.
3) Там же, стр. 346.
4) Маковицкий, Д. П. «Яснополянские Записки».
5) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 31. Дневн. 30 марта 1910 г.
6) Там же, стр. 41. Дневн. 21-22 апр. 1910 г.
7) Там же, стр. 18. Дневн. 15-17 февр. 1910 г.
8) Там же, стр. 27. Дневн. 17 марта 1910 г.
9) Там же, стр. 48. Дневн. 10 мая 1910 г.
10) Там же, стр. 28. Дневн. 21 марта 1910 г.
11) Там же, стр. 38. Дневн. 14 апр. 1910 г.
12) Письма Л. Н. Толстого к А. Л. Толстой. Рукопись.

ГЛАВА LXVII

РАДОСТЬ СОВЕРШЕННАЯ

«Когда мы придем в Порционколо, — говорит Франциск, — грязные, оборванные, окоченелые от холода и голодные, и попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: «Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда!» и не отворит нам. И если мы тогда не обидимся и со смирением и любовию подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступить с нами, и мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу и воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная.»

«Жизнь Франциска Ассизского».[1])

Дома было всё так же тяжело.

Черкес ловил баб, мужиков, проходивших через «графские» владения, дрался, поймал бывшего ученика отца, старика Прокофия, несшего слегу из «графского» леса, и притащил, привязав его к нагайке, на усадьбу. Отец наткнулся на эту сцену.

Хозяйство шло кое-как, в убыток, приказчики воровали. А на отца всё это действовало удручающе. Он слабел, еще раз повторился обморок.

«К чему заботы о внешних условиях — еде, блузах и пр., — писала матери сестра Таня, — если нет заботы о внутренней жизни отца». Таня советовала матери бросить хозяйство, не приносящее никакого дохода.[2])

Маша, жена Сергея, советовала, чтобы мать предоставила полные права на управление Ясной Поляной братьям, а сама устранилась бы от всяких дел и чтобы отец, мать и я переселились в Крым.

Как-то, когда я выходила из кабинета с рукописями, отец остановил меня.

— Саша!

— Да, папа.

— Я хочу тебе сказать, только ты не обижайся... — он тяжело вздохнул. — Я умирать собрался...

— ... О, Господи!

Я была довольна, когда отец собрался ехать в Москву к Чертковым, в имение Мещерское, Московской губернии, где они теперь жили. Душан, Илья Васильевич и я поехали с ним.

Как всегда, попав в другую обстановку, отец сразу ожил, повеселел, начал писать. Набросал небольшой художественный рассказ «Нечаянно».

Сочинитель сочинял,
А в углу сундук стоял,
Сочинитель не видал,
Спотыкнулся и упал.[3])

Весело махая в воздухе рукописью, декламировал отец, отдавая мне рассказ для переписки.

Он всем интересовался. Его поразило благоустройство земских школ, больниц в Московской губернии вокруг Мещерского, великолепно оборудованные дома для душевнобольных. Он неоднократно посещал госпитали, разговаривал с больными, врачами. Видно было, что вопрос о сумасшествии беспокоил его. В дневнике, в статье «О безумии» он пытался найти определение сумасшествия.

«Сумасшествие всегда следствие неразумной и потому безнравственной жизни, — записал он в дневнике. — Кажется верно, но надо проверить, обдумать». И дальше: «Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это от того, что для них нет никаких нравственных преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха».[4])

Мирное житье наше было скоро нарушено. Я получила телеграмму от Вари: «Сильное нервное расстройство, бессонница, плачет, пульс сто, просит телеграфиро-

вать. Варя». После второй телеграммы отец решил вернуться в Ясную Поляну.

Трудно описать, в каком ужасном состоянии нервного расстройства мы застали мою мать. Это был бред душевнобольной женщины. Упреки, крики, рыданья, недостойные намеки, угрозы убить себя. Никто не спал. Я хотела войти к отцу в спальню, чтобы как-то оградить его. «Уйди», — тихо сказал он мне.

Сцены эти не прекращались ни днем, ни ночью... Состояние С. А. ухудшилось еще в связи с тем, что Черткову разрешили жить в Телятинках, пока его мать, Елизавета Ивановна, будет гостить у него.

На второй день после нашего приезда нервное возбуждение матери продолжалось. С криком: «кто там? кто там?» она бросилась из залы вниз, как будто кто-то гнался за ней. Я продолжала бы работать, если бы не отец. «Куда она, куда?» — закричал он с отчаянием в голосе. Мы с Душаном побежали за ней, и нашли ее лежащей на каменном полу в кладовой. Она водила по губам склянку с опиумом: «Один глоточек, только один глоток», — приговаривала она...

Мать требовала, чтобы отец отдал ей все дневники, чтобы он перестал видеться с Чертковым. Запись отца, прочитанная ею в дневнике: «Соня опять возбуждена и истерика, решил бороться с нею любовью», — вызвала с ее стороны новые упреки...

Я изнемогала от собственного бессилия, от возмущения и раздражения на мать, разъедающих душу, от бесконечной жалости к отцу.

Мать решила увезти отца к брату Сергею в Никольское — подальше от Черткова. Отец неохотно согласился. Приехала туда и Таня. Опять начались семейные совещания, советы... но, по существу, ничего не было решено. На мою мольбу, чтобы или разделили на время родителей, или чтобы кто-нибудь из старших поселился в Ясной Поляне — не обратили внимания.

Как только мы вернулись домой, возобновилось истерическое состояние матери и я с ужасом наблюдала, как с каждым днем отец слабел... Даже святой Душан

возмущался: «С. А. не думает о том, что Л. Н. едва держится, сердце слабеет...»

Только старушка Шмидт считала мать больной, несчастной и искренно, без всякого усилия, жалела ее. Старушка морально поддерживала отца, она считала, что ему послано испытание, что он несет его с христианским смирением и что так и нужно.

Один раз, когда старушка Шмидт была в Ясной Поляне, приехали из Овсянникова и сообщили, что сгорела ее избушка и дом, где летом жили Горбуновы. Погибло всё: за многие, многие годы переписанные ею рукописи отца, его портреты, собственноручные письма отца к ней, сгорела и криволапая собачка Шавочка, которую когда-то, в лютый мороз, с отмороженными ногами, подобрала старушка Шмидт.

Марья Александровна горько плакала, но несчастье свое несла, как испытание Богом ей посланное, и ни разу не позволила себе упрекнуть полусумасшедшего молодого человека, заподозренного в поджоге. Таня немедленно распорядилась, чтобы старушке Шмидт была выстроена новая избушка, купили ей, как она выражалась, «новое приданое». Но заменить ее потерю никто не мог. «Боже мой, Боже мой! — шептала она. — Шавочка моя... Письма дорогого Льва Николаевича... Рукописи...»

Иногда отец заходил ко мне. Ложился на диван, я продолжала печатать и мы оба молчали. «Мы без слов всё понимаем, — говорил он, — если будешь говорить, лишнее скажешь».

Приехал брат Лев, но, к сожалению, мира не внес.

11-го июля отец записал в дневнике:

«Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной... Не могу спокойно видеть Льва. Еще плох я. Соня, бедная, успокоилась. Жестокая и тяжелая болезнь. Помоги, Господи, с любовью нести...»[5])

А вечером, после того как брат Лев кричал на отца за то, что он не жалеет матери, отец сказал мне: «Мне кажется даже, что он назвал меня дрянью», и глаза его

затуманились слезами. Он дал мне списать из записной книжки в дневник следующую мысль: «Я никак не ожидал того, что, когда тебя ударят по одной, и ты подставишь другую — что бьющий опомнится, перестанет бить, и поймет значение твоего поступка. Нет, он напротив того, и подумает, и скажет: вот как хорошо, что я побил его; теперь уж по его терпению ясно, что он чувствует свою вину и всё мое превосходство перед ним. — Но знаю, что несмотря на это, всё-таки лучшее для себя и для всех, что ты можешь сделать, когда тебя бьют по одной щеке — это то, чтобы подставить другую. В этом «радость совершенная». Только исполни. И тогда за то, что кажется горем, можно только благодарить».[6])

Отцу было легче, когда приезжали старшие, и я снова вызвала Таню. Мы много говорили с ней.

«То, что отец делает теперь, этот подвиг любви, лучше всех 30-ти томов его сочинений, — сказала она. — Если бы даже он умер, терпя то, что терпит, и делая то, что делает, я бы сказала, что он не мог поступить иначе». Когда я повторила отцу слова Тани — «Умница, Таничка», — сказал он и разрыдался.

Как-то вечером отец сидел в большом вольтеровском кресле. Когда я проходила мимо, он улыбнулся и тихо сказал что-то. Я не расслышала. — «Что ты, папа?» — «Девки мои хороши», — прошептал он.[7])

Но и Танино присутствие перестало помогать. Мать предъявила решительные требования: или отец возьмет у Черткова дневники, или же она не перестанет мучить других и себя, «болеть».

С этими требованиями она снова приходила к нему ночью... Вид у него был измученный, изможденный, ввалились щеки, в глубоко сидящих глазах — страдание, казалось, он едва стоял на ногах. Он не спал всю ночь и к утру написал матери письмо:

«1) Теперешние дневники никому не отдам, буду держать у себя.

2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.

3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях, — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике, или просто как бы в письме, мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни. Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такая: как смолоду любил тебя, так и не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были, не говорю о прекращении брачных отношений, такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения настоящей любви, причины эти были, во-первых, всё большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя.

... Прости меня, если то, что я скажу, будет неприятно тебе, но то, что теперь между нами происходит, так важно, что нужно не бояться высказывать и выслушивать всю правду. Во-вторых, характер твой в последние годы всё больше и больше становится раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявление этих черт характера не могло не охлаждать не самое чувство, а выражение его. Это во-вторых.

В-третьих, главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, это наше совершенно противоположное понимание смысла и цели жизни. Всё в нашем понимании жизни было прямо противоположно: и образ жизни, и отношение к людям и к средствам жизни, собственности, которую я считаю грехом, а ты необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобою, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это

за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло всё больше и больше. Были еще и другие причины охлаждения, виною которых были мы оба, но я не стану говорить про них, потому что они не идут к делу. Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя. Оценка же моя твоей жизни со мною такая:

Я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной, 18-летней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мною, любя меня, трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоем положении: сильную, здоровую, красивую, но ты прожила так, что ни в чем не смею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мною в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя, не упрекаю потому, что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с Богом и требовать от него другим людям ничего нельзя, и если я требовал от тебя, то я ошибся и виноват в этом.

Так вот верное описание моего отношения к тебе и моя оценка тебя, а то, что может попасться в дневниках, я знаю только, что ничего резкого и такого, что бы было противно тому, что сейчас пишу, там не найдется. Так это третье о том, что может и не должно тревожить тебя в дневниках.

4) Это то, что если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видеться с ним, хотя и скажу, что это не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.

Теперь 5) то, что если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду, уеду наверное не к Ч., даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно,

потому что дальше так жить невозможно. Я бы мог продолжать жить так, если бы мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу.

Вчера ты ушла взволнованная, страдающая. Я хотел спать, лег, но стал не то что думать, а чувствовать тебя, и не спал и слушал до часу, до 2-х, и опять просыпался и слушал, и во сне, или почти во сне, видел тебя.

Подумай спокойно, милый друг, послушай своего сердца, почувствуй, и ты решишь всё, как должно. Про себя скажу, что я со своей стороны решил всё-таки, что иначе не могу, не могу. Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, потому что ты страдаешь во сто раз больше других. Вот и всё.

Лев Толстой».[8])

14 июля утром.

Таня и ее муж содействовали тому, чтобы дневники были взяты от Черткова и перемещены в банк. Но успокоения не было. Мы решили посоветоваться с врачами и вызвали знаменитого психиатра Россолимо, вместе с нашим другом, д-ром Никитиным.

«Лечить надо не мать, — сказал на это брат Лев, — а отца, который выжил из ума». 20 июля отец писал в дневнике:

«Идет в душе неперестающая борьба о Льве: простить или отплатить жестким, ядовитым словом. Начинаю яснее слышать голос добра. Нужно, как Франциск, испытать радость совершенную, признав упреки дворника заслуженными. Да, надо».[9])

Но и врачи не помогли нам. Определение Россолимо: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая, с преобладанием первой» — были для нас ученые слова. А вот, что дальше делать? Врачи предписывали: разлучить родителей, ванны, прогулки, успокоительные средства для матери... Но как этого добиться. С. А. решительно заявила, что здорова и никаких преписаний выполнять не будет.

Милый Никитин всё понимал и глубоко страдал за всех нас. Выслушав сердце отца, он нашел, что оно сильно расширено и ослаблено.

«Скажу вам по секрету, Александра Львовна, — пре-

дупредил он меня, — еще вам предстоит много тяжелого».

Что было делать? К кому кинуться за советом? Таня, Сережа... Но они всё-таки были оторваны от нашей жизни, у них были свои семьи, свои интересы. Душан? Но при всей его святости, его нравственных качествах, он был мало авторитетен. Марья Александровна? Она молилась на отца... всё, что решал сам отец, было для нее законом, она не помогла бы ему принять решение. Чертков? Я советовалась с ним... Но он был так же, как и я, несвободен от недоброго чувства к С. А.

Сидя на березовой скамеечке в «елочках» и вырывая листочки из своей записной книжки, отец писал Черткову:

«Не переставая думаю о вас, милый друг. Благодарен вам за то, что вы помогли и помогаете мне нести получше мое заслуженное мною и нужное моей душе испытание, несмотря на то, что это испытание не менее тяжело для вас. И помогайте, пожалуйста, нам обоим не слабеть и не сделать чего-нибудь такого, в чем раскаемся. Я рад, что понимаю ваше положение, которое едва ли не труднее моего. Меня ненавидят за то, что есть, смело скажу, во мне хорошего, обличающего их, но ко мне и по моим годам, и моему положению они все — а имя им легион — чувствуют необходимость иметь некоторые égards и сдерживаются. Вас же за то высокое, святое, что есть в вас — опять смело скажу — им нечего опасаться, и они не скрывают свою ненависть к добру, или скрывают ее под разными выдуманными обвинениями вас. Я это понимаю и больно чувствую за вас. Но будем держаться. Пожалуйста помогайте мне, а я вам. Собой не похвалюсь. Не могу удержать недоброго чувства. Надеюсь, пройдет».[10])

21 июля отец записал в дневнике: «Всё так же слаб и то же недоброе чувство к Льву... Опять припадок у С. А. Тяжело. Но не жалуюсь и не жалею себя... От Тани милое письмо о Франциске».[11])

24 июля: «Опять то же и в смысле здоровья и в отношении С. А. Здоровье немного лучше. Но зато с С. А.

хуже. Вчера вечером она не отходила от меня и Черткова, чтобы не дать нам возможности говорить только вдвоем... Я ничего не могу. Мне самому невыносимо тяжело...»[12])

Приезжали младшие братья — Андрей, Миша с женой и детьми. Лина — жена Миши — прекрасная, чуткая женщина. Мы много с ней говорили и она уверяла меня, что Миша всё понимает и любит отца, но что он находится под влиянием С. А. С Андреем я несколько раз сталкивалась, упрекая его за отца. Но понять они не могли.

27 июля отец писал: «Опять всё то же. Но только как будто затишье перед грозой. Андрей приходил спрашивать: есть ли бумага? Я сказал, что не желаю отвечать. Очень тяжело. Я не верю тому, чтобы они желали тольке денег. Это ужасно. Но для меня только хорошо. Ложусь спать. Приехал Сережа. Письмо от Тани — зовет, и Михаил Сергеевич. Завтра посмотрю».[13])

Не добившись от отца ответа, сначала Андрей, потом мать стали мучить меня, допрашивая, есть ли у отца завещание. Я отказалась отвечать.

В это время в Ясную Поляну приехал Бирюков. Отец рассказал ему про завещание. Мнение Бирюкова было таково: надо было позвать всю семью, объявить им свою волю и затем сделать завещание.

В дневнике для одного себя отец писал 2 августа 1910 г.: «Е. б. ж. Очень, очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову. Он очень огорчился».[14])

Чертков написал отцу длинное письмо с напоминанием всего, что предшествовало решению отца сделать завещание.

«Павел Иванович (Бирюков) был неправ, — писал отец, отвечая на письмо Черткова, — и я, согласившись с ним... я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью всё-таки недоволен: чувствую, что можно было поступить лучше, хотя и не знаю как. Теперь же не раскаиваюсь в том, что сделал, т. е. в том, что на-

писал то завещание, которое написано, и могу быть только благодарен вам за то участие, которое вы приняли в этом деле. Нынче скажу обо всем Тане и это будет мне очень приятно».[15])

Настроение несколько разрядилось с приездом Короленко. Собрались все в залу и Короленко весь вечер рассказывал нам о своих путешествиях по России, о своей поездке в Америку. Все заслушались. Он оказался превосходным рассказчиком. Узнав, что я ездила днем с Ольгиными детьми на «провалы», он спросил меня про них. Я объяснила ему, что в семи верстах от Ясной Поляны есть озера, что отец помнит старика-крестьянина, при котором образовались эти провалы. Утром крестьянин этот пришел — видит лес провалился, деревья повыворочены корнями кверху и на месте леса — озера круглые. Таких провалов несколько, и некоторые такие глубокие, что дна в них не нашли. Короленко стал рассказывать о таком же провале в Нижегородской губернии, где в народе существует предание, что здесь раньше стоял город. Раз в году, в ночь с 21 на 22 июня, сюда сходятся люди всевозможных верований, молятся и зажигают свечи и ходят на коленях кругом озера. Все эти люди, разделившись на группы, молятся, у некоторых на лицах сияет радость, на глазах слезы, они как будто видят этот погибший город, слышат звон колоколов.

Рассказывал Короленко о вотяках, их быте, жизни. Заговорили о Столыпинском законе 9-го ноября, который Короленко так же, как и отец, не одобрял, так как это разрушало основной принцип «общины» крестьянства. Разговор коснулся Генри Джорджа. Оказалось, что Короленко, когда ездил в Америку, присутствовал на конференции, где выступал Джордж.

Утром я возила Короленко к Черткову. Дорогой я поняла из намеков Короленки, что моя мать говорила с ним о своих горестях, осуждая отца и Черткова, и хотя мне было очень тяжело говорить с чужим мне человеком, но я должна была осветить ему истинное положение. Кое-что рассказал ему Чертков.

«Ну, теперь я еще больше убедился, что Л. Н. дуб,

который выдерживает всё и не сломается. А я-то воображал, что он живет в такой счастливой обстановке, что малейшим противоречием его боятся потревожить. Я всегда слышал, что Л. Н. не терпит возражений и боялся высказывать свои взгляды, — теперь я вижу его терпимость».

7-го августа отец записал в интимном дневнике:

«Беседа с Короленко. Умный и хороший человек, но весь под суеверием науки».[16])

Оглядываясь назад, я знаю, что во многом недостойно, несмотря на пример кротости и терпения, который наблюдала ежечасно в отце, несла ту тяжесть, которая выпала на мою долю.

Когда снова приехала Таня за отцом, чтобы, как это было предписано врачами, разлучить его с матерью, мать заявила, что поедет с нами. Я возмутилась. «Мама больная, — сказал мне отец, — ее надо жалеть, я чувствую себя готовым сделать всё, что она хочет, не ехать к Тане, и до конца ее жизни быть ей сестрой милосердия». Я не стала слушать, сказала, что не чувствую возможности быть сестрой милосердия, и вышла. «К чему предписания врачей, семейные советы, поездки к Тане, — думала я, — ничего не изменится, отец погибнет»... Но я мучилась, что своей нетерпимостью огорчила его, и вечером пошла к нему в кабинет. Он лежал на диване с книжкой и не видал, кто вошел. Я подошла, поцеловала его в голову — «Прости меня»... Мы оба заплакали и он несколько раз повторил: «Как я рад, как я рад, мне было тяжело».

8-го августа отец писал в интимном дневнике: «Встал рано. Много, много мыслей, но все разбросанные. Ну и не надо. Молюсь, молюсь: Помоги мне. И не могу, не могу не желать, не ждать с радостью смерти. Разделение с Чертковым всё более и более постыдно. Я явно виноват... Опять то же с С. А. Желает, чтобы Чертков ездил. Опять не спала до 7-ми утра».[17])

Кончилось тем, что мы все уехали в Кочеты к Сухотиным.

Я любила Кочеты. Одноэтажный, растянутый дом, старинная мебель, фамильные портреты по стенам. Во-

круг дома старый, тенистый парк — 100 десятин, в котором не раз плутал отец, в парке пруды, фруктовые деревья, а за парком прекрасно, машинами разработанные черноземные поля, перелески, луга, симментальский породистый скот и табуны рысистых маток. Сухотин считался хорошим хозяином.

В Кочетах было много легче. После обеда все играли в мнения и еще какие-то игры. Смеялись и дедушка и бабушка, Таничка и ее ровесник, маленький сын Льва Сухотина, пресмешно плясали и пели. Настроение у всех было радостное, спокойное. Мать радовалась на детей и тихо, беззвучно, как бывало прежде, тряслась от смеха... Так легко было любить и жалеть ее.

Но... получено было известие, что правительство разрешило Черткову жить в Тульской губернии, и снова спокойствие было нарушено.

Опять слезы, угрозы. «Я отравлю, убью Черткова», кричала С. А. И никто — ни Сухотин, ни Таня не могли успокоить ее. И Таня и муж ее делали всё возможное, чтобы облегчить положение отца — отцу так нужна была Танина любовь и ласка. Но ему было тяжело, что он что-то скрывал от Тани, и он решил сказать ей про свое завещание. Я была рада, особенно после разговора с Таней, из которого я поняла, что Таня сочувствовала решению отца.

Но и Танино присутствие скоро перестало помогать матери.

16 августа отец писал в Дневнике для одного себя:

«Нынче утром опять не спала. Принесла мне записку о том, что Саша выписывает из дневника для Черткова мои обвинения ее. Перед обедом я старался успокоить, сказав правду, что выписывает Саша только отдельные мысли, а не мои впечатления жизни. Хочет успокоиться и очень жалка. Теперь 4-ый час, что-то будет. Я не могу работать. Кажется, что и не надо. На душе не дурно».[18])

«21 августа. — Встал поздно. Чувствую себя свежее. С. А. всё та же. Тане рассказывала, как она не спала ночь от того, что видела портрет Черткова. Положение угро-

жающее. Хочется, хочется сказать, т. е. писать».[19])

«24 августа. — Понемногу оживаю. С. А., бедная, не переставая страдает, и я чувствую невозможность помочь ей. Чувствую грех своей исключительной привязанности к дочерям».[20])

«28 августа. — Всё тяжелее и тяжелее с С. А. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть. — Да, эгоизм это сумасшествие. Ее спасали дети — любовь животная, но всё-таки самоотверженная. А когда кончилось это, то остался один ужасный эгоизм. А эгоизм самое ненормальное состояние — сумасшествие. — Сейчас говорил с Сашей и Мих. Сергеевичем, и Душан, и Саша не признают болезни. И они не правы».[21])

«29 августа. — Опять пустой день. Прогулки, письма. Думать думаю и хорошо, но не могу сосредоточиться. С. А. была очень возбуждена, ходила в сад и не возвращалась. Пришла в 1-м часу. И хотела опять объяснения. Мне было очень тяжело, но я сдержался, и она затихла. Она решила ехать нынче. Спасибо Саша решила ехать с ней. Прощалась очень трогательно, у всех прося прощение. Очень, очень мне ее любовно жалко. Хорошие письма. Ложусь спать. Написал ей письмецо».[22])

1-го сентября Лёва телеграфировал, что он должен ехать в Петербург 3-го, по каким-то судебным делам, и мать собиралась ехать в Ясную Поляну. Отец боялся отпускать мать одну в том возбужденном состоянии, в котором она находилась, и я поехала с ней.

День, два отдыха, и сейчас же у отца являлась потребность писать. 3-го сентября: «Начал писать с таким увлечением, какого давно не испытывал», — писал он. (Возможно, что эта запись относится к наброску Толстого в Записной Книжке «Сказка о молодом царе, ушедшем в работники».[23])

Проводив мать и сдав ее на попечение Варе, я вернулась в Кочеты. Несколько дней спустя приехала мать. Она приводила ряд причин, почему нам нельзя оставаться у Тани, и настаивала на отъезде в Ясную Поляну. Она говорила, что мне надо уже, по предписанию врачей,

осенью ехать в Крым, опять плакала, угрожала. Отец писал в дневнике: «Тяжелый разговор о моем отъезде. Я отстоял свою свободу. Поеду, когда захочу. Очень грустно, разумеется, потому что я плох».[24])

«9 сентября. — Жив, но плох. С утра началось раздражение, болезненное. Я же не совсем здоров и слаб. Говорил от всей души, но, очевидно, ничего не было принято. Очень тяжело».[25])

«С. А. второй день ничего не ест, — записал отец 10 сентября. — Сейчас обедают. Иду просить ее пойти обедать. Страшные сцены целый вечер».[26])

«11 сентября. — К вечеру начались сцены беганья в сад, слезы, крики. Даже до того, что, когда я вышел за ней в сад, она закричала: это зверь, убийца, не могу видеть его и убежала нанимать телегу и сейчас уезжать. И так целый вечер. Когда же я вышел из себя и сказал ей son fait, она вдруг сделалась здорова, и так и нынче 11-го. Говорить с ней невозможно, потому что, во-первых, для нее не обязательна ни логика, ни правда, ни правдивая передача слов, которые ей говорят или которые она говорит. Очень становлюсь близок к тому, чтобы убежать. Здоровье нехорошо стало».[27])

12-го сентября в дневнике коротенькая запись:

«С. А. уехала со слезами. Вызывала на разговоры, я уклонился. Никого не взяла с собой. Я очень, очень устал. Вечером читал. Беспокоюсь о ней».[28])

11-го сентября моя мать написала письмо отцу:

«Мне хотелось бы, милый Левочка, перед прощанием нашим сказать тебе несколько слов. Но ты при разговорах со мной так раздражаешься, что мне грустно бы было расстроить тебя.

Я тебя прошу понять, что все мои не т р е б о в а н и я, как ты говоришь, а ж е л а н и я имели один источник: мою любовь к тебе, мое желанье как можно меньше расставаться с тобой, и мое огорчение от вторжения постороннего, не доброго по отношению ко мне влияния на нашу долгую, несомненно любовную, интимную супружескую жизнь.

Раз это устранено, хотя ты, к сожалению, и раскаиваешься в этом, а я бесконечно благодарна за ту большую жертву, которая вернет мне счастье и жизнь, то я тебе клянусь, что сделаю всё от меня зависящее, чтобы мирно, заботливо и радостно окружить твою духовную и всяческую жизнь.

Ведь есть сотни жен, которые требуют от мужей действительно многого: «Поедем в Париж за нарядами, или на рулетку, принимай моих любовников, не смей ездить в клуб, купи мне бриллианты, узаконь прижитого Бог знает от кого ребенка», и проч. и проч.

Господь спас меня от всяких соблазнов и требований. Я была так счастлива, что ничего мне и не нужно было, и я благодарила только Бога.

Я в первый раз в жизни — не требовала, а страдала ужасно от твоего охлаждения и от вмешательства Черткова в нашу жизнь, и в первый раз пожелала всей своей страдающей душой, может быть, уж невозможного — возврата прежнего.

Средства достижения этого, конечно, были самые дурные, неловкие, не добрые, мучительные для тебя, тем более для меня, и я очень скорблю об этом. Не знаю, была ли я вольна над собою; думаю, что нет; всё у меня ослабело: и воля, и душа, и сердце, и даже тело. Редкие проблески твоей прежней любви делали меня безумно счастливой за всё это время, а моя любовь к тебе, на которой основаны все мои поступки, даже ревнивые и безумные, никогда не ослабевала, и с ней я и кончу свою жизнь. Прощай, милый, и не сердись за это письмо.

Твоя жена для тебя всегда только Соня».[29])

24 сентября отец записал:

«Она больная, и мне жалко ее от души».[30])

Горе мое было в том, что я не жалела, я сердилась... А насколько было бы легче отцу, если бы мы, его близкие, жалея мать, могли «со смирением и любовью» отнестись к ней.

«Только тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная».

Я была слишком молода, чтобы это понять.

[1]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 460. Прим. 1053. — Поль Сабатье «Жизнь Франциска Ассизского».
[2]) Там же, т. 58, стр. 404. Прим. 790.
[3]) Там же, т. 58, стр. 423. Прим. 874.
[4]) Там же, т. 58, стр. 71. Дневн. 27 июня 1910 г.
[5]) Там же, т. 58, стр. 78. Дневн. 11 июля 1910 г.
[6]) Там же, т. 58, стр. 78. Дневн. 11 июля 1910 г.
[7]) Дневник А. Л. Толстой.
[8]) Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. 2, стр. 117-119.
[9]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 81. Дневн. 20 июля 1910 г.
[10]) Там же, стр. 459. Прим. 1048.
[11]) Там же, стр. 82. Дневн. 21 июля 1910 г.
[12]) Там же, стр. 83. Дневн. 24 июля 1910 г.
[13]) Там же, стр. 84. Дневн. 27 июля 1910 г.
Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. 2, стр. 172.
[14]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 130. Дневн. д. одного себя. 2 авг. 1910 г.
[15]) Бирюков, П. И. Биография, т. IV, стр. 229 (Госизд. 1923 г.).
[16]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 131. Дневн. д. одного себя. Авг. 1910 г.
[17]) Там же, стр. 132. Дневн. д. одного себя, 8 авг. 1910 г.
[18]) Там же, стр. 133. Дневн. д. одного себя, 16 авг. 1910 г.
[19]) Там же, стр. 134. Дневник д. одного себя, 21 авг. 1910 г.
[20]) Там же, стр. 134. Дневн. д. одного себя, 24 авг. 1910 г.
[21]) Там же, стр. 135. Дневн. д. одного себя, 28 авг. 1910 г.
[22]) Там же, стр. 135. Дневн. д. одного себя, 29 авг. 1910 г.
[23]) Там же, стр. 99, 210-211. Дневн. 3 сент. 1910 г.
[24]) Там же, стр. 101. Дневн. 8 сент. 1910 г.
[25]) Там же, стр. 101. Дневн. 9 сент. 1910 г.
[26]) Там же, стр. 101. Дневн. 10 сент. 1910 г.
[27]) Там же, стр. 136. Дневн. д. одного себя, 11 сент. 1910 г.
[28]) Там же, стр. 102. Дневн. 12 сент. 1910 г.
[29]) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. Academia, 1936, стр. 793, № 437.
[30]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 106. Дневн. 24 сент. 1910 г.

ГЛАВА LXVIII

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ.

23 сентября — свадебный день родителей. Мать хотела **сделать снимки** с нее и отца. Было холодно, дул северный ветер. Отец, заткнув руки за пояс, стоял с непокрытой головой, мрачно глядя перед собой... Я была в нехорошем, злом настроении. Вернувшись из Кочетов, я заметила, что ни Чертковской, ни моей фотографии в кабинете на стене не было. Мать сняла их. И... я не выдержала. Я резко, недобро говорила с отцом.

«Ведь я не сама себя повесила над твоим рабочим креслом, ты повесил этот портрет, и теперь что мать перевесила, ты не решаешься повесить его обратно».

Отец закачал головой, повернулся и ушел.

«Ты уподобляешься ей», — сказал он мне, уходя.

Как я могла...

За обедом все молчали. После обеда я, по обыкновению, сидела и писала в канцелярии. Звонок. Я не пошла и послала Булгакова. Через минуту опять звонок. Опять я не пошла. В этот раз Булгаков, вернувшись, передал желание отца, чтобы я пришла.

— Саша, я хочу тебе продиктовать письмо.

— Хорошо.

— Взяла карандаш, бумагу, собралась писать. А в душе было желание броситься целовать ему руки и просить прощения. В горле стояли слезы и я не могла произнести ни слова.

— Не нужно мне твоей стенографии, не нужно, — вдруг со слезами в голосе как-то глухо сказал отец и, упав на ручку кресла, зарыдал.

— Прости меня, прости, — я бросилась целовать его руки, лоб, плечи — прости.

Долго мы оба плакали. Он стал мне диктовать, а я не вижу своих крючков, глаза застилает слезами... Когда кончили, я опять стала просить прощения.

— Я уже всё забыл, — сказал он.

На другой день портрет Черткова и мой висели на прежних местах.

Старушка Шмидт была в Ясной Поляне, Варя и я уехали к Ольге в имение, буря разразилась без нас.

Увидав портреты Черткова и мой на прежних местах, мать бросилась к себе в комнату, схватила пугач, начала стрелять в портрет Черткова, сорвала его со стены и разорвала на мелкие кусочки.

Когда мы с Варей, после чудесно проведенного дня с детьми и Ольгой в Таптыкове, собрались идти спать, приехал вдруг кучер из Ясной Поляны с письмом от старушки Шмидт, в котором она просила нас немедленно вернуться. Я велела запрягать. Ночь — тьма кромешная. Дороги ужасные, грязища, кучер боится ехать. Часа три ехали. С замиранием сердца я вошла в дом. Страшная буря материнского гнева обрушилась на нас. Варе мать велела убираться на все четыре стороны, меня — почти что выгнала.

Отец не спал. Я сказала ему, что мне кажется, что мне лучше уехать. Я надеялась, что он уедет со мной или позднее присоединится ко мне.

«Я вообще не одобряю того, что ты не выдержала и уйдешь и, как ты знаешь, я в письмах всегда отвечаю на подобные вопросы, что, по моему мнению, внешних условий жизни менять не нужно, это с одной стороны, а с другой стороны, я по слабости своей рад, если ты уедешь. Ближе к развязке, так больше продолжаться не может. Черткова С. А. удалила, на Марью Александровну накричала, Варю выгнала, тебя почти что выгнала. Не унывай, держись, все к лучшему».

От Телятинок до Ясной Поляны 20 минут езды. А если я уеду, Таня или Сережа должны будут поселиться с родителями. «Ближе к развязке», — думала я.

И действительно, после моего отъезда наступил мир, мать как будто поняла, что переступила все границы.

Из Телятинок я ездила в Ясную каждый день, переписывала отцу по обыкновению, но ночью покоя не было: а что если он заболел... А может быть, я ему нужна вот сейчас, сию минуту, а меня нет...

Через несколько дней я осознала, что мой отъезд не побудит отца уехать, как я надеялась, он решил терпеть до конца. В дневнике он писал: «Только бы перед Богом быть чистым. И сейчас сознаешь радость жизни... Молился хорошо: Господи, Владыко живота моего и Царю Небесный».[1])

Матери был очень неприятен мой отъезд, ей хотелось примириться со мной, взять Варю обратно.

«Со мной была трогательна тем, — записал отец 29 сентября, — что благодарила меня за ласковость с ней. Страшно, а хочется думать, что и ее (С. А.) можно победить добром».[2])

В дневнике для одного себя отец писал 2 октября:

«С утра первое слово о моем здоровье, потом осуждение и разговоры без конца, и вмешательство в разговор. И я плох. Не могу победить чувства нехорошего, недоброго. Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее (С. А.), от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех возможных художественных произведений».

В маленьком моем домике, где было, в сущности, очень уютно, я не находила себе места. Все мои мысли и чувства были в Ясной Поляне.

— Что ты пригорюнилась, ходишь точно сама не своя? — говорила мне моя кума Аннушка, широкоскулая, курносая, веселая яснополянская баба, которая помогала по дому. — Я никогда не грущу. Напьется ли мой Никита, али кто из ребят захворает, я сажусь Марк Аврелия читать... — Что? Марка Аврелия? — спросила я ее с удивлением. — Ну да, Марк Аврелия, книжечка такая есть, граф мне дал. Как затоскую, сейчас старшего Петьку кличу: «Петька! Читай мне Марк Аврелия!» Сразу на душе полегчает... А вот еще, — продолжала она свою философию, —

много я думала, как лучше жить. И так прикину, и эдак, ничего не помогает. Одно только мне помогает: о смерти думать. Как начнешь о смерти думать, что вот ты нынче жив, а завтра тебе три аршина земли только нужно, и все заботы отойдут, не нужно тебе ничего. Только о том и думаешь, как бы мне сейчас не согрешить.

Я рассказала отцу про свою куму.

«Вот мудрость-то где настоящая, — сказал он смеясь, стараясь скрыть слезы умиления, — вот у кого учиться надо».

В Ясную Поляну приехали Сережа и Таня. Мой отъезд подействовал на них и они твердо заявили матери, что если она не перестанет мучить отца, они возьмут ее под опеку и отправят в санаторию. «Давно пора», — думала я.

Вечером 3-го октября приехал кучер из Ясной Поляны с запиской от Булгакова: «Льву Николаевичу очень плохо, приезжайте скорей». У отца был глубокий обморок, всё тело сотрясалось от судорог в ногах. Все бегали, суетились, мать на коленях ломала себе руки, причитала: «Господи, только бы не на этот раз... Господи, помоги»...

Чертков, изгнанный моей матерью из дома, сидел внизу, в комнате Душана. К одиннадцати часам отцу стало лучше. Тихо, на цыпочках, я подошла к нему, поцеловала его руку. К ночи он заснул и на утро все прошло, вернулось полное сознание, но он сильно ослабел.

Приехали Таня и Сережа, говорили с матерью. И в первый раз я, присоединившись к разговору, прямо, при старших, сказала матери, всё, что отец пережил. Я говорила резко, без прикрас, я предупреждала, что если мать не уедет или не переменится — отец не выдержит, умрет... И тогда. — Кто будет виноват?..

Сережа пробовал остановить меня, но это было невозможно. Я дожна была излить свои страдания за последние месяцы. «Вы и трех дней не выдерживаете этого, вам тяжело... а я» . Кончилось тем, что я расплакалась и убежала.

Я уехала домой завтракать и к вечеру снова вернулась к отцу. Когда поздно вечером я собралась уезжать, Илья Васильевич мне сказал, что «графиня меня желает видеть».

— Где она?

— На крыльце.

Моя мать стояла у двери в одном платье. Голова ее беспомощно тряслась. Мне вдруг стало ее ужасно жалко, хотелось броситься к ней на шею, но я сдержалась.

— Ты хотела говорить со мной? — спросила я.

— Да, я хотела сделать еще один шаг к примирению. Прости меня. — Она стала целовать меня, повторяя: «прости, прости». Я тоже стала ее целовать, прося успокоиться.

— Прости меня, прости, я тебе даю честное слово, что больше никогда не буду оскорблять тебя, — повторяла она крестясь и целуя меня. — Скажи Варе, что я извиняюсь перед ней, что мы с ней жили четыре года и Бог даст еще столько же проживем, я не знаю, что со мной, с нами сделалось.

— Меня не оскорбляй, но и отца тоже, — сказала я, сама заливаясь слезами. — Не надо его обижать, я не могу видеть, как он измучился.

— Не буду, не буду, я тебе даю честное слово, — все повторяла она крестясь, — его не буду мучить. Ты не поверишь, как я измучилась этой ночью, я ведь знаю, что он болен был от меня, и я никогда не простила бы себе, если бы он умер... Ты не поверишь, как я ревную, — говорила она, — я никогда в жизни, в молодости даже не чувствовала такой сильной ревности, как теперь к Черткову.

Жалость к ней сжимала мое сердце...

Снова затеплилась надежда. Мы с Варей немедленно вернулись в Ясную Поляну. Несколько дней было тише. Я изо всех сил старалась сохранить то доброе, размягченное чувство, которое проснулось во мне после этого разговора.

«Вчера 6-го октября, — писал отец, — был слаб и мрачен. Всё было тяжело и неприятно. От Черткова пись-

мо... Она старается и просила его приехать. Сегодня Таня ездила к Чертковым. Галя очень раздражена. Чертков решил приехать в 8, теперь без 10-ти минут. С. А. просила, чтобы я не целовался с ним. Как противно. Был истерический припадок. — Нынче 8-ое. Я высказал ей всё то, что считал нужным. Она возражала, и я раздражался. И это было дурно. Но, может быть, все-таки что-нибудь останется. Правда, что всё дело в том, чтобы самому не поступить дурно, но и ее, не всегда, но большею частью искренно жалко. Ложусь спать, проведя день лучше».[3])

Числа 12 октября снова возобновились разговоры о завещании. То, что мать рассказывала всем окружающим в связи с обмороком отца, было так ужасно, что не хотелось бы подробно на этом останавливаться. Она говорила, что если отец написал завещание, его можно будет опротестовать, доказав, что у отца слабоумие. Она то и дело вбегала в его комнату, становилась на колени, укоряла его, угрожала, умоляла его уничтожить завещание, целовала его руки.

13 октября отец записал:

«Оказывается она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое-то, кому-то, о чем-то завещание — очевидно, касающееся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их — и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится, несчастная».[4])

14-го октября мать написала отцу письмо:

«Ты каждый день меня как будто участливо спрашиваешь о здоровье, о том, как я спала, а с каждым днем новые удары, которыми сжигается мое сердце, сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня и не могут прекратить моих страданий. Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства; судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле не велел тебе его сообщать семье. Он грозил мне напакостить, мне и семье, и блестяще исполнил, выманив у тебя эту бумагу с отказом. Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески отрицали и бранили, будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба

и передавать его Сытину и разным богатым типографиям и аферистам в то время, как внуки Толстого, по его злой и тщеславной воле, будут умирать с голода. Правительство же, государственный банк хранить его дневники от жены Толстого. Христианская любовь последовательно убивает разными поступками самого близкого (не в твоем, а в моем смысле) человека — жену, со стороны которой во все время поступков злых не было никогда и теперь, кроме самых острых страданий, тоже нет. Надо мною же висят и впредь разные угрозы. И вот, Лёвочка, ты ходишь молиться на прогулке, помолясь, подумай хорошенько о том, что ты делаешь под давлением этого злодея, потуши зло, пробуди свое сердце к любви и добру, а не к злобе и к дурным поступкам, забудь тщеславие и гордость (по поводу авторских прав), потуши ненависть ко мне, к человеку, который тебе отдал всю жизнь и любовь. — Если тебе внушили, что мною руководит корысть, то я лично готова, как дочь Таня, отказаться от прав наследства мужа. На что мне. Я очевидно скоро так или иначе уйду из жизни, но меня берет ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и в памяти детей и внуков.

Потуши его, Лёвочка, при жизни, разбуди и смягчи свое гордое сердце, разбуди в нем Бога и любовь, о которых так громко гласишь людям.

С. Т.»[5])

«Нынче разрешилось, — записал отец 16 октября. — Хотел уехать к Тане, но колеблюсь. Истерический припадок, злой. — Все дело в том, что она предлагала мне ехать к Чертковым, просила об этом, а нынче, когда я сказал, что поеду, начала беситься. Очень, очень трудно. Помоги Бог. Я сказал, что никаких обещаний не дам и не даю, но сделаю всё, что могу, чтобы не огорчить ее. Отъезд завтрашний едва ли приведу в исполнение. А надобно. Да, это испытание, и мое дело в том, чтобы не сделать недоброго, Помоги Бог».[6])

Покоряясь желанию матери, отец не ездил в Телятинки и попросил Черткова не ездить к нам. Но С. А. не

верила ему, пешком ходила по дороге в Телятинки, следя за ним.

11 октября отец записал в дневнике:

«Летят дни без дела. Поздно встал. Гулял. Дома С. А. опять взволнована воображаемыми моими тайными свиданиями с Чертковым. Очень жаль ее, она больна».[7])

«Не совсем здоров, вял, — писал он того же числа. — Ходил, ничего не думалось. Письма, поправлял «О социализме», но скоро почувствовал слабость и оставил. Сказал за завтраком, что поеду к Чертковым. Началась бурная сцена, убежала из дома, бегала в Телятинки. Я поехал верхом, послал Душана сказать, что не поеду к Чертковым, но он не нашел ее. Я вернулся, ее все не было. Наконец, нашли в 7-м часу. Она пришла и неподвижно сидела одетая, ничего не ела. И сейчас вечером объяснялась нехорошо. Совсем ночью трогательно прощалась, признавала, что мучает меня и обещала не мучить. Что то будет?»

17 октября отец писал Черткову:

«Хочется, милый друг, по душе поговорить с вами. Никому так, как вам, не могу так легко высказать, — знаю, что никто так не поймет, как бы неясно, недосказанно ни было то, что хочу сказать. Вчера был серьезный день. Подробности фактические вам расскажут, но мне хочется рассказать свое — внутреннее. Жалею и жалею ее и радуюсь, что временами без усилия люблю ее. Так было вчера ночью, когда она пришла покаянная и начала заботиться о том, чтобы согреть мою комнату и, несмотря на измученность и слабость, толкала ставеньки, заставляла окна, возилась, хлопотала о моем... телесном покое. Что ж делать, если есть люди, для которых (и то я думаю до времени) недоступна реальность духовной жизни. Я вчера с вечера почти собрался уехать в Кочеты, но теперь рад, что не уехал. Я нынче телесно чувствую себя слабым, но на душе очень хорошо. И от этого-то мне и хочется высказать вам, что я думаю, а главное — чувствую.

Я мало думал до вчерашнего дня о своих припадках, даже совсем не думал, но вчера я ясно живо представил

себе, как я умру в один из таких припадков. И понял то, что, несмотря на то, что такая смерть в телесном смысле, совершенно без страданий телесных, очень хороша, она в духовном смысле лишает меня тех дорогих минут умирания, которые могут быть так прекрасны. И это привело меня к мысли о том, что если я лишен по времени этих последних сознательных минут, то ведь в моей власти распространить их на все часы, дни, может быть, месяцы, годы (едва ли), которые предшествуют моей смерти, могу относиться к этим дням, месяцам так же серьезно, торжественно (не по внешности, а по внутреннему сознанию), как бы я относился к последним минутам сознательно наступившей смерти. И вот эта-то мысль, даже чувство, которое я испытал вчера и испытываю нынче, я буду стараться удержать до смерти, меня особенно радует, и вам-то мне и хочется передать его. — В сущности, это все очень старо, но мне открылось с новой стороны»...[8])

Всё это время отец ничего не мог писать. Отвечал на письма, немного писал о социализме. «Не могу писать, но слава Богу, могу работать над собой. Всё подвигаюсь». А на следующий день, 18 октября, он объясняет свои слова следующей записью: «Слава Богу, без сожаления чувствую хорошую готовность смерти».[9])

19 октября. «Ночью пришла С. А.: «Опять против меня заговор». — «Что такое, какой заговор?» — «Дневник отдан Черткову. Его нет». — «Он у Саши». Очень было тяжело, долго не мог заснуть, потому что не мог подавить недоброе чувство».

В тот же день отец записал: «Опять ничего не делал, кроме писем. Здоровье худо. Близка перемена. Хорошо бы прожить последок получше. С. А. говорила, что жалеет вчерашнее. Я кое-что высказал, особенно про то, что, если есть ненависть хоть к одному человеку, то не может быть истинной любви».[10])

Отец видимо ослабел. Куда девалась его жизнерадостность, бодрость.

21 октября к отцу пришли трое крестьян: Михаил Новиков, с которым отец и раньше видался и переписывался — умный, развитой человек, разделявший

взгляды отца -- и двое местных крестьян. Уже давно я не видела отца в таком веселом настроении. Когда я пришла к отцу за письмами, он, встретив меня в столовой, увел меня в кабинет, из кабинета повел в спальню. — «Пойдем, пойдем, — говорил он лукаво улыбаясь, — я тебе большой секрет скажу, большой секрет». Я шла за ним и мне, глядя на него, тоже было весело. В кабинете отец остановился и сказал: «А знаешь ли ты, что я придумал. Я немножко рассказал Новикову о нашем положении и о том, как мне тяжело здесь. Я уеду к нему. Там меня уж не найдут. А Новиков мне рассказал, как у его брата была жена алкоголичка, так вот, если уж очень начнет безобразничать, брат походит ее по спине, она и лучше. Помогает». — И отец добродушно засмеялся. — «Вот поди, какие на свете бывают противоречия».

Я рассказала отцу, как один раз Иван-кучер вез Ольгу, она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо. А потом обернулся к ней и сказал: — «А что, ваше сиятельство, у нас по-деревенски, если баба задурит, муж ее возжами, — шелковая сделается».

Отец стал еще больше смеяться. — «Да, да, вот поди ты, какие бывают»... — «Да это по-моему и не противоречие, — перебила я его, — а только у них возжи настоящие, веревочные, а у нас должны быть возжи нравственные». — «Да, да. А я, должно быть, все-таки уеду», — повторил он.

В дневнике для одного себя от 21 октября он записал: «Очень тяжело несу свое испытание. Слова Новикова: «походи кнутом. Много лучше стало», и Ивана: «в нашем быту возжами», всё вспоминаются, и недоволен собой. Ночью думал об отъезде. Саша много говорила с ней, а я с трудом удерживаю недоброе чувство».[11])

24 октября отец продиктовал мне письмо Михаилу Новикову.

24 октября 1910 г.
«Ясная Поляна.
Михаил Петрович,

В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева.

Буду ждать вашего ответа, дружески жму руку.

Имейте в виду, что всё это должно быть известно только вам одним».[12])

Отец не мог работать, не мог сосредоточиться, мысли перебивались, покой нарушался постоянными разговорами, ночью, днем, во время занятий.

25 октября 1910 г. — Вошла к отцу. Он сидел на кресле у стола, ничего не делая. Как-то странно-непривычно было видеть его без книги, без пера, или даже пасьянса, который он любил раскладывать, когда думал. — «Я сижу и мечтаю, — сказал он мне, — мечтаю о том, как уйду. Ты ведь захочешь идти непременно со мной?» — спросил отец. — «Да я не хотела бы тебя стеснять, может быть, первое время, чтобы тебе легче было уйти, не пошла бы с тобой, а вообще жить врозь с тобой я не могу». — «Да, да, но ты знаешь что я всё думаю, что ты для этого недостаточно здорова, насморки, кашель начнется»... — «Нет, нет, это ничего. Мне будет лучше в простой обстановке». — «Ежели так, то мне самое естественное, самое приятное иметь тебя около себя, как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы, когонибудь, Черткова, послать с вещами в Лаптево и самому там слезть. А если там откроют, еще куда-нибудь поеду. Ну, да это наверное всё мечты, я буду мучиться, если брошу ее, меня будет мучить ее состоя-

ние... А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее. Я, признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода, чтобы уйти».[13])

25 октября приехал Сережа.

Вот что пишет брат Сергей об этом посещении:

«25-го октября вечером я приехал в Ясную из Тулы. Никого посторонних не было; были только моя мать, сестра Саша, Душан Петрович и Варвара Михайловна. Я пошел в кабинет к отцу, думая, что он захочет со мною поговорить о матери, а может быть и о моих делах. Но мать всё время была тут же и всё время говорила без умолку. Он начнет говорить, а она его перебивает, говоря совсем о другом. Он умолкал, ждал, когда она даст ему возможность вставить слово, и тогда продолжал говорить о том, о чем начал. Точно его перебивал посторонний шум».[14])

В этот вечер Сережа разговаривал с отцом о литературе, играл с ним в шахматы и по его просьбе играл на фортепиано.

«Когда я сыграл *"Ich liebe dich"* Грига, — пишет С. Л. Толстой, — он всхлипнул. Уходя спать, я пошел в кабинет прощаться с ним. Кроме нас, никого в комнате не было. Он спросил меня: «Почему ты скоро уезжаешь?» Я собирался уезжать рано утром на следующий день. Я сказал, что мне надо устроить свои дела. Я очень хотел пожить в Ясной некоторое время, несколько разобраться в том, что там происходило и, может быть, помочь, но мне сперва хотелось уладить свои личные дела... Как мне теперь кажутся ничтожными эти дела. — Отец на это сказал: «А ты бы не уезжал». Я ответил, что скоро опять приеду. Впоследствии я вспомнил, что он сказал эти слова с особенным выражением; он, очевидно, думал о своем отъезде и хотел, чтобы я после его отъезда оставался при матери: он всегда думал, что я могу несколько влиять на нее. Прощаясь, он торопливо и необычно нежно притянул меня к себе, чтобы со мной поцеловаться. В другое время он просто подал бы мне руку».[15])

И 25-го же отец писал Черткову:

«Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью — до грусти — как мне недостает вас... Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, — зная, что я вполне понят, — как с вами. Нынче было таких несколько мыслей-чувств. Одна из них о том (я нынче во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все-таки поскользнулся и упал, — т. е. проснулся. Всё сновидение, казавшееся прошедшим, возникло мгновенно), так одна мысль о том, что в минуту смерти будет этот, подобный толчок сердца в сонном состоянии, момент вневременный, и вся жизнь будет этим ретроспективным сновидением. Теперь же ты в самом разгаре этого ретроспективного сновидения. — Иногда мне это кажется верным, а иногда кажется чепухой. Вторая мысль-чувство это, опять-таки нынче виденное мною, уже третье в эти последние два месяца художественное, прелестное, нынешнее, художественное сновидение. Постараюсь записать его и предшествующие хотя бы в виде конспектов. Третье, это уже не столько мысль, сколько чувство, и дурное чувство-желание перемены своего положения. Я чувствую что-то не должное, постыдное в своем положении, и иногда смотрю на него — как и должно — как на благо, а иногда противлюсь, возмущаюсь. Саша сказала вам про мой план, который иногда в слабые минуты обдумываю. Сделайте, чтобы слова Саши об этом и мое теперь о них упоминание, были бы comme non avenu (как не бывшие). Очень вы мне недостаете. На бумаге всего не расскажешь. Ну хоть что-нибудь. Я пишу вам о себе. Пишите и вы о себе и как попало. Как вы поймете меня с намека, так и я вас. Ну, до свиданья. Если что-нибудь предприму, то, разумеется, извещу вас. Даже, может быть, потребую от вас помощи. Л. Т.»[16])

26 октября отец ездил к старушке Шмидт. Может быть, он ездил к ней прощаться.

«Я уеду к Тане, напишу ей, что уеду к Тане, а оттуда уеду в Оптину Пустынь, приду к какому-нибудь старцу и попрошу позволения жить там. Они верно меня примут, будут надеяться обратить меня», — сказал он Душану.[17])

26 октября он записал:

«Ничего особенного не было. Только росло чувство стыда и потребность предпринять».[18])

---

[1]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 108. Дневник 29 сент. 1910 г.
[2]) Там же, стр. 109. Дневник 29 сент. 1910 г.
[3]) Там же, стр. 140. Дневник для одного себя, 7 окт. 1910 г.
[4]) Там же, стр. 141, 13 окт. 1910 г.
[5]) С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. Изд. Academia, № 438, стр. 794.
[6]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 141. Дневн. д. одного себя, 16 окт. 1910 г.
[7]) Там же, стр. 117. Дневн. 11 окт. 1910 г.
[8]) Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. 2, стр. 316.
[9]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 119. Дневн. 17-18 окт. 1910 г.
[10]) Там же, Дневн. 19 окт. 1910 г.
[11]) Там же, стр. 142. Дневн. д. одного себя, 21 окт. 1910 г.
[12]) Дневник А. Л. Толстой.
[13]) Там же.
[14]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 558, прим. 1576.
[15]) Там же, стр. 559, прим. 1576.
[16]) Там же, стр. 559, прим. 1579.
[17]) Дневник А. Л. Толстой (Рукопись).
[18]) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 143. Дневн. 26 окт. 1910 г.

ГЛАВА LXIX

«НА СВЕТЕ МНОГО ЛЮДЕЙ...»

«Жизнь Сон —
Смерть — Пробуждение».
Лев Толстой.
Круг чтения, 7 ноября.

Спросонья я ничего не понимала. Кто-то настойчиво и, как мне показалось, резко стучал в дверь. Я вскочила. «Кто здесь?» Отец стоял в дверях со свечой в руке, совсем одетый, в блузе, сапогах: «Я сейчас уезжаю... совсем... Помоги мне укладываться»...

Мы — Душан, Варя и я, двигались тихо в полутьме, стараясь не шуметь, разговаривая шопотом, стараясь собрать всё необходимое Я собирала рукописи, Душан лекарства, Варя белье и одежду, отец укладывал вещи в коробочки, аккуратно перевязывая их. Часть рукописей были уже им перевязаны: «Сохрани эти рукописи», — сказал он мне. «А дневник?» — спросила я. «Я взял его с собой». Движения отца были спокойные и уверенные, только прерывающийся голос выдавал его волнение. Дверь, ведущая через коридор в спальню матери, которую в последнее время она оставляла открытой — была прикрыта.

«Ты останешься здесь, Саша, — сказал мне отец. — Я выпишу тебя через несколько дней, когда я решу окончательно, куда я поеду, а поеду я вероятнее всего к Машеньке, в Шамордино».

Мы спешили. С каждой минутой отец становился всё нервнее, неспокойнее и торопил нас. Руки у нас дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались...

«Я пойду на конюшню, — сказал он, — скажу, чтобы запрягали лошадей». Минут через пять он вернулся обратно. Тьма, отец сбился с дороги, наткнулся на

куст акации, упал, потерял шапку и вернулся обратно за электрическим фонариком.

Наконец, всё было улажено. Душан, Варя и я с трудом тащили вещи на конюшню по липкой грязи. Дойдя до флигеля, мы увидели огонек. Отец шел нам навстречу. Он взял у меня один чемодан и пошел вперед, освещая дорогу. Кучер Адриан уже накидывал постромки на вторую лошадь.

Наконец, всё уже было готово, Филечка-конюх вскочил на лошадь с ярко горящим факелом в руке.

«Трогай!» — я почти на ходу вскочила на подножку пролетки, поцеловала отца.

«Прощай, голубушка, — сказал он, — мы скоро увидимся».

Пролетка, минуя дом, поехала через яблоновый сад, мимо пруда. Между обнаженными деревьями мелькал огонь факела... дальше, дальше... пока, наконец, не скрылся за поворотом на деревню.

Чувство жуткой пустоты охватило меня, когда я вошла в дом. Шестой час. Поезд уходил со станции в восемь. Я села в кресло, закуталась в одеяло. Меня трясло как в лихорадке. Я отсчитывала минуты, часы. В восемь я пошла бродить по комнатам. Илья Васильевич уже знал. «Лев Николаевич мне говорил, что собирается уехать, — сказал он, — а нынче я догадался по платью, что его нет»...

Постепенно весть облетела весь дом. Служащие шушукались, делая свои заключения. Моя мать, не спавшая почти всю ночь, проснулась поздно, около 11-ти часов, и быстрыми шагами вбежала в столовую.

— Где папа? — спросила она меня.

— Уехал.

— Куда?

— Я не знаю, — и я подала ей письмо отца.

Она быстро пробежала его глазами, голова ее тряслась, руки дрожали, лицо покрылось красными пятнами.

«Отъезд мой огорчит тебя, — писал отец, — сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог по-

ступить иначе. Положение мое становится, стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу больше жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста пойми это и не езди за мной, если ты узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения.

Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мною. Советую тебе примириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее слово-обещание не говорить этого никому.

Лев Толстой.

Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».[1])

Но С. А. не дочитала письма. Она бросила его на пол и с криком: «Ушел, ушел совсем, прощай Саша, я утоплюсь», — бросилась бежать.

Я крикнула Булгакову, чтобы он следил за матерью, которая в одном платье выскочила на двор и по парку побежала вниз, по направлению к среднему пруду. Видя, что Булгаков отстает, я, что есть духу, помчалась матери наперерез, но догнать ее не могла. Я подбежала к мосткам, где обычно полоскали белье в тот момент, когда моя мать поскользнулась на скользких досках, упала, и скатилась в воду в сторону, где, к счастью, было неглубоко. В следующую секунду я была уже в воде и держала мать за платье. За мной бросился Булгаков и мы вдвоем подняли ее над водой и передали толстому запыхавшемуся Семену повару и лакею Ване, которые бежали за нами.

В продолжение всего этого дня мы не оставляли матери. Она несколько раз порывалась снова выбегать из дома, угрожала, что выбросится в окно, утопится в колодце на дворе.

Сестре Тане и всем братьям я послала телеграммы, извещая их о случившемся и прося немедленно приехать, вызвала врача-психиатра из Тулы. Весь день и всю ночь я не переставая следила за матерью.

Но в то время, как я меняла свою мокрую одежду, она успела послать Ваню лакея на станцию, чтобы узнать, с каким поездом уехал отец и послала ему телеграмму: «Вернись немедленно — Саша». Вдогонку этой телеграмме я послала вторую: «Не беспокойся, действительны телеграммы только подписанные Александрой». Эти телеграммы, к счастью, не были получены отцом — он успел пересесть на другой поезд.

Трудно описать состояние нервного напряжения, в котором я находилась весь день до приезда родных. Тульский доктор мало меня утешил. Он не исключал возможности, что С. А. в припадке нервного возбуждения могла бы покончить с собой.

Я почувствовала громадное облегчение, когда сначала приехал брат Андрей, а потом и все остальные.

Все родные, даже Таня, считавшая, что отец, как христианин, должен был нести до конца свой крест, не одобряли поступка отца и говорили, что он должен вернуться к матери. Один только Сергей понял отца и написал ему об этом. «Милый папа, — писал он, — я пишу потому, что Саша говорит, что тебе приятно было бы знать наше мнение (детей). Я думаю, что мама нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю даже, что если с мамá что-нибудь случиться, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход. Прости, что я так откровенно пишу. Сережа».[2])

Все, кроме Миши, написали отцу письма и все уговаривали отца вернуться.

«Лёвочка, голубчик, — писала моя мать, — вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка...

... Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом; а мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Лёвочка, я всё ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе».[3])

Семья догадывалась, что отец уехал к тетеньке Марии Николаевне и моя мать просила Андрея поехать в в Шамордино, чтобы уговорить отца вернуться.

Уже в Оптиной Пустыне отец описал свой уход в дневнике от 28 октября:

«Лег в половине двенадцатого. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это С. А. что-то разыскивает, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит С. А., спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня... Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс — 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое необходимое, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу. Они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что

она услышит, выйдет сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать»...

Дальше отец описывает сборы...

«Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Я здоров, хотя и не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в 3-ем, набитом рабочим народом, вагоне, очень поучительно и хорошо, хотя и слабо воспринимал. Теперь восемь часов, мы в Оптиной».[4])

Никто из окружающих не понимал в то время сложности внутренних переживаний отца, не понимал, что он спасал не Льва Николаевича, а то духовное, что было в нем. Он чувствовал приближение смерти, он должен был иметь тот внутренний и внешний покой, который дал бы ему возможность сосредоточения на том главном, что составляло теперь смысл всей его жизни — на подготовлении к смерти.

29 октября, по поручению Черткова, к отцу приехал Алеша Сергеенко с письмом от Черткова, который писал отцу:

«Не могу не высказать вам словами, какою для меня радостью было, что вы ушли. Всем существом чувствую, что вам надо было так поступить и что продолжение вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с вашей стороны нехорошо. И я верю, что вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это «для себя», для того, чтобы в этот раз в вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что вы по временам неизбежно будете сознавать, что вам в вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, приятнее и легче — это не должно вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от вашего поступка всем будет легче, и прежде всего бедной Софье

Андреевне, как бы внешним образом он на ней не отразился...»[5])

Оставив мать на попечение семьи, я уехала к отцу в Шамордино. Варя поехала со мной.

Письма детей огорчили его. Он понял, что не мог рассчитывать на их поддержку. Только Сережино письмо обрадовало и тронуло его: «Письмо от Сергея хорошее, деловитое, короткое и доброе», — записал он в дневнике.

Прочитав все письма, он сказал:

«Да, да, но как мне ни страшно, я не могу вернуться, не вернусь».

«Ты не получила моих писем?» — спросил он меня. Я сказала, что они вероятно разошлись со мной.

«Я хотел, чтобы ты передала Тане и Сереже, что мне совершенно немыслимо вернуться к ней».

Вот что отец писал мне (28 октября 1910 г.):

«Доехали, голубчик Саша, благополучно — ах, если бы только у вас было не очень не благополучно. Теперь половина восьмого. Переночуем и завтра поедем, если буду жив, в Шамордино.

Стараюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого; но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома... В. Г. (Черткову) скажи, что очень рад и очень боюсь того, что сделал. Постараюсь написать сюжеты снов и просящихся художественных писаний. От свидания с ним до времени считаю лучшим воздержаться. Он, как всегда, поймет меня. Прощай, голубчик, целую тебя.

Л. Т.»[6])

Во втором письме (от 29 октября) отец писал:

«Сергеенко всё про меня расскажет, милый друг Саша. Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести. Главное, не согрешить, в этом и труд. Разумеется, согрешил и согрешу, но хоть бы поменьше. Этого, главное, прежде всего желаю тебе, тем более что знаю, что тебе

выпала страшная, не по силам, по твоей молодости, задача.

Я ничего не решил и не хочу решать. Стараюсь делать только то, чего не могу не делать, и не делать того, чего мог бы не делать. Из письма к Черткову ты увидишь, как я не то, что смотрю, а чувствую... Тебя еще не выписываю, но выпишу, как только будет можно, и очень скоро. Пиши, как здоровье. Целую тебя.

Л. Толстой».[7])

На мой вопрос, жалеет ли отец о том, что он сделал, он вопросом ответил мне: «Разве может человек жалеть, если он не мог поступить иначе?»

Из моих рассказов отец понял, что семья догадывается о его местопребывании и что не нынче-завтра С. А. приедет к нему.

Тетенька и дочь ее Лиза Оболенская, гостившая у матери, всячески утешали отца. В них он не чувствовал и тени осуждения и критики его поступка. Отцу было хорошо с ними. Не случайно было то, что именно в такую, может быть, в самую тяжелую минуту своей жизни, он поехал к родному ему человеку.

«Самое утешительное, радостное впечатление от Машеньки, — писал он в дневнике от 29 октября, — и милой Лизаньки. Обе понимают мое положение и сочувствуют ему. Дорогой ехал и всё думал о выходе из моего и ее положения и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь не хочешь, а будет и не тот, который предвидишь. Да, думать только о том, чтобы не согрешить. А будет, что будет. Это не мое дело. Достал у Машеньки Круг Чтения и как раз, читая 28, был поражен прямо ответом на мое положение: Испытание нужно мне, благотворное мне. Сейчас ложусь. Помоги, Господи. Хорошее письмо от Черткова».[8])

Тишина, благообразие монастырей всегда привлекали отца. Он разговаривал с монахинями, с монахами Оптиной Пустыни. Несколько раз он подходил к святым воротам в ските, видимо ему хотелось поговорить со старцами. «Сам не пойду, — сказал он Душану. — Если бы позвали, пошел бы».

Отец остался бы в Шамордине. Он уже на деревне присмотрел себе квартиру — избу за три рубля в месяц. Но привезенные мной известия и письма встревожили его.

Мы сидели в теплой, уютной келье тети Маши и разговаривали. Отец молча слушал. И вдруг, упершись руками на ручки кресла, быстрым движением встал и ушел в соседнюю комнату. Видно было, что он принял какое-то твердое решение. Через некоторое время он меня позвал. «Перешли это письмо матери», — сказал он мне. Он писал ей:

«Свидание наше и тем более возвращение мое т е п е р ь совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если только это возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное — лечиться.

Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти и в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой, и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самою себя, никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было всё то, чего ты желаешь, — теперь мое возвращение — а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, — и ты получишь, чего желаешь.

Я провел два дня в Шамордине и Оптиной и уезжаю. Письмо мое пошлю с дороги. Не говорю, куда я еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимой

разлуку. Не думай, что я уехал, потому что не люблю тебя. Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю...

Прощай, милая Соня. Помогай тебе Бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права. И мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо.

Л. Т.»[9])

А на другое утро мы снова ехали... Отец не простился с тетей Машей, он даже не дождался, пока мы достали второго извозчика, чтобы везти нас в г. Козельск на станцию. Он торопился так же, как при отъезде из Ясной Поляны. Мы с Варей подоспели к станции, вместе с подходившим к платформе поездом. Едва успели взять билеты, погрузить вещи.

Куда же мы ехали. Душан мне сказал: «В Новочеркасск, к Денисенкам, оттуда, если достанем паспорта, в толстовскую колонию в Болгарию, если нет — на Кавказ».

Вероятно, отец опять не спал всю ночь, думал, волновался, решил ехать дальше, и в четыре часа утра написал тетеньке Марии Николаевне письмо:

«Шамардинский монастырь, 31 октября, 1910 г. 4 часа утра.

Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня, за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в своем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал в эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно, потому что боюсь, что меня застанет здесь С. А. А поезд только один, в 8-ом часу...

Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас.

Л. Т.»[10])

Тетенька еще застала меня, когда приехала в гостиницу, чтобы проститься с братом. Она очень расстроилась, узнав, что Лёвочка ее не дождался, но не было ни осуждения, ни попрека в ее словах.

«Боже мой, Боже мой, — она тяжело вздохнула, — мы даже не простились, увидимся ли еще. Ну, что делать, только бы ему было хорошо».

Мы волновались, ожидая лошадей, так как до поезда оставалось мало времени. Наконец ямщик подъехал. «Если мама приедет, я встречу ее, — крикнула она мне вдогонку. — Береги отца!»

В вагоне люди узнавали Толстого и не успели мы оглянуться, как известие о том, что Толстой едет в этом вагоне, облетело весь поезд. Стали появляться любопытные. Кондуктора были очень любезны, устроили отца в отдельное купе, помогли мне в своем отделении сварить отцу овсянку, отгоняли любопытных.

В четвертом часу отец позвал меня, его знобило. Я укрыла его потеплее, поставила градусник — жар.

И вдруг я почувствовала такую слабость, что мне надо было сесть. Я была близка к полному отчаянию.

Душное купе второго класса накуренного вагона, кругом совсем чужие, любопытные люди, равномерно стучит, унося нас всё дальше и дальше в неизвестность, холодный, равнодушный поезд, а под грудой одежды, уткнувшись в подушку, тихо стонет обессиленный больной старик. Его надо раздеть, уложить, напоить горячим... А поезд несется всё дальше, дальше... Куда? Где пристанище, где наш дом?

Отец понял, протянул мне руку, крепко пожал ее.

«Не унывай, Саша, всё хорошо, очень, очень хорошо»...

На ближайшей станции я побежала за кипятком, Душан сказал, что надо отца напоить чаем с вином, может быть, это поможет. Но... озноб продолжался, температура поднималась.

На станции я заметила двух людей, они следили за нами, при отходе поезда вскочили в наш вагон. Как оказалось потом, я была права. Из г. Белева жандармское

управление приказало жандармскому унтер-офицеру «немедленно справиться, едет ли с этим поездом писатель Лев Толстой».[11])

Посоветовавшись с Душаном, мы решили, что ехать дальше невозможно. Часам к восьми вечера поезд подошел к большой, ярко освещенной станции. Это было Астапово. Решили здесь остановиться, Душан пошел к начальнику, чтобы подыскать нам пристанище. Гостиниц в этом местечке не было. Начальник станции предложил приютить нас у себя в доме.

Когда мы под руки вели отца через станционный зал, собралась толпа любопытных. Они снимали шапки и кланялись отцу. Отец едва шел, но отвечал на поклоны, с трудом поднимая руку к шляпе.

Едва успели мы раздеть и уложить его в постель, как с ним сделался глубокий обморок, судороги сводили левую половину лица, руку и ногу. Мы с Душаном думали, что конец. Вызвали станционного врача, впрыскивали какие-то средства для поддержания сердца. Наконец, отец заснул. Проспав два часа, он проснулся и подозвал меня к себе. Он был в полном сознании.

— Что, Саша? — спросил он меня.

— Да что ж? Нехорошо.

Слезы были у меня в глазах и в голосе.

— Не унывай, чего же лучше: ведь мы вместе.

К ночи стало легче на душе. Температура упала и отец хорошо спал.

Несмотря на слабость, отец хотел ехать дальше, но мы с Душаном сказали ему, что это невозможно. Он очень огорчился. «Если мне будет лучше, поедем завтра, — сказал он и послал Черткову телеграмму: «Вчера захворал, пассажиры видели, ослабевши шел с поезда, боюсь огласки, нынче лучше, едем дальше, примите меры, известите».

Отец не подозревал, что уже все знали, где он находится, что 31-го октября жандармский унтер-офицер телеграфировал жандармскому ротмистру, что «Писатель граф Толстой проездом поездом 12 заболел. Начальник станции г. Озолин принял его в свою квартиру», что

газета «Русское Слово» начала бомбардировать начальника станции Озолина, запрашивая о здоровье Толстого, что телеграммы летели губернаторам, в сыскное и жандармское отделения, простые, шифрованные...

Утром отец продиктовал мне для Записной книжечки:

«Бог есть неограниченное Всё; человек есть только ограниченное проявление Его. Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью. — Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, чем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует.

Бога мы признаем только через сознание Его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого Бога и в руководстве своей жизни, основанном на этом сознании».

Через некоторое время отец снова позвал меня:

— Я хочу написать Тане и Сереже, — сказал он.

Я починила карандаш и снова подсела к нему.

«1 ноября, 1910 г. Астапово.

Милые мои дети, Таня и Сережа. Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал (в этот день отец просил меня послать телеграмму Черткову, чтобы он приехал), находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей и для вас в том числе.

Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал...

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви.

Любящий вас отец Лев Толстой».[12])

— Ты передай им это письмо после моей смерти, — сказал он и заплакал.

2 ноября уже с утра температура полезла кверху, появился кашель, кровь в мокроте. Воспаление в легких. Я послала телеграмму брату Сергею: «Положение серьезное. Привози немедленно Никитина. Желал известить тебя и сестру, боится приезда остальных».

Приехал Чертков, отец подробно расспрашивал о С. А., о том, знает ли она, где он находится, с ней ли старшие дети?

2 ноября Душан получил следующую телеграмму:

«Из Тулы 2 ноября 5.10 дня. Срочная Астапово, Уральской. Толстому для Маковицкого. Час назад графиня заказала здесь экстренный поезд, поехала Астапово вместе Андреем, Михаилом, Татьяной, Владимиром Философовым, при них врач, фельдшерица».[13])

Стало страшно... Как уберечь отца? Неужели семья и на этот раз не поймет? Но Сережа приехал раньше. Он понял, что всякое волнение отца, при слабости сердечной деятельности, было бы равносильно смерти.

Сережа долго колебался, войти ли ему к отцу, не слишком ли взволнует отца его приезд. Он стоял в соседней комнате и издали смотрел на отца. «Нет, я войду к нему, — вдруг решительно сказал он. — Я ему скажу, что случайно узнал, что он здесь и приехал».

И действительно, отец очень взволновался, обстоятельно расспрашивал Сережу, как он узнал о его местопребывании, болезни, и что он знает о матери, где она и с кем? Сережа ответил, что он из Москвы, что мать в Ясной и что с ней доктор, сестра милосердия и младшие братья.

«Мамá нельзя допускать к отцу, — сказал он, выйдя из его комнаты. — Это слишком взволнует его».

Когда Сережа ушел, отец подозвал меня.

— Сережа-то каков!

— А что, папа?

— Как он меня нашел! Я очень ему рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал...

Врачи решили, что можно к отцу допустить только Сережу и Таню. Отец узнал случайно о том, что Таня в Астапове. Душан подложил отцу маленькую, мягкую подушечку, которую привезла Таня.

— Откуда это? — спросил отец.

Душан растерялся.

— Татьяна Львовна привезла.

Когда Таня пришла к нему, отец опять стал расспрашивать ее, как она узнала, где он, что с матерью и с кем она осталась. Таня смутилась, не знала, что ответить, и поспешно вышла из комнаты.

Третьего приехал д-р Никитин. Приехали Горбунов и Гольденвейзер, и отец пожелал видеть их. С Горбуновым он долго обсуждал издание своих книжек «Путь жизни». Прощаясь с отцом, Горбунов сказал: «Что, еще повоюем, Лев Николаевич?»

Отец строго посмотрел на него. «Вы повоюете, а я уже нет», — сказал он.

В этот вечер Сергей продиктовал телеграмму братьям, приблизительно следующего содержания: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мамá будет для него губительно».

Отец был далек от мысли, что весть о его болезни облетела не только всю Россию, но и весь мир, и что вся семья в Астапове. Целая армия фотографов жила на ст. Астапово, ловя каждое слово, вылетавшее из домика начальника станции. Врачи ежедневно выпускали короткие бюллетени о ходе болезни. Телеграф работал безостановочно. Станция Астапово, затерянная в глуши Рязанской губернии, превратилась в центр, на котором сосредоточилось внимание всего цивилизованного мира.

Но тогда это всё проходило мимо нас, людей, которые день и ночь следили за биением сердца, дыханием, температурой, за каждым словом отца.

«Ночь была тяжелая, — в последний раз записывал отец в дневнике, — лежал в жару два дня. 2-го приехал Чертков. 3-го Таня. В ночь приехал Сережа, очень тронул меня. Нынче, 3-го, Никитин, потом Гольденвейзер и Иван Иванович. Вот и план мой... Fais ce que dois, adv... («делай чтó должно!»).

И всё на благо и другим, а главное, мне».[14])

Отчаяние сменялось надеждой. Мы радовались низкой температуре, приходили в отчаяние, когда она повышалась. С одного легкого воспаление перекинулось на другое. Сердце работало плохо, и низкая температура только указывала на слабую сопротивляемость организма, дыхание учащалось, пульс неровный, с перебоями.

Выписали кислород, Сергей послал телеграмму в Москву, чтобы выслали удобную кровать, было установлено постоянное дежурство одного из нас и врача у постели больного.

«А мужики-то, мужики как умирают», — со вздохом сказал отец, когда ему поправляли подушки.

4 ноября отец был почти без сознания. Он то бредил, пытаясь что-то объяснить нам, то лежал тихо, без движения. Строгие, точно внутрь глядящие глаза его, казались мне ушедшими, точно видели что-то недоступное нам, недосягаемое... исхудавшие руки, пальцы, не переставая шевелились, перебирая простыню с одного края до другого...

«Конец», — думала я.

В бреду, когда трудно было понять, что он хотел сказать:

«Искать, всё время искать», — вдруг твердо проговорил он.

В этот вечер, когда в комнату вошла Варя, отец вдруг приподнялся на подушке, протянул руки и громким, радостным голосом крикнул:

— Маша! Маша!

Из Москвы приехали врачи: Беркенгейм, Усов, знаменитый Щуровский. Но надежда угасала.

6 ноября отец был особенно ласков со всеми. Когда Душан что-то для него сделал: «Милый Душан, милый Душан!» — сказал он.

Мы меняли простыни, я поддерживала его за спину и вдруг я почувствовала, что рука его ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мою руку один раз, потом другой. Я припала к ней губами, стараясь сдержать подступившие рыдания.

В этот же день мы с Таней сидели около него. Кровать стояла посредине. Вдруг отец сильным движением привстал и сел на кровати. Я подошла.

— Поправить подушки?

— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая слова. — Нет, только одно советую вам помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

Это были последние его слова, обращенные к Тане и ко мне.

К вечеру стало много хуже. Дали кислород, впрыснули камфору. Отец успокоился, позвал Сергея: «Сережа! Истина... Я люблю много... Как они...» Он тихо задремал, дыхание стало ровнее... Казалось, непосредственная опасность миновала. Все разошлись спать, кроме дежурных. Около полуночи стало плохо. Всех разбудили.

Отец тихо, спокойно умирал...

Позвали С. А., всех братьев...

В то же утро я уехала в Ясную Поляну.

Я сидела одна в его кабинете... Казалось, жизнь моя кончена. Не для чего, не для кого жить... Пустота, отчаяние... Тихо, неслышными шагами вошла старушка Шмидт. «Не плачь, — сказала она мне. — Не надо... Почитаем Круг Чтения на 7-ое ноября, день его смерти».

Старушка Шмидт взяла книгу с его стола, нашла число и стала читать: «Жизнь сон — смерть — пробуждение».

---

9 ноября. Рано утром прибыл траурный поезд на станцию Засеку. Поезда из Москвы были переполнены. Собралась громадная толпа, тысячи, может быть, десятки тысяч. Процессия растянулась на версты. Гроб несли сыновья и Яснополянские крестьяне. Впереди процессии плакат: «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». Гулко разносилось в тишине раннего морозного утра несмолкавшее пенье тысячами голосов «Вечной памяти».

Гроб поставили в библиотеку — первый кабинет отца. Люди проходили бесконечной вереницей в дверь из передней и выходили на каменный балкон, чтобы в последний раз поклониться Толстому.

В Заказе, между дубами у оврага — место Зеленой Палочки — вырыта могила. Ее вырыл бывший ученик отца Михайло Зорин.

В лесу, в отдалении — конные жандармы.

Медленно опускали гроб — толпа, на коленях, пела «Вечную память».

Резким диссонансом прозвучал чей-то сердитый голос: «Полиция на колени!»

Жандармы покорно исполнили приказание.

Засыпали могилу... «Вечная память», речи... Мы вернулись домой. Толпа людей... зияющая пустота...

«На свете много людей»... эти слова не доходили тогда до моего сознания. Но жить надо было.

1911-1913 годы. — Выполнение завещания отца: издание его неизданных сочинений, покупка земли у братьев и наделение ею крестьян, передача прав на сочинения отца в общее пользование.

1914 год. — Я уезжала на Турецкий фронт сестрой милосердия и приехала в Ясную проститься с матерью.

Горе состарило ее. Она мало говорила, всё больше дремала, сидя в вольтеровском кресле, где так любил сидеть отец. Казалось, ничего не интересовало ее. Голова ее тряслась больше прежнего, она как-то вся согнулась,

сделалась меньше, большие черные, прежде такие блестящие, живые глаза ее потухли, она уже плохо видела.

«Зачем на войну едешь, — сказала она. — Отец не одобрил бы».

1917 год. — В Ясной Поляне мать, Таня — муж ее скончался — с Таничкой.

Кругом громили, жгли помещиков. Зловещие слухи ползли, наводя ужас на обитателей Ясной Поляны. Говорили, что мужики из соседних деревень идут громить Ясную Поляну. Слухи оказались действительностью. Толпы шли ближе, ближе. Запрягали лошадей, мать, Таня с дочкой сидели на уложенных сундуках, собираясь бежать...

Но вдруг разнеслась весть — яснополянские крестьяне встретили бунтовщиков с топорами, рогачами, вилами, и погнали их обратно. Яснополянская усадьба сохранилась — одна из немногих в округе.

1918 год. — Я приехала в Ясную Поляну. Голод. Всё тот же Илья Васильевич в белых, хотя и заплатанных перчатках, беззвучно подает обед, стол накрыт белоснежной скатертью, серебро, но на блюде... вареная кормовая свекла, масла нет, кусочки, очень маленькие, черного хлеба с мякиной.

1920 год. — Я на несколько дней приехала в Ясную Поляну повидаться с матерью, тетенькой Татьяной Андреевной и Таней с дочкой. Но в тот день, когда я собиралась уезжать, моя мать заболела воспалением легких и я осталась ухаживать за ней. Она кротко, необычайно терпеливо переносила страдания.

«Саша, милая, прости меня. Я не знаю, что со мной было... Я любила его всегда. Мы оба, всю жизнь были верны друг другу»...

«Прости и ты меня, — я очень виновата перед тобой», — сквозь слезы говорила я ей...

У нее сделался отек легких, она задыхалась. Умерла она спокойно, исповедывалась, причастилась. Я закрыла ей глаза.

Война, революция, смерть близких, тюрьма, голод... потеря Родины.

Жизнь уже на закате, но одиночества нет, потому что я знаю теперь, что «на свете много людей, кроме Льва Толстого»...

---

1) Дневник А. Л. Толстой.
2) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 574, прим. 1611.
3) Дневник А. Л. Толстой.
4) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 125, 28 окт. 1910 г.
5) Дневник А. Л. Толстой.
6) Там же.
7) Там же.
8) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 125. Дневник 29 окт. 1910 г.
9) Дневник А. Л. Толстой.
10) Там же.
11) «Смерть Толстого». Изд. Публ. Библ. СССР им. Ленина. М. 1929, стр. 15.
12) Дневник А. Л. Толстой.
13) «Смерть Толстого», стр. 24.
14) Полн. собр. соч. Госизд., т. 58, стр. 126. Дневник 3 нояб. 1910 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

АПОСТОЛОВ, Н. Н. Лев Толстой и его спутники. Москва, 1928.

АПОСТОЛОВ, Н. Н. Живой Толстой. Жизнь Л. Н. Толстого в воспоминаниях и переписка. С предис. Н. Н. Гусева. Москва Толстовский Музей, 1928.

АННЕНКОВ, П. Литературные воспоминания. СПбрг. 1909.

АРХИВ СЕЛА КАРАБИХИ. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. Прим. Н. Ашукина. Москва, изд. К. Ф. Некрасова, 1916.

БАХРУШИН, А. Государственный Театральный Музей имени А. Бахрушина. Москва, Academia, 1927-41.

БЕРГ, Н. В. Из Крымских заметок. Современник, 1856, № 8.

BERS, S. A. Recollections of Count Leo Tolstoy. Transl. by C. E. Turner. London, W. Heinemann, 1896.

BIENSTOCK, J. W. Tolstoi et les doukhobors. Trad. du russe (Biryukov). Paris, P. V. Stock, 1902.

БИРЮКОВ, П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Москва, Гос. Изд. 1922-23.

Лев Николаевич Толстой. Биография. Берлин, И. П. Ладыжников, 1921.

БИРЮКОВ, П. И. Духоборцы. С прилож. избранных духоборческих псалмов. — Москва, Посредник, 1908.

БИРЮКОВ, П. И. Обращение Канадских духоборов ко всем людям. — Женева. Свободная Мысль. 1901.

БИРЮКОВ, П. И. Помогите! Обращение к обществу. Сост. Бирюков, Трегубов и Чертков. Послесловие Л. Н. Толстого. — Лондон, 1897. Изд. Черткова, № 3.

БОТКИН, П. П. и ТУРГЕНЕВ, И. С. Неизданная переписка. — Ленинград, Academia, 1930.

БУЛГАКОВ, В. Ф. Трагедия Льва Толстого. Дневник секретаря Толстого. Ред. и вступ. статья и прим. В. Л. Лаврецкого. Ленинград, Прибой, 1928.

БУЛГАКОВ, В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. Москва, Задруга, 1920.

ВЕЛИЧКИНА, В. М. В голодный год с Львом Толстым. Воспоминания. Со вступительной статьей и примеч. В. Бонч-Бруевича. Москва, 1928.

ВЕРЕСАЕВ, В. Художник жизни. «Красная Новь», 1921, № 4.

ВЕРЕСАЕВ, В. Воспоминания. Москва, 1939.

ВЛАДИМИРОВ, Е. И. Тимофей Михайлович Бондарев и Л. Н. Толстой. Предисл. и ред. Гусева. — Красноярское Краевое изд-во. Красноярск, 1938.

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР, А. Б. Вблизи Толстого. — Москва, 1922, 2 т.

ГОРБУНОВА-ПОСАДОВА. Друг Толстого Мария Александровна Шмидт. — Изд. Толстовского Музея. Москва, 1929.

ГОРЬКИЙ МАКСИМ. Воспоминания о Л. Н. Толстом. — Берлин, Ладыжников, 1921.

ГРИГОРОВИЧ, Д. В. Литературные воспоминания. Москва, Academia, 1928.

ГРУЗИНСКИЙ, А. Е. Статья о «Войне и Мире». «Голос Минувшего», 1923, № 1 .

ГРУЗИНСКИЙ, А. Е. Комментарии к вариантам текста «Войны и Мира». — «Новый Мир». 1925, №№ 6, 7.

ГУСЕВ, Н. Н. Жизнь Льва Николаевича Толстого. Москва, 1927.

ГУСЕВ, Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневники бывш. секретаря Л. Н. Толстого. 1907-1908. — Москва, изд. Толстовского Музея, 1928.

ГУСЕВ, Н. Н. Летопись жузни и творчества Л. Н. Толстого. — Москва, Academia, 1936.

ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. Письма Достоевского к жене. Москва. Гос. изд. 1926.

ДОСТОЕВСКИЙ, Ф. М. и ТУРГЕНЕВ, И. С. Переписка. Ред. Зильберштейн. Москва. Academia. 1928.

ЕЖЕГОДНИК Императорских театров. Сезон 1895-96. С.-Петербург, 1897.

ЖДАНОВ, В. Любовь в жизни Льва Толстого. — Москва, изд. М. и С. Сабашниковых. 2 т.

ЗАГОСКИН, Н. П. История Императорского Казанского Университета. — Казань, изд. Казанского Имп. Университета, 1902-1904. 4 т.

ЗАГОСКИН, Н. П. Граф Толстой и его студенческие годы. — «Историч. Вестник» 1894, январь.

ЗЕЛИНСКИЙ, В. А. Русская критическая литература о произведениях Л. Н. Толстого. Собрал В. Зелинский. — Москва, типогр. Баландина, 1900-1903. 8 т.

ИЛЬИНСКИЙ, ИГОРЬ. Жандармский обыск в Ясной Поляне — Москва, Звенья, 1932.

KENWORTHY, J. C. A pilgrimage to Tolstoi. Croydon The Brotherhood Publ. Co. 1900.

KENWORTHY, J. C. Tolstoi, his life and works. London, 1902.

КОНИ, А. Ф. На жизненном пути. — Ревель, изд. Библиофил, 1914-1929. 5 т.

КОНИ, А. Ф. Библиографический очерк «И. Ф. Горбунов». — Полное собр. соч. И. Ф. Горбунова, т. 1., стр. 106.

КУЗМИНСКАЯ, Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, 1846-1862. Предисл. и примеч. М. А. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925-26. 3 т.

CROSBY, E. H. Tolstoi as a schoolmaster. Chicago, Hammersmark, 1904.

ЛАМЗДОРФ, гр. В. Н. Дневник. Изд. Academia, 1934.

ЛЕТОПИСИ. Кн. 12. Госуд. Литер. Музей. Л. Н. Толстой. К 120-летию со дня рождения. т. 2. Москва, 1948.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО. № 35/36, Москва, 1932; № 37/38, Москва, 1939. Изд. Академии Наук СССР.

МАКОВИЦКИЙ, ДУШАН. Яснополянские Записки, 1904-1910. Москва, Задруга, 1922-23. 2 т.

МАЛОСТВОВ, Н. Г. и СЕРГЕЕНКО, П. А. Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. Изд. Сойкина, С.-Петербург.

МАТВЕЕВ, П. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной Пустыне. «Историч. Вестник», т. 108.

МИХАЙЛОВСКИЙ, Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. С.-Петербургг 1900.

МОРОЗОВ, В. С. Воспоминания ученика Яснополянской школы. — Изд. под ред. и с примеч. П. А. Сергеенко. Москва, Посредник, 1917

МУРАТОВ, М. В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке. — Москва Г. Т. М., 1934.

НАЗАРЬЕВ, В. Н. Жизнь и люди былого времени. — «Историч. Вестник», Ноябрь 1890.

НЕКРАСОВ, Н. А. Письмо Некрасова к В. П. Боткину. — «Печать и Революция», № 1, 1928.

ОБОЛЕНСКИЙ, Кн. Д. Д. Из воспоминаний. — «Русский Архив», 1894-95.

ПАНАЕВ, И. И. Литературные воспоминания. Москва, Academia, 1928.

ПАНАЕВА-ГОЛОВАЧЕВА, А. Я. Воспоминания. — Ленинград, Academia, 1928.

ПОБЕДОНОСЦЕВ, К. П. Письма Победоносцева к Александру III. С предисл. М. Н. Покровского. Москва, Новая Москва, 1925. 2 т.

ПОЛНЕР, Т. И. Лев Толстой и его жена; история одной любви. — Париж, Современные Записки, 1928.

ПОПОВ, Е. И. Жизнь и смерть Е. Н. Дрожжина. 1866-1894. С предисл. Л. Н. Толстого. — Берлин, Ф. Гротгейнер, 1895.

ПЫПИН, А. Н. Наши толки о народном воспитании. — «Современник», 1863, т. 94.

ПРУГАВИН, А. С. О Льве Толстом и о толстовцах. Очерки, воспоминания, матерьялы. — Изд. автора. Москва, 1911.

РАЕВСКАЯ, Е. И. Лев Толстой среди голодающих. — Летописи государств. литерат. Музея. Л. Н. Толстой, 1938.

РЕПИН, И. Е. Далекое — Близкое. Гос. Издат., 1937.

РЕПИН И. Е. И. Е. Репин и Л.Н. Толстой. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей. — Москва, Искусство, 1949.

РЕПИН, И. Е. О графе Л. Н. Толстом. Личные впечатления и воспоминания. — Париж, «Современные Записки», 1921, т. 3.

РЕПИН, И. Е. Портреты И. Е. Репина. — Аполлон, 1911, № 10.

САБАНЕЕВ, Л. Л. С. И. Танеев... мысли о творчестве и воспоминания о жизни. — Париж, Таир, 1930.

СБОРНИК Пушкинского Дома. 1923. — Петроград, Гос. Издат.

СЕРГЕЕНКО, П. А. Как живет и работает Л. Н. Толстой. — Москва, Кушнерев и Ко. 1898.

СЕРГЕЕНКО, П. А. Толстой и его современники. — Москва, В. М. Саблин, 1911.

SIMMONS, E. J. Leo Tolstoy. — Boston. Little, Brown & Co. 1946.

STADLING, J. J. In the land of Tolstoy. New York, 1897.

СТАСОВ, В. В. Н. Н. Ге. Биография. — «Северный Вестник», 1895, т.т. 1. 2, 3.

СТАСОВ, В. В. Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка. — Москва, 1904.

СТАХОВИЧ, А. А. Клочки воспоминаний. — «Русская Старина», 1896, т. 86. — «Толстовский Ежегодник», 1912.

СТРАХОВ, Н. Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. — С. Петербург, братья Пантелеевы, 1885.

СТРАХОВ, Н. Н. Статьи о «Войне и Мире». «Заря», 1869-1870.

СТРАХОВ, Н. Н. Письма Страхова к Данилевскому. — «Русский Вестник», С.-Петербург, 1901, №№ 1, 2, 3.

СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ, Т. Л. Друзья и гости Ясной Поляны. — Москва. 1923.

SUKHOTINA, T. L. The Tolstoy home; diaries of Tatiana Sukhotina-Tolstoy. Translated by Alec Brown. — London, Harvill press, 1950.

ТАНЕЕВ С. И. Дневник С. И. Танеева. — История русской музыки в исследованиях и матерьялах. Изд. Кузнецова, Москва, 1922.

ТАТИЩЕВ, С. С. Император Александр II; его жизнь и царствование. — С.-Петербург, изд. Суворина, 1911. 2 т.

ТОЛСТАЯ, А. Л. Воспоминания. — Рукопись.

TOLSTAYA, A. L. countess. The Tragedy of Tolstoy. — New Haven, Yale University Press. — London, H. Millford, Oxford University Press, 1933.

ТОЛСТАЯ, С. А. Дневники С. А. Толстой, 1860-1909. — Москва, изд. М. и С. Сабашниковых. 3 т.

ТОЛСТАЯ, С. А. Письма к Л. Н. Толстому: 1862-1910. — Москва — Ленинград, Academia, 1936.

TOLSTOY, A. L., countess. I worked for the Soviet. — New Haven, Yale University Press, 1934.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Полное собрание сочинений. Ред. В. Г. Черткова. Юбилейное Госуд. Изд. Москва, 1928-49. т.т. 1-13, 17-20, 25-27, 32-33, 35, 36, 38, 43-44, 46-47, 54-56, 58-60, 63, 72, 83-86.

ТОЛСТОЙ, Л. Н Полное собрание сочинений. Ред. и примеч. П. И. Бирюкова. Москва, Сытин, 1913. 24 т.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого. Ред. В. Г. Черткова, изд. А. Л. Толстой. Москва, 1911-12. 3 т.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Полное собрание сочинений запрещенных в России. Изд. В. Черткова, «Свободное Слово», Англия, 1903-04.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Неизданные тексты. Ред. и комментарии Гуздега и Гусева. — Москва, Academia, 1933.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Дневник молодости Л. Н. Толстого, 1847-52. Ред. В. Черткова. — Москва, 1917.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Дневник Л. Н. Толстого. 1895-99. Ред. В. Черткова. Москва, 1916.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Царство Божие внутри вас. — Берлин, Ладыжников, 1920.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Не могу молчать. — Берлин, Ладыжников, 1908.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Азбука. — С.-Петербург, 1872.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Новая Азбука. — Москва, 1888.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Несколько слов о «Войне и Мире». «Русский Архив», 1868, №3.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Неопубликованные письма, пометки Льва Николаевича на книгах Яснополянской библиотеки. — Государств. Толстовский Музей. Гос. Изд. 1937.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный Сборник. Труды Публ. библиотеки СССР имени Ленина. Москва, ГИЗ, 1928.

ТОЛСТОВСКИЙ ЕЖЕГОДНИК, 1911, 1912, 1913. С.-Петербург. Изд. Толстовского Музея.

ТОЛСТОЙ Л. Н. Памятники творчества и жизни. Ред. Срезневский и Бем. — Москва, 1917-1923. 4 т.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Лев Николаевич Толстой. Юбилейный Сборник. Собрал и ред. Н. Н. Гусев. Гос. Изд. 1928.

ТОЛСТОЙ и о ТОЛСТОМ. Сборники 1-4. Госуд. Толст. Музей. Москва, 1924-27.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Сборник статей и матерьялов. — Акад. Наук СССР. Инстит. мировой литературы имени Горького. Госуд. Музей Л. Н. Толстого, 1951.

СМЕРТЬ ТОЛСТОГО. По новым материалам. Вступ. статья В. Невского. — Москва, изд. Публ. Библ-ки имени Ленина. 1929.

КОРРЕСПОНДЕНТЫ Л. Н. Толстого. Составил П. П. Буслаев. Ред. Гусев. Москва, Госуд. социол.-экономич. изд. 1940.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письма Л. Н. Толстого. 1848-1910. Ред. П. А. Сергеенко. Москва, «Книга», 1910-1911.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письма гр. Л. Н. Толстого к жене. 1862-1910. Ред. А. Е. Грузинский. — Москва, Левенсон, 1913.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письма Л. Н. Толстого к дочери А. Л. Толстой. — Рукопись.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письма к дочери М. Львовне. «Современные Записки». Париж, 1926, кн. 27.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой. 1857-1903. — С. Петербург. Изд. Толстовского Музея, 1911. V.1.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870-1894. С предисл. и примеч. Модзалевского. — Изд. Толстовского Музея. С.-Петербург, 1914. V.2.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Л. Н. Толстой и В. П. Боткин. Переписка. — Памятники творчества и жизни Л. Н. Толстого. Ред. В. И. Срезневский и А. Л. Бем. Москва, 1917-1923. 4 т.

ТОЛСТОЙ и ТУРГЕНЕВ. Переписка. Ред. и примеч. А. Е. Грузинского и М. А. Цявловского. 1928.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. и Н. Н. ГЕ. Переписка. Вступит. статья и примеч. С. П. Яремича. — Москва, Academia, 1930.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. и СТАСОВ, В. В. Переписка, 1878-1906. Ред. и примеч. В. Д. Комаровой и Б. Л. Модзалевского. Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР. Ленинград, Прибой, 1929.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письмо Русанову. — «Вестник Европы», 1915, № 4.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. Письмо Новоселову. «Новый Путь», август 3, 1903, № 1.

ТОЛСТОЙ, Илья Л. Мои воспоминания. — Изд. второе. Кооперативное Изд-во Мир. Москва 1933.

ТОЛСТОЙ, С. Л. Мать и дед Льва Николаевича Толстого. Очерки жизни, дневники, записи и письма. По неизданным материалам. — Москва, изд. Федерация, 1928.

ТУРГЕНЕВ, И. С. Анненков и Тургенев. Переписка. Москва, Academia, 1934.

ТУРГЕНЕВ, И. С. Тургенев и круг Современника. Москва, Academia, 1930.

ТУРГЕНЕВ, И. С. Письма к И. П. Борисову. — Щукинский сборник. Москва, 1909.

УСОВ, П. Из моих воспоминаний. «Исторический Вестник», 1884, № 3.

ФЕТ, А. А. Мои воспоминания. 2 т. Москва, 1928.

ФИРСОВ, Л. Н. Толстой в Казанском университете. «Голос Минувшего», 1915, № 12.

ЧЕРТКОВ, В. Г. Страничка из воспоминаний. «Вестник Европы», 1909, № 11.

ЧЕТВЕРИКОВ, С. И. Оптина пустынь. Париж, YMCA press, 1926

ЧЕХОВ, А. П. Полное собрание сочинений и писем. Ред. С. Д. Балухатого. Москва ОГИЗ, 1944-51. 20 т. — Письма, т. IV.17.

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. Статьи, документы. — Составители: С. А. Толстая-Есенина, Э. Е. Зайденшнур, Е. Н. Чеботаревская. Ред. И. И. Минц, С. А. Толстая-Есенина. Комис. по истории Вел. Отеч. Войны. Акад. Наук СССР. Госуд. Музей Л. Н. Толстого. — Огиз. Госполитиздат. Москва, 1942.

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОГО ТОМА:

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена: $2.75